ГАРШИН





Вл. Порудоминский

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ



Жизнь
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ

Серия биографий

ОСНОВАНА
В 1933 ГОДУ
М. ГОРЬКИМ

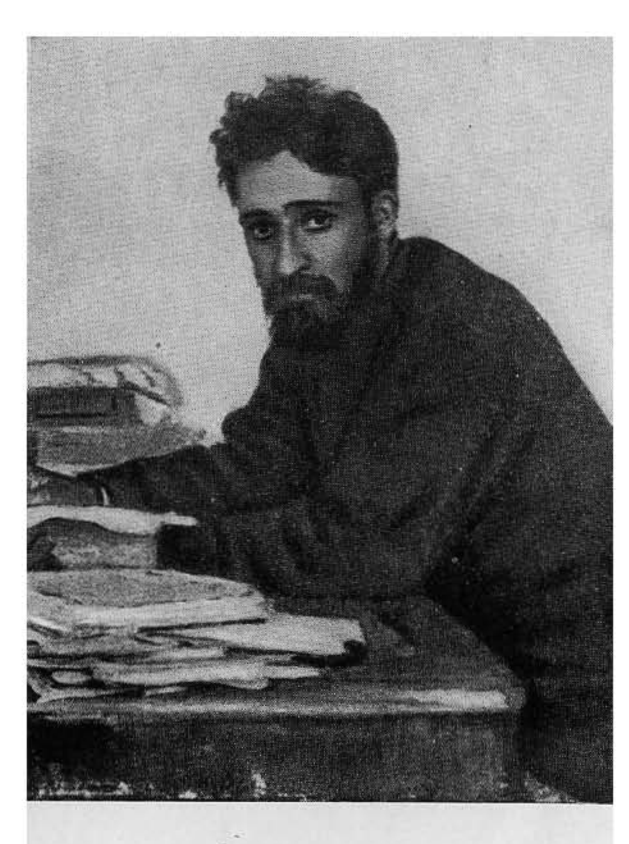
ВЫПУСК 5
(338)

МОСКВА
1962

Вл. Порудоминский

ГАРШИН

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЦК ВЛКСМ
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»



Гаршин мало прожил. Гаршин мало успел написать. Собрание его сочинений — одна небольшая книжка. Но книжка эта «томов премногих тяжелей».

Гаршинские рассказы (в них, по словам самого писателя, каждая буква стоит капли крови) — страстный протест против насилия и несправедливости, огромная, до боли острая любовь к людям, страдающим, униженным, ищущим выхода.

Не было в жизни Гаршина дня, который бы он не мечтал посвятить служению людям. Не было в творчестве Гаршина строки, в которой бы он не утверждал права человека на счастье.

Гаршин не знал ответа на жгучие вопросы, которые ставил в своих произведениях. Но он считал, что вопросы эти нужно задавать «каждый день, каждый час, каждое мгновенье». Чтобы они «не давали людям покоя». Чтобы они ударяли в сердце, лишали сна, убивали спокойствие «чистой, прилизанной, ненавистной толпы».

«В его маленьких рассказах и сказках, иногда в несколько страничек, положительно исчерпано *все содержание* нашей жизни, *в условиях которой пришлось жить и Гаршину и всем его читателям» (Г. Успенский).*

Эта книга — рассказ о Гаршине и его времени, рассказ о мыслях, чувствах, стремлениях писателя, рассказ о том, как преломлялись в его творчестве впечатления действительности.



Начало

«Я взглянул окрест меня — душа моя страданиями человечества уязвленна стала».

А. Радищев

РОССИЯ. 1855 ГОД. ФЕВРАЛЬ

В тот год осенняя погода
Стояла долго на дворе,
Зимы ждала, ждала природа.
Снег выпал только в январе..



Несколько недель шли проливные дожди. Потом внезапно повалил снег, ударили морозы. Россия не сводила глаз с Севастополя. Защитникам Севастополя приходилось тяжело. Адмирал Нахимов, назначенный военным губернатором города и командиром порта, каждый день объезжал передовые. Видел трудный героизм бойцов. Вздыхал украдкой. Добрым словом, приободрял раненых. Неустрашимой храбростью воодушевлял усталых, замерзших героев. С гордостью и радостным удивлением узнавал всякий раз о подвигах солдат и матросов.

Отряд лейтенанта Бирюлева шесть раз за сутки ходил в штыки против правого фланга французских позиций и выбил неприятеля из занятых им ложементов. После боя Бирюлев быстрым шагом обошел захваченную траншею, заглядывал в знакомые, еще возбужденные лица. «Молодцы, ребята! Спасибо!» Спросил: «Где Кошка?» — «Ранен...»

Севастопольцам приходилось тяжело. Не хватало оружия, боеприпасов, продовольствия. Обозы, скрипя, тащились по ухабистым, разбитым российским дорогам. Лихоимцы из военного ведомства сколачи-

вали миллионы на копеечном солдатском довольствии.

В первых числах февраля был издан «высочайший манифест», коим Николай I, помышляя «не медля об усилении данных нам от Бога средств для обороны Отечества... с полным упованием на милость Его, с полным доверием к любви наших подданных», повелевал «приступить к Всеобщему Государственному Ополчению».

Газеты публиковали отклики. Дворянские собрания торопились пылко приветствовать манифест. Некий «верноподданный Александр Бахметев», предводитель дворянства Харьковской губернии, захлебываясь в собственной преданности, писал «великому Царю-Отцу»: «Всемилостивейший Государь! Располагайте нами, повелите нам идти поголовно, и тогда, с мечом в руках, с молитвою в сердцах, радостно воскликнем: «С нами Бог! За Царя и Отечество!..»

Верноподданный Александр Бахметев был убежден: не дворянам Харьковской или иной губернии повелит царь-отец идти поголовно, не им надевать армяк из серого крестьянского сукна длиною на один вершок выше колена и шаровары из серого же крестьянского сукна. Недаром гласил последний параграф Положения о государственном ополчении: «За ратников Ополчения, которые будут убиты в сражениях или умрут от ран, в деле с неприятелем полученных, выдаются обществам и помещикам зачетные рекрутские квитанции...»

Те, кому предстояло сражаться и умирать в Крыму, откликнулись на манифест по-своему. Словно огонь по сухому ельнику, пронеслась по Киевщине весть: кто запишется в ополчение, «в казаки», получит волю и землю. В селах составляли списки, отменяли барщину, выбирали свое управление. Это было пострашнее английских паровых судов и французской пехоты. Против безоружных мужиков из девяти уездов выступили шестнадцать эскадронов конницы, две роты саперов и батальон егерей.

Мусоля пальцы, господа привычно перелистывали

страницы газет; прикидывая доходы, отыскивали в объявлениях нужный товар.

От Симбирского приказа общественного призрения объявлялось, что «он назначает в продажу за неплатеж долга приказу недвижимое имение титулярной советницы Надежды Александровой Невельской.., заключающееся в крестьянах... с принадлежащею к ним землею...».

В сельце Заварове Тарусского уезда Калужской губернии продавались пятьдесят три души штабс-ротмистрши Марфы Кривцовой, которые вместе с землею стоили две тысячи рублей.

Господин Ефремов, владелец имения Новоселки, Чирьево тож, в Тульской губернии, продавал своих крестьян — торопился, видно! — «кому угодно с землею и на своз».

По рукам ходили в списках потаенные стихи студента Главного педагогического института Николая Добролюбова, сочиненные «на смерть помещика Оленина, убитого крестьянами за жестокое обращение с ними». Замирая от страшной правды, люди читали срывающимся голосом про «самого», про царя:

...Но неведом
Ему язык высоких дум;
Но чужд он нравственным победам,
Но груб и мелочен в нем ум.
Но шесть десятков миллионов
Он держит в узах, как рабов,
Не слыша их тяжелых стонов,
Не ослабляя их оков.
О Русь! Русь! долго ль втихомолку
Ты будешь плакать и стонать,
И хищного в овчарне волка
«Отцом-надеждой» называть?

По ночам император Николай I часами лежал без сна в кровати, уставясь в темноту. Чудилось ему, как под острыми, насмешливыми взглядами подходит он к столу, на котором аккуратно разложены бумаги, — условия позорного мира. Он вскакивал. «Нет! Нет!» А наутро, пряча отчаяние в холодных, остекленевших глазах, разглядывал в телескоп стояв-

ший под Кронштадтом английский флот. Война была проиграна. Оставалась одна надежда — Евпатория. Если бы удалось захватить ее!

До обеда государь ездил в манеж смотреть маршевые батальоны. Холодный, резкий ветер бил в лицо — царь кутался в легкий плащ. Гордо вскинув голову, он сидел в санках недвижный, как изваяние. Все прижимались к тротуару, сторонились, уступали дорогу — санки легко мчались в пустоте. По обе стороны улицы стоял, вытянувшись «смирно», Санкт-Петербург — «вычищенная и выбеленная лейб-гвардия, безмолвная бюрократия, несущиеся курьеры, неподвижные часовые, казаки с нагайками, полицейские с кулаками, полгорода в мундирах, полгорода, делающий фрунт, и целый город, торопливо снимающий шляпу, и... все это лишено всякой самобытности и служит пальцами, хвостом, ногтями и когтями одного человека, совмещающего в себе все виды власти — помещика, папы, палача, родной матери и сержанта...» *(Герцен)*.

В манеже государь смотрел маршевые батальоны, которым предстояло отправиться на Крымский театр, и думал о Евпатории. Слабая надежда.

Офицер легкой № 3 батареи 11-й артиллерийской бригады Лев Толстой, узнав, что готовится нападение на Евпаторию, попросился в ударные части; ему отказали. Весь февраль Толстой почти ничего не писал, читал тоже мало. Читал «Горе от ума».

Евпаторийская операция закончилась неудачей. Вновь проявили героизм и самоотверженность солдаты русские (сто шестьдесят раненых по собственной воле вернулись в строй), и вновь многопудовые гири гнилости и бессилия крепостной России повисли на ногах у победы. Русские пушки не стреляли по неприятелю, когда он у всех на виду наступал на наш левый фланг. Один из очевидцев докопался до истины: «...пороху оставалось по одному заряду в пушках, который нельзя было выпустить, чтобы не лишить прислугу того убеждения, что пороху еще довольно».

Император Николай ездил в легком плаще смотреть маршевые батальоны и простудился. Впрочем, он продолжал заниматься делами.

О неудаче под Евпаторией царь узнал 14 февраля. Надежда рухнула. Пятнадцатого наследник по его указке писал главнокомандующему русскими войсками в Крыму генерал-адъютанту и адмиралу Меншикову: «...Государь, с прискорбием известившись о Вашем болезненном теперешнем состоянии... высочайше увольняет Вас от командования Крымскою армиею...»

Государь слег в постель. Семнадцатого доктор Мандт уверял государыню, что «опасности никакой нет в состоянии его величества». Восемнадцатого утром самодержец всея Руси скончался. Во дворце и среди медиков, в литературном мире и в простом народе ходили слухи, что царь отравился.

«Надо было жить в то время, чтобы понять ликующий восторг «новых людей», — писал Шелгунов. — Точно небо открылось над ними, точно у каждого свалился с груди пудовый камень, куда-то потянулись вверх, вширь, захотелось летать».

В Петербурге заседала «печальная комиссия», разрабатывала огромный — в полтораста пунктов со множеством подпунктов — документ, содержавший подробнейшее описание ритуала похорон покойного императора. С газетных полос, из уст представительных лиц лились слезные потоки официальных соболезнований. И люди в разных концах России провозгласили: «Слава богу!» — и пили за смерть его.

Вчерашний наследник, новый царь Александр II, вместо того чтобы навсегда сокрыть, разболтал в своих посланиях и манифестах последние слова отца, в коих тот благодарил «славную верную гвардию», спасшую его трон в 1825 году. И Герцен язвительно крикнул вослед «печальной колеснице», перед которой согласно установленному ритуалу тащили сорок четыре ордена и девять корон Николая:

— ...Отчего же Николай не мог в эти тридцать лет забыть «дурные четверть часа», проведенные им

при защите Зимнего дворца 14 декабря 1825? Отчего, умирая, вспомнил он этот день и за него благодарил гвардию? Оттого, что он понял с начала своего воцарения, что его трон только силен *силой*.

Торжественно ползла по Петербургу колесница, окруженная принцами крови, сановниками и генералами. А в далеком Севастополе напевали, оглядываясь, удалую солдатскую песню:

Царь на Меньшика серчал,
И в ту пору захворал
На одном смотру.
И отправился на небо,
Видно, в нем была потреба, —
И давно пора!

Россия не сводила глаз с Севастополя. Князя Меншикова сменил князь Горчаков. Высокопреосвященный Иннокентий архиепископ Херсонский и Таврический обещал в своих проповедях: «Много еще прольется слез и крови...»

Солдаты и матросы стояли насмерть — шел шестой месяц обороны города. Адмирал Нахимов каждый день объезжал позиции. Приободрял раненых. Воодушевлял усталых. Перебирал в памяти минувшие полгода и до боли остро чувствовал, как страстная любовь к ставшим ближе детей родных севастопольцам заполняет все его существо. На Малаховом кургане вспомнил Корнилова, боевого командира, друга. Не в пример царю, не о себе — о России подумал в последние свои минуты Корнилов. «Отстаивайте же Севастополь!» — сказал на смертном одре. Нахимов долго стоял недвижно, смотрел на мерцавшее невдалеке море. Обернулся, сказал окружавшим свое привычное: «Будем стоять. Без Севастополя у России на Черном море флота нет...» Затянутыми в перчатку пальцами смахнул — от ветра, что ли? — навернувшуюся слезу.

Суровым выдался в России февраль 1855 года. Но сквозь метели и вьюги прорывался уже неуловимо пахнувший весной ветер. Россия жила надеждой, ждала перемен.

...2 февраля был рядовой, будничный день, необычный разве только своей неповторимостью, как и всякий день, уходящий навсегда в прошлое.

2 февраля 1855 года в имении «Приятная долина» Бахмутского уезда Екатеринославской губернии родился Всеволод Гаршин.

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА

Он родился на рассвете, в тот ранний час, когда тает мгла зимней ночи, когда черные туманные очертания хат и сараев медленно выплывают из темноты, когда гаснет и растворяется в мутной голубизне искристый блеск снега. Вяло переговариваясь, шли за водой еще не остывшие ото сна бабы; ведра в такт шагам позвякивали на коромыслах.

— Мальчик, мальчик! — говорила, хлопоча у постели, повивальная бабка. — Третьего бог послал!

Екатерина Степановна протянула руки навстречу сыну. Первый властный крик ребенка на мгновение парализовал суету в барском доме, и кто-то из дворовых громко сказал за дверьми спальни:

— Не простым ему человеком быть! Только бабы за водой, а он тут и явись! Весь век люди о нем гомонить будут...

...В хаосе впечатлений далекого детства трудно отделить истину от узнанного и додуманного впоследствии. В 1884 году уже знаменитый Гаршин набросал автобиографию для венгеровского «Критико-библиографического словаря русских писателей и ученых». О самых ранних детских годах он рассказал коротко: «Как сквозь сон помню полковую обстановку, огромных рыжих коней и огромных людей в латах, белых с голубым колетах и волосатых касках». Таким видел большой мир маленький двухлетний человек с внимательными карими глазами.

Отец Гаршина служил в кирасирском Глуховском полку. Полк часто перебрасывали с места на место. Интересно было, сидя на коленях у матери, глядеть в окно кареты. За окном расстилалась степь — чер-

ная вспаханная, радостная зеленая, шумливая золотая, пестрая от цветов или печальная бурая, выжженная — однообразная и чем-то манящая — так, что взор не отвести. На поворотах видна была голова колонны — всадники в поблескивающих на солнце кирасах и распластавшийся на ветру штандарт, почетный, георгиевский, врученный полку «за отличие при изгнании неприятеля из пределов России в 1812 году».

В 1858 году Россия не звала сынов своих на ратные подвиги. Ротмистр Михаил Егорович Гаршин, получив наследство, вышел в отставку, купил дом в уездном городке Старобельске, в двенадцати верстах от которого находилось имение, и занялся хозяйством.

Был Михаил Егорович не чужд новых веяний: служа в полку, солдат не бил, разве только, очень уж осердясь, фуражкой. Ставши землевладельцем, также оказался не в последних рядах: не упорствовал в стремлении сохранить крепостничество, наоборот, живо участвовал в обсуждении крестьянского вопроса, принялся писать проспекты и статьи, в одной из них доказывал, что «если земли, отводимые крестьянам, не будут выкуплены и крестьяне должны будут за них работать у помещика, то лучше вместо определенного оклада работ назначить оброчную плату с предоставлением помещикам и крестьянам, по обоюдному соглашению, заменять денежную плату работой, отчего эта работа потеряет характер принужденного труда». Сам Чернышевский отметил в «Современнике», что «статейка помещика Старобельского уезда г. Гаршина заключает в себе развитие одной весьма справедливой мысли...».

Быть может, в то далекое время, когда вокруг кипели споры о прихотях господ и о судьбе рабов, услышал впервые маленький Всеволод о двух своих дедах, двух помещиках — Степане Дмитриевиче Акимове и Егоре Архиповиче Гаршине.

Соседей раздражали три «странности» отставного морского офицера Степана Дмитриевича Акимова: образованность, необыкновенная справедливость и редкостно хорошее отношение к крестьянам. Этого

довольно было, чтобы Степана Дмитриевича объявили «опасным вольнодумцем» и «помешанным». В «помешательстве» его окончательно перестали сомневаться после голода 1843 года. Сотни людей погибали от истощения, от цинги и голодного тифа, хлеб имущие притаились по своим углам — каждый жил для себя. А Степан Дмитриевич Акимов заложил вдруг родовое имение, на вырученные деньги купил хлеба и роздал его голодающим крестьянам, своим и чужим.

И в голос все решили так:
Что он опаснейший чудак...

Егора Архиповича Гаршина «опаснейшим чудаком» не считали. Он, как полагалось, был жесток и властен, порол мужиков, насиловал крепостных девок, пользуясь правом первой ночи, и заливал кипятком фруктовые деревья «непокорных однодворцев». Весь век свой из-за пустяков судился с соседями, проигрывал процессы, обжаловал судебные решения, приезжал, разъяренный, с заседаний суда, дома бесчинствовал, потом валился на кровать и по трое суток спал без просыпу. К концу жизни сильно расстроил свое состояние и оставил детям куда меньше того, что получил сам. Старобельское именьице и семьдесят душ при нем достались Михаилу Егоровичу; там он и принялся хозяйствовать.

Армия труднее уходит из жизни человека, чем человек из армии. Нелегко было поначалу Михаилу Егоровичу отрешиться от прежних интересов, привычек, разговоров. Дом Гаршиных часто посещали офицеры квартировавших в городе кавалерийских полков. Говорили о минувшей Крымской кампании, искали причины поражения, горевали о загубленном Черноморском флоте. Проигранная война расшевелила умы, развязала языки. Говорили о русском солдате, который любую беду вытерпит, любую тяжесть вынесет на своих плечах. Братья Екатерины Степановны, Николай и Дмитрий Акимовы, военные моряки по семейной традиции, рассказывали, как насмерть стояли тамбовские, рязанские, нижегородские мужики на севастопольских бастионах и редутах.

Маленький Всеволод слушал разговоры взрослых. «Война» представлялась ему широким ровным полем — ряды всадников в сверкающих латах стояли друг против друга с пиками наперевес. Еще воображал он высоченный земляной холм. Это был Севастополь. С вершины холма палили пушки. Возле черных пушек суетились солдаты в белых рубахах с засученными рукавами. У подножья холма по черной и сверкающей, как деготь, воде бежали на белых раздутых парусах кораблики. Это были враги. Солдаты стреляли по корабликам, топили их и дружно кричали «ура».

Были еще солдаты из нянькиных сказок — хитрые храбрые усачи. Они приходили вечером в темную детскую. Няня сказывала сказку, словно песню пела. Сказка текла и текла плавной рекою. Казалось, кроватка слегка покачивается в этой распевной и ладной речи.

— ...Солдат выходит и говорит: «Ну что кричишь? Что тебе надо?» Змей говорит: «Зачем ты сюда пришел? Кто тебя звал?» — «Я пришел освободить царевну из твоих дьявольских когтей!» — «Сейчас я тебя раздавлю!» — «Врешь, идолище поганое! Либо съешь, либо подавишься». Змей опять говорит: «Ну что же, будем биться или мириться, или братоваться будем?» — «Не на то, — солдат говорит, — я пришел, чтобы братоваться, а чтоб биться». Змей и говорит: «Ну, бей!» Солдат ему на то отвечает: «Русский дух никогда не начинает вперед. Начинай ты!» Вот змей ударил, солдат пошатнулся. Солдат размахнулся — сразу три головы сшиб. Змей во второй раз ударил — прошиб солдату висок; а солдат осердился, развернулся, ударил — сшиб пять голов. Змей в третий раз ударил — пошатнулся сам; а солдат в третий раз размахнулся и сшиб последнюю голову...

Утром, лежа в кроватке, мальчик силился вспомнить, что рассказала няня и что видел он во сне, но никогда не мог: как река в море, сказка струилась в сон.

Однажды случилось чудо. Всеволод открыл глаза — в дверях комнаты стоял солдат. Не золотой кирасир, а солдат из няниных сказок, с добрым лицом и веселыми глазами. Настоящий — не сон. Когда мальчик соскочил на пол и, путаясь в длинной рубашке, босиком подбежал к нему: «Вы кто?», — солдат отдал честь, представился: «Жуков».

Всю жизнь солдат Жуков провел в походах, тысячи верст пути вымерил ногами, много повидал, еще больше услыхал, а потом годы да перенесенные тяготы взяли свое, и остановился он на привал в убогой старобельской больнице. Сменил привычную шинель на серый поношенный халат, лег на жесткую, неудобную койку и с грустью слушал, как стихает вдали знакомая песня — полк уходил из города. По выздоровлении отставной солдат Жуков поступил в услужение к помещику Михаилу Егоровичу Гаршину.

Никто не знает теперь, что за увлекательные истории рассказывал Жуков своему любимцу Всеволоду. Но, видно, сумел солдат поведать ему большое, главное.

Настал день, и в доме помещика Гаршина началась не похожая на игру игра.

...Всеволод собирался в поход. Он увязывал в узелок немного белья и пирожки на дорогу, надевал его на плечи и, печальный, являлся прощаться с домашними.

— Прощайте, мама, — говорил он. — Что же делать, все должны служить.

— Но ты подожди, пока вырастешь, — убеждала мальчика мать. — Куда же тебе идти, голубчик, такому малому?

— Нет, мама, я должен.

И глаза его наполнялись слезами.

Всеволод прощался с няней. Няня голосила, причитала над ним. Он плакал. Мать просила его остаться до утра. После долгих уговоров он соглашался. Проходила неделя, другая — и все начиналось снова. И снова упрямое желание покинуть дом, родных, отправиться бог весть куда четырехлетний мальчик объяснял весомым от сердца идущим «я должен».

Это «я должен» осталось в нем на всю жизнь.

ПЯТЫЙ ГОД ЖИЗНИ. СЕМЕЙНЫЕ ВЕЧЕРА

«Пятый год моей жизни был очень бурный. Меня возили из Старобельска в Харьков, из Харькова в Одессу, оттуда в Харьков и назад в Старобельск (все это на почтовых, зимою, летом и осенью); некоторые сцены оставили во мне неизгладимое воспоминание и, быть может, следы на характере».

Детство — пора радостей. Детские радости плохо запоминаются. Они естественны. Они сливаются в памяти в одно неясное волнующее ощущение «счастливой, невозвратимой поры». Тем глубже врезается в память детское горе. Это следы на камне — следы навсегда.

...Были вечера в гостиной — долгие осенние и зимние вечера. Зеленая лампа, излучавшая свет, тепло, уют. Гости, чай, разговоры — и над всеми голосами голос матери. Она могла говорить часами, увлекаясь и увлекая других, о новой книге, о литературе и литераторах, о странностях и курьезах жизни, о своих знакомых. Она умела сочно хвалить людей, воспевала тех, кем интересовалась, о ком хлопотала сегодня. Умела одним, подчас несправедливым словом перечеркнуть того, к кому благоволила вчера.

Михаил Егорович проводил вечера у себя в кабинете. Лишь время от времени он порывисто вбегал в гостиную, резко останавливался в дверях, оглядывая всех, словно удивляясь чему-то. Склонив набок голову и пощипывая бачки, прислушивался к разговорам, вставлял не очень кстати несколько фраз и, вдруг спохватившись, снова убегал в кабинет. Там, в кабинете, из угла в угол были протянуты веревочки и нити, по ним скользили маленькие вагонетки из картона и дерева. Михаил Егорович мечтал стать создателем подвесной канатной дороги. Гости, покачивая головами, смотрели ему вслед, говорили: «Какой он странный, Мишель!» Его так и звали: «Мишель странный».

Свежий ветер врывался в гостиную — входил Петр Васильевич Завадский, счетовод по имению, домашний учитель старших сыновей, Георгия и Виктора. Он входил разгоряченный, стремительный и с порога врывался в беседу. Он не просто высказывался — он спорил. По комнате метались раскаленные слова: «либеральные идеи», «Искандер», «Колокол», «рабство». Екатерина Степановна поддерживала то, что говорил Петр Васильевич, и зачарованным взглядом, и торопливым кивком головы, и вовремя поданной репликой.

Всеволоду казалось, что никого больше нет в гостиной — только этот невысокий человек в старом студенческом мундире и мать, оживленная, красивая. Гости и впрямь понемногу расходились, а Завадский, словно не замечая этого, волнуясь, читал своего любимого Шевченко:

> Нам тільки плакать, плакать, плакать
> І хліб насущний замісить
> Кровавим потом і сльозами.
> Кати знущаються над нами,
> А правда наша п'яна спить...

Потом вдруг становилось тихо-тихо. Они оставались вдвоем — мать и Петр Васильевич. Молчали. Перебрасывались несколькими словами. И снова молчали. В простых словах был для них сокрытый смысл, и связывали их не только слова.

Отец, как всегда внезапно, появлялся в дверях, недоверчиво смотрел на Екатерину Степановну, на Завадского, улыбался некрасивой, обиженной улыбкой, и глаза у него были такие, будто он обманул кого-то.

...«Ты еще не спишь, Всеволод? Спать, мальчик, спать!» Мать вела его в детскую. За дверью в прихожей прятался десятилетний Георгий — Жорж, бледный, с покрасневшими злыми глазами. Он исступленно шипел в спину матери: «Жена мужа предала, предала». Екатерина Степановна больно дергала Всеволода за руку, почти бегом тащила за собой по коридору.

...Он долго не мог заснуть. Отчего-то замирало сердце... Была гостиная. Зеленая лампа, гости, Петр Васильевич, отец, мать... И в душе вдруг просыпа-

лась вновь щемящая неловкость, которую вызывали в нем переглядывания и сдержанные усмешки гостей, непонятный прерывистый разговор матери и Петра Васильевича, косая, растерянная улыбка отца... Кровь бросалась ему в лицо. Сухой комок торчал в горле. По-детски остро Всеволод ощущал, что его обманывают. Ему хотелось заплакать, закричать, созвать всех. Если лгать плохо, почему же люди лгут?.. Он натягивал одеяло на голову и, глотая слезы, лежал молча.

ПЯТЫЙ ГОД ЖИЗНИ. БУРНЫЕ СОБЫТИЯ

Ранним зимним утром два возка выехали из ворот старобельского дома Гаршиных. У развилки дороги они повернули в разные стороны. Михаил Егорович повез старших сыновей, Жоржа и Виктора, в Петербург — устраивать в Морской корпус; Екатерина Степановна со Всеволодом собралась в Бахмутский уезд к матери.

Снег, снег... Белые поля бежали навстречу. Они сливались с белым недобрым небом. Казалось, возок все время едет в гору. В глазах мелькали, кружились сверкающие серебряные мотыльки. Дальняя рощица рыжеватым дымом заволокла горизонт.

Снег, снег. Полозья легко скользили по накатанному пути. Мать, молчаливая, настороженная, словно таила что-то, поглядывала в оконце, прижимала к себе Всеволода, гладила горячей ладонью его щеки, лоб. Ему было тепло, уютно от ласковых ее прикосновений. Он задремал. Нянька Евфросинья добродушно посапывала рядом.

И вдруг, как в сказке: «Стой! Стой!» Шальные черные лошади откуда-то сбоку, будто прямо из-под снега, вырвались на дорогу. Возница испуганно натянул вожжи. Екатерина Степановна резко распахнула дверцу. Неожиданно появился Петр Васильевич. Протиснул плечи в возок, взял Всеволода под мышки: «Пойдешь ко мне?» Нянька Евфросинья вцепилась мальчику в шубенку, завыла, запричитала: «Не отдам! Не отдам! Барин не велел!» — «Да пусти ты!» Рукав шубенки затрещал. «Скорей! Скорей!» — кричала мать уже из стоявшей поперек дороги кибитки. «Грех! Грех!» — взметнулся над белой степью нянькин вопль. Всеволода завернули в полость. «Пошел!» — приказал Завадский, падая на сиденье рядом с матерью...

Когда Михаил Егорович ночью получил от брата депешу: «Спеши приехать, тебе нужно по твоим семейным делам», — он помчался из Петербурга домой. В Твери он думал, что можно еще все устроить, написал брату: «Благоразумными мерами старайся спасти ее и Всеволода. Бог тебя не оставит!» В Москве он еще надеялся — просил в «Московском вестнике» посылать Екатерине Степановне тексты для переводов с французского. В Харькове он понял, что все кончено, — два дня плакал и молился, на третий решил брак свой разорвать, а еще через неделю засел сочинять «объявление»: «Его высокоблагородию Господину Харьковскому старшему Полицмейстеру Антону Григорьевичу Хонтинскому с просьбою «о возвращении отцу украденного сына».

«Меня возили из Старобельска в Харьков, из Харькова в Одессу...»

...В Одессе было интересно. Дядя, Владимир Степанович, настоящий моряк, только что возвратился из Лондона на пароходе «Веста». Дядя брал Всеволода в порт — смотреть корабль. Потом Всеволод всюду рисовал «Весту» — в альбоме, на книгах, даже на дядиных заметках о плавании. Ему хотелось знать, как растет трава, откуда берутся волны, может ли слон победить льва. Ему подарили книгу «Мир Божий» А. Е. Разина. Он спросил: «О чем эта книжка?» — «Обо всем». Он удивился: разве можно обо всем написать в одной книжке? На первой странице была нарисована ветка. По ней ползли разные жуки и букашки. На одном сучке смешно повисла буква «В». Всеволод стал читать: «Все на свете, на что ни посмотришь, кажется очень просто: стол стоит, солнце светит, глаза глядят, ветер дует, дерево растет, губка впитывает воду, комар жалит, живописец пишет картину, роза пахнет, соловей поет... Все ка-

жется очень просто. А как всмотришься хорошенько, рассмотришь все, до самой последней мелочи, так нет, не просто». Всеволод сразу полюбил эту книгу. Навсегда. Ему нравилось в Одессе. Он думал: «Может, останемся здесь?» Однажды мать сказала взволнованно: «Надо ехать в Харьков. Там — беда».

...Михаил Егорович в расстройстве и гневе бегал по кабинету. Топтал сорванные в сердцах веревочки и нити так и не изобретенной канатной дороги. Больно щипал себя за бачки. Позор! Унижение! Жена не отыскана. Сын не возвращен. Совратитель не наказан. Совратитель! Добро бы кто-нибудь, а то ведь плюгавый семинарист, жалкий наемный счетовод, которому отдавали поношенное барское белье, натуралист, возомнивший себя гением! Вот они «либеральные идеи», «Колокол», «Искандер». С корнем надо выдирать! С корнем!.. Путаясь в веревочках и нитях, сердито дергая ногами, Михаил Егорович бросился к столу, на чистом листе бумаги вывел аккуратно:

«Его превосходительству
Александру Егоровичу Тимашеву,
Господину Генерал-Адъютанту,
Начальнику Штаба Корпуса Жандармов».

...Генерал Александр Егорович Тимашев из угла в угол перечеркивал равнодушным взглядом страницы письма отставного ротмистра Михаила Егоровича Гаршина. Тривиальная история. Уездная барынька втюрилась в домашнего учителя. Рогоносец муж требует удовлетворения. Боже, о чем только не пишут люди в жандармский корпус!.. Впрочем, что это? Отставной ротмистр винит в своих несчастьях самого Герцена, «называвшего себя Искандер...». Сие уже небезынтересно. К письму приложено обличительное сочинение, озаглавленное «Совет разумнику». Просьба:

«Осчастливьте меня, отошлите один экземпляр в Англию, пусть читает и наслаждается, другой же экземпляр (не откажите в желании истинного подданного царя и сына отечества) представьте самому

государю императору. Чистое изложение чувств души моей не затруднит доброго монарха, он любит правду, и в особенности ту правду, которая так метко делает выстрел в грудь общего врага нашего Герцена, ложно называющегося Искандер!..»

Генерал Александр Егорович Тимашев цепко вчитывался в неуклюжие фразы, сочиненные Михаилом Гаршиным. Отставной ротмистр решил обратить Герцена «на путь правды», он пишет:

«...Оставив свою отчизну Русь, эту дивную, целомудренную, роскошную красавицу, Вы, как хищный коршун, кричите оттуда во все горло: «Я люблю отчизну!», но Вы не обманете этим истинных сынов Руси, чтущих своего Венценосца... и гордящихся тем, что питают к Венценосцу чувства верноподданничества...

...Когда охватит пожарище Вашу любимую отчизну (а по-моему, Вами ненавидимую).., Вы оставите Ваш вольный станок книгопечатания в Англии и явитесь в Россию. Это явление Ваше будет похоже на явление мошенника во время пожара... Скажу прямо: Вы хотите сделать из России республику, чтобы сделаться... президентом, а потом, пожалуй, опять республику обратить в империю и сделаться Императором...»

Генерал Тимашев поморщился, пожал плечами — слишком глупо, чтобы отправлять Герцену. Высмеет. И ротмистру Гаршину достанется, и других не пощадит... Государю же сочинение показать следует: приятна будет ему любовь подданных. Да и упомянутым Завадским, коего Михаил Гаршин именует «клевретом» и «корреспондентом» Герцена, надобно заняться. Проверить, прощупать, проследить — вдруг и впрямь откроется что-либо поважнее тривиальной усадебной интрижки. Разное случалось в Харькове...

УЧИТЕЛЬ ЗАВАДСКИЙ

Весенней ночью 1856 года на харьковских улицах была расклеена рукописная пародия на высочайший манифест о заключенном в Париже мире.

«Божиим попущением и неистощимым терпением любезноверного нам русского народа, мы, Александр Второй, император и самодержец всероссийский, объявляем всенародно...» И дальше перечислялись все поражения и убытки, которые потерпела Россия в итоге проигранной Крымской войны. Возле расклеенных листков толпились люди. Реяли в воздухе звонкие студенческие голоса:

«Итак, россияне, ваша благородная ревность к славе отечества, ваши пожертвования, ваша кровь были напрасны! Народ и войско сделали все, что могли; но неспособность и корыстолюбие генералов, хищничество высших сановников, генералов и комиссариатских чиновников, наши собственные беспечность, невнимание и нерадение были причиною неудач. Памятный россиянам родитель наш преследовал и гнал всякое развитие ума, всякий порыв истинной любви к отечеству. Вот почему в решительную минуту не нашлось достойных вождей, честных инженеров и чиновников...»

Одни слушали с восторгом, другие боязливо ежились, третьи гневно стучали тростью о каменные плиты тротуара. Полицейские сдирали с заборов «возмутительные» листки. Кто-то скороговоркой старался прочитать пародийный «манифест» до конца:

«Благодарим вас, добрые россияне, за ваше ослепление, в котором вы не видите всех злоупотреблений наших; благодарим вас за ваше терпенье, поистине овечье, с которым вы переносите все бедствия, все несправедливости, всю тьму зол, происходящих от деспотической власти нашей; благодарим вас за то, что вы не стремитесь к истинному просвещению, а поверив нашим рабам, вашим обиралам — архиереям и попам.., спите во мраке невежества. Спите, добрые россияне, пока с вас не стянули последней рубахи, не выпили последней капли вашей крови. Спите!.. Утешайтесь нашими о преобразованиях обещаниями, в которых не было, нет и не будет ни слова правды!..»

Харьковские власти всполошились — шутка ли: угроза обвинения в неблагонадежности нависла над

губернией. Искали преступника, не могли найти и на всякий случай доносили в столицу, что «нет ни малейшего повода предполагать, чтобы... самая рукопись составлена была в Харькове». Но вот повод появился: через пять недель после выхода сатирического «манифеста» кто-то развесил на университетских стенах афиши по типу театральных, извещавшие о том, что к 1862 году, тысячелетнему юбилею России, «если народ поскорее очнется, совершено будет:

Освобождение России от Батыевых наследников
или
Победа света свободы над мраком самодержавия.

Историческая драма в 3-х действиях,
соч. Судьбы Народов».

Стало ясно: злоумышленник здесь, в Харькове. Его надо искать и найти. Из Петербурга летели в Харьков недовольные напоминания. Сам государь интересовался харьковскими пасквилями. И ему «весьма неприятно» было, что виновного не могли открыть.

Между тем «виновный» продолжал действовать. Появилась еще одна пародия на царский манифест, которая сообщала, что «государыня императрица Мария Александровна благополучно выпустила в свет нового дармоеда, нареченного Сергием». По городу ходили памфлеты, неприглядно изображавшие местное начальство, кто-то распространял бунтарские сочинения Герцена, прокламации, стихи Лаврова. Харьковчане читали шепотом страшные строки:

Проснись, мой край родной, изъеденный ворами,
Подавленный ярмом,
Позорно скованный бездушными властями,
Шпионством, ханжеством!
...Встань: ты пред идолом колена преклоняешь,
Внимаешь духу лжи;
Свободный, вечный дух ты рабством оскверняешь...
Оковы развяжи!

Полиция сбилась с ног. Слежка не приносила результатов. Старший полицмейстер майор Серебряков был на всякий случай «по болезни и по прошению» отчислен от должности. Харьковский жандарм-

ский генерал Богданович метал громы и молнии. А «преступники» собирались как ни в чем не бывало на частной квартире, сочиняли прокламацию, обращенную к крестьянам, обсуждали проект будущего переустройства России, спорили, что делать с царской фамилией после переворота. Наконец сошлись на том, что надо ее уничтожить. И один из «преступников» — самый горячий — закричал: «И-и, проклятые! Не вывернулись бы, если бы поймал. Были бы деньги, — добавил он, немного успокоившись, — сейчас — в Петербург и там улучил бы минуту...»

«Наш Каховский», — сказал о нем кто-то.

Петра Васильевича Завадского арестовали морозной январской ночью 1860 года. Пришли по доносу Михаила Егоровича искать Екатерину Степановну, ее не нашли, зато обнаружили документы, которые свидетельствовали о том, что в 1856 и 1857 годах в Харькове действовало тайное общество, что входило в него четырнадцать студентов, что общество ставило своею целью «изменение существующего образа правления», причем «отчаяннейшими республиканцами» в нем были Яков Бекман, Митрофан Муравский и Петр Завадский, что члены общества писали сатиры на высочайшие манифесты, распространяли либеральные сочинения, а также стояли во главе студенческих волнений 1858 года, о которых сумели сообщить Герцену в «Колокол».

Завадский шел к полицейской карете без шапки, блестящий крупитчатый снег скрипел под ногами. Завадский вспоминал, как угасло общество: поняли, что своими силами переворота не совершить, с народом говорить не умели, а тут еще поверили в милость нового царя. На первом же допросе, когда прочтена была написанная Завадским история тайного общества, его спросили:

— Не припомните ли, кто из членов общества выразил желание лишить жизни священную особу государя императора?

Петр Васильевич оглядел сидевших за столом, помедлил и ответил:

— Я...

Завадского повезли в Петербург, в специальную следственную комиссию.

Екатерина Степановна примчалась в Харьков. Ее задержали. Потребовали, чтобы не выезжала из города. Запретили выходить из квартиры. Не разрешили переписываться с родными. В начале марта ее вместе со Всеволодом вызвал к себе следственный пристав Грабилин якобы для свидания с мужем. В полицейской части Михаил Егорович выхватил у нее из рук сына. Екатерина Степановна бросилась к Всеволоду. Квартальный оттолкнул ее...

Членов харьковского тайного общества судили в апреле. Завадского приговорили к высылке в Олонецкую губернию «с употреблением на службу в уездных городах и с бдительным надзором».

...Светлая молодая травка стремительно вырывалась из земли. Солнце светило — золотое, еще не выгоревшее. Кибитку тряхнуло на ухабе. Петр Васильевич проснулся: слева жандарм, справа жандарм. Снова закрыл глаза.

МАЛЬЧИК И КНИГИ

Гарри был такой же маленький мальчик, как Всеволод. Только он был негритенок — раб. Хозяин взял да и продал его. Мать Гарри, прижимая сына к груди, убежала от хозяина. Всеволод смотрел в окно. По реке плыли большие зеленоватые льдины. Наталкивались одна на другую, ломались с шумом. Мать Гарри, спасаясь от погони, переправилась через реку во время ледохода. Всеволоду казалось — он видит черную женщину, прыгающую со льдины на льдину. Она ничего не боялась. Очутиться в руках преследователей было страшнее, чем утонуть.

Вот как все устроено: есть свободные люди и есть рабы.

Маленькая цыганка Эсмеральда плясала на площади перед Нотр-Дам. Ее казнили. Красивый оказался предателем. Урод — благородным.

Надо верить красоте души, а не красоте лица.

Когда старобельский исправник приказал цыганам перестрелять медведей, с которыми они ходили по ярмаркам, красивые барышни, дамы и господа, спокойно улыбаясь, глядели на казнь, а грязные, оборванные, страшные цыгане плакали.

Всеволод читал «Что делать?». Он был поражен. Через много лет все люди станут свободными, справедливыми, красивыми и лицом и душой! Удивительно — кто-то рассказал, что писатель в крепости. Человек смотрит на тяжелые каменные стены и видит прекрасные города из стекла и света.

Читать научил Всеволода Завадский. Мальчик помнил, как однажды учитель сел рядом с ним, открыл наугад номер «Современника». Привычные слова — напечатанные на бумаге — удивляли. Знакомые фамилии, которые казались просто фамилиями, составленные из букв, вдруг принимали особый, тайный смысл: что-то доброе и понятное — Добро-любов; правдивое и резкое — Не-красов; решительное, через всю страницу — Чернышевский, и большое, круглое, даже веселое — Толстой...

В пять лет Всеволод читал хорошо, в шесть — хорошо и много.

Он жил с отцом в деревне и читал. Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Жуковского. Гюго и Бичер-Стоу. Журналы. Отец говаривал: «Читай, читай все, дружок! Только доброе осядет в твоей душе».

...Зима. Поздний вечер. Метель на дворе. В комнате натоплено. Пахнет соломой, соломой топят печи. Красное пламя свечи. Михаил Егорович отрывает глаза от хозяйственных бумаг, смотрит на Всеволода. А тому жаль расставаться с книгой. Сейчас отец станет проходить с ним урок, будет кипятиться, объясняя десятичные дроби. Но отец берет в руки евангелие. Всеволод внимательно слушает. В золотой от солнца стране со сверкающими белыми городами жил странный человек, очень добрый и очень правдивый. Он никому не делал зла и безропотно сносил обиды. Старый Том тоже не роптал, когда его мучил хозяин. Он отказался ударить женщину, хотя знал, что его самого жестоко изобьют за это.

— Ты понял? — спрашивает отец. — И кто ударил тебя в правую щеку, обрати ему и другую.

— Папа, помнишь, дядя приезжал? Ведь тогда точно так было: он ударил своего Фому в лицо, а Фома стоит; и дядя его с другой стороны ударил — Фома все стоит. Мне его жалко стало, и я заплакал.

— Не то, дружок, не то...

Красные языки огня мечутся, гудят в печке...

Засыпая, Всеволод долго смотрел на красный ковер — причудливые узоры превращались в цветы, зверей, птиц, в человеческие лица. Всеволод думал о матери. Он скучал. Отцу нельзя было говорить об этом. Иногда Всеволод посылал матери письма. Шестилетний человек страдал: «Дай бог мне еще видеть вас».

Екатерина Степановна шла на все, лишь бы вернуть Всеволода. Она подала прошение князю Суворову, петербургскому генерал-губернатору: «...Несчастный мальчик остался при своем безумном и развратном отце. В настоящее время ему уже осьмой год, он растет без всякого призрения и вместо уроков и наставлений, необходимых в его возрасте, видит только грязные картины безнравственной жизни...»

Князь Суворов направил документы в Третье отделение. Агенты «выяснили личность» Гаршиной и установили, что «она осталась в бедном положении». Екатерине Степановне было выдано сто рублей. К тому времени Михаил Егорович согласился вернуть Всеволода матери, с тем чтобы мальчик продолжал образование в гимназии.

Мать увезла сына из деревни августовским днем 1863 года. На повороте Всеволод оглянулся. Отец выбежал на середину улицы, с отчаянием смотрел им вослед. Екатерина Степановна обняла сына: «Рад, что снова со мной?» Мальчик не ответил. Да, он рад, конечно, рад. Но ведь отец остался совсем-совсем один. Вон он стоит перед домом. Без шапки. И дождь моросит. Матери нельзя было говорить об этом. Всеволод промолчал. Стыдясь себя, прижался щекой к ее плечу. Почему люди лгут?!

Большой сверкающий ворон сидел на берегу в старой гимназической фуражке с выломанной кокардой и терпеливо ждал хозяина. Смуглый худощавый юноша вылез из воды, не вытираясь, быстро оделся, осторожно вытащил ворона из фуражки, посадил себе на плечо.

Уходить не хотелось. Всеволод, задумавшись, стоял над рекой. Вечерело. В небе над степью разлилось золото. Айдар плескался у ног, стремился куда-то, нес мимо яркие осколки солнца.

На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн,
И вдаль глядел... —

вслух проговорил Всеволод и засмеялся. Сам-то он кто? Петр? Увы, скорее бедный Евгений.

Солнце спряталось за горизонт. Кончился еще один день, теплый, радостный. Скоро в Петербург, в гимназию.

Пред ним широко
Река неслася...

Серая, холодная Нева... Всеволод вдруг увидел себя со стороны: дождливым осенним утром одинокий гимназист в потрепанной шинельке уныло плетется по прямым линиям Васильевского острова. Всеволод не любил гимназию. Он мечтал: литератор Гаршин — стол, заваленный исписанными листами бумаги, стройные полки с книгами, взметнувшиеся вдоль стен; литератор Гаршин застыл в кресле, прикрыл глаза ладонью, чувствует: миг настал, сейчас он скажет что-то очень нужное людям. Всеволод мечтал: естествоиспытатель Гаршин — микроскоп, звонкие шеренги пробирок, гербарии, энтомологические коллекции; глаз прижат к окуляру — вот сейчас... сейчас свершится...

Унылый гимназист вспоминает о невыученной алгебре, о придирках попа на уроках закона божьего, ему становится тоскливо. Сейчас он возьмется за массивную отполированную ладонями ручку, медленно, без охоты, потянет на себя тяжелую, словно каменную, гимназическую дверь... Свернуть за угол? Сбежать?.. Нельзя... Он должен кем-нибудь стать. Нет, не литератором, не ученым — пристроиться бы в Инженерное училище или Институт путей сообщения, да на казенный счет. Окончить. Получить жалованье. Выбраться из этой проклятой бедности.

«О рубле, который вы ко мне прислали, я писал, благодарил вас...». «...Приплатил $1^1/_2$ рубля и ехал от Москвы в спальном вагоне. Простите, мамаша, за этот лишний расход». «...Пришлите, если можно, разумеется, 6 рублей на штаны: совсем износились». «Если у меня не хватит сапогов, вы, я думаю, позволите мне задолжать рубля три за головки...» — это из его писем к матери.

Он думает о матери. Переводы, частные уроки, шитье на машинке. Унылому гимназисту становится стыдно — он ускоряет шаги. Юркие дождевые капли сбегают за шиворот.

На берегу пустынных волн...

Думы у нас сегодня не очень-то великие. А, Ворка?

Ворон изумленно покосился на Всеволода круглым рыжим глазом.

Уходить не хотелось. Вдали, над степью, в красном расплавленном металле заката плавали длинные серые облака. Айдар потемнел, стал холодным, настороженным, чужим.

...Так он мечтал. И грустно было
Ему в ту ночь...

У каждого человека должен быть, наверное, свой уголок, куда человек всегда мог бы прийти. Это очень нужно — иметь, куда прийти. Три года Всеволод жил в Петербурге с матерью и братьями. В квартире на Литейном был у него свой письменный стол и кровать, отгороженная ширмой. Были любимые книги, рисунки, собранные им коллекции растений и жуков.

У матери часто собирались гости — литераторы, известные в интеллигентных кругах лица, поборницы женской эмансипации. Гостям нравился Всеволод. Славный мальчик сидел в сторонке, внимательно прислушивался к разговорам. На вопросы отвечал умно, толково. О естественных науках говорил интересно. Растения называл по-латыни. Книг прочитал множество — и все помнил. Однажды славный мальчик не на шутку удивил гостей. Очень образованная дама вдруг спросила: «Почему якорь можно легко поднять из воды; ведь во время бури он так крепко держится на дне, что скорее лопнет цепь, чем сдвинется с места корабль?» Литераторы, известные в интеллигентных кругах лица, и поборницы женской эмансипации не знали. Гимназист второго класса подошел к очень образованной даме, просто и наглядно объяснил ей способ подъема якоря.

...Всеволод улыбнулся — хорошее было время. Он убегал от гостей к себе, раскладывал на столе аккуратно высушенные цветы и травы (гербарий пополнился летом, когда они ездили к Завадскому — в Петрозаводск), подолгу смотрел в аквариум, где возились тритоны... Да, Ворка, хорошо иметь свой уголок!..

Всеволод жил с отцом, жил с матерью; когда Екатерина Степановна уехала из Петербурга обратно в Харьков, жил год со старшими братьями; потом остался один. Его поселили у знакомых — у Афанасьевых. С Васей Афанасьевым он учился в гимназии.

Всеволод посылал письма домой. Дома было два: иногда ему казалось, что не было ни одного. Приходилось оправдываться перед отцом в своей любви к матери, убеждать мать, что равнодушен к отцу. Он ненавидел ложь, чувствовал себя предателем — и лгал. Он еще не умел всегда говорить правду.

Отец вдруг приезжал в Петербург, привозил какие-то проекты, изобретения, показывал кому-то, уничтожал, осердясь, и снова исчезал. «Мишель странный» становился все более странным. Всеволод огорчался: Афанасьевым нередко приходилось туго (когда Вася заболел, у них не нашлось пятидесяти рублей, чтобы отправить его на юг), а отец задерживал, не присылал денег. Всеволод чувствовал себя нахлебником. Отец умер — Всеволод забыл о его странностях. Он говорил о «папаше» холодно; вспоминал же натопленную комнату в деревенском доме, красный ковер на стене, красное пламя свечи. Всеволоду казалось — он в долгу перед отцом за эти зимние вечера...

Потом, через десять лет, писатель Гаршин отдал долг: он написал рассказ «Ночь» и в нем помянул отца добрым словом. Даже через десять лет мать не простила ему этого.

...Ворон осторожно клюнул Всеволода в шею. Степь таяла в сумерках. Туманный Айдар плескался внизу.

...И грустно было
Ему в ту ночь..·

Еще один день ушел навсегда — ясный летний день. В большие клеенчатые сумки уложены ботанические коллекции. Связаны в пачку книги — Пушкин, Лермонтов, «Очерки из истории и народных сказаний» Грубе, «Московская флора» Кауфмана. Скоро в Петербург, в гимназию. Он не будет больше жить у Афанасьевых — его определили в пансион при гимназии. Хорошо, если начальство разрешит увольнения; мука — просидеть неделю в четырех стенах. Старобельск не бог весть какое счастье, а уезжать жаль. Всеволод снова представил себе унылого гимназиста, плетущегося по Васильевскому острову. Тройки в тетрадях. Скучные объяснения с матерью по поводу низких баллов. Что она думает о нем, читая в письмах вечное: «из тригонометрии — три, из алгебры — три...» Сперва Всеволод огорчался — право, он добросовестно выучивал, что положено. «Учусь я хорошо, но баллы жалкие». Потом понял: «Я могу работать долго и сильно, но только над тем, что я люблю, на что, быть может, уйдет вся моя жизнь». Так и решил. Еще жаднее набросился на книги, серьезно занимался ботаникой, ходил в театр — иногда на последние деньги: «...1 р. 75 к.

взято на починку сапог, а 1 р. 4 к. на всякую мелочь и на билет в театр (простите, мамаша). Видел «На всякого мудреца довольно простоты».

Унылый гимназист исчез. Перед глазами Всеволода — притихший зал петербургской оперы. Светится в темноте золотая лепка, из хрустальных подвесок люстры вырываются тонкими иглами красные и зеленые лучики. Но вот воздух словно вздрогнул, и уже раздольная увертюра «Руслана» заполняет зал.

Всеволоду вдруг захотелось в Петербург. Что здесь, в Старобельске — раз в месяц книжка журнала, еда и сон. Всеволод вспомнил разговоры у Маркеловой, приятельницы матери, в прошлом обитательницы Слепцовской коммуны. Спорили о народе, о социализме, об «Исторических письмах» Лаврова. Говорили о Чернышевском, о необходимости переустройства общества. Приходила Екатерина Александровна Макулова, подруга Маркеловой по коммуне, — убежденная демократка, страстный агитатор, азартная спорщица. Гимназисты знали ее — она пропагандировала среди них. Когда Всеволод слушал ее, ему тоже хотелось убеждать, полемизировать, выступать, писать. Возвращаясь домой, он с усмешкой думал о своих фельетонах (с претенциозной подписью «Агасфер») в рукописной гимназической «Вечерней газете», о поэме — гекзаметром в духе «Илиады», — в которой описывался быт гимназии, преимущественно драки. Все это было смешное, ненастоящее. Хотелось написать что-то важное, большое, свое. Но что?.. Высокий гимназист быстро и решительно шагал по прямым линиям Васильевского острова...

..Ночная мгла
На город трепетный сошла..

Ворон задремал на плече у Всеволода. В ночной прохладе поднимались над землей щемящие степные запахи. Черный Айдар поблескивал в темноте. Голубые звезды качались на волнах, тонули и выплывали снова. Далеко-далеко мерцали окна старобельских домов. Всеволод пошел на огоньки.

«ДОЛГО ЛИ ВСЕ ЭТО БУДЕТ?»

...Раскрытые книги валялись на полу. Корректный офицер раскланялся: «Прошу прощения, мадам». Хлопнула дверь. На книге остался след жандармского сапога.

...Екатерина Степановна вздрогнула. Когда это было? Лет пять назад — после выстрела Каракозова.

Письмо Всеволода дрожало в ее руке. «Принялся я за серьезное чтение; прочитал Лассаля. Сначала было трудновато, но потом обвыкся. Книгами меня Маркелова снабжает, спасибо ей...» Екатерина Степановна в эту минуту ненавидела добрейшую Александру Григорьевну. Лассаль, Лавров, социализм. Хоть бы детей-то оставили в покое. То-то Всеволод на одни тройки учится. Попадет в какое-нибудь общество, вышвырнут из гимназии — и все. Почаще бы вспоминал Завадского — загубленную жизнь.

Екатерина Степановна ответила Всеволоду резко и несправедливо: Лассаля он не поймет; Маркелова, Макулова и К° до добра не доведут; выкинул бы из головы «мысль о перестрое современного общества» да занялся учением. В раздражении сослалась на пример старших братьев: Жорж ходит по трактирным заведениям, Виктор влюбился в девицу легкого поведения — и все от «псевдолиберальных тенденций».

Всеволоду было обидно. Несправедливость матери била больнее гнева. «Заговор», «Маркелова и К°», «шершавый нигилизм», «совращение с пути». Всеволод подружился в гимназии с Володей Латкиным. Старший брат Володи — Василий — уже пять лет живет вместе с девушкой, которую любит. Они работают сообща — составляют минералогические коллекции, сообща все решают, помогают друг другу. Ни у кого ни копейки не берут, живут самостоятельно и к тому же «себя блюдут». Вот вам, мамаша, «шершавый нигилизм». Видно, не либеральные тенденции с пути-то совращают. Решил больше о «таком» чтении матери не писать. Но не выдержал —

проговорился снова: «...Читаю «Азбуку социальных наук» Флеровского, прелесть что такое!..»

Гимназический поп провоцировал Всеволода. На уроке, когда проходили «О первом обществе христианском», вдруг спросил: «А что, господин Гаршин, скажите мне, очень это на социализм похоже?» Всеволод вспыхнул, сдержался с трудом, отговорился неведением. Домой писал пренебрежительно: «Теперь нас каждый день два раза таскают в церковь. Весьма печально и тягостно. Я себе все ноги отстоял».

Всеволод увлекался словесностью. Василий Петрович Геннинг был один из трех любимых учителей. Всеволод радовался — сочинения задавали большие, темы Василий Петрович выбирал интересные, предупреждал: желающие могут пользоваться не только литературным материалом, но и собственными наблюдениями «в житейском море». Всеволод пользовался собственными наблюдениями.

...В пансионе стояла тишина: все разбрелись кто куда. Только откуда-то издали доносились грустные звуки фортепьяно. Ефимов, лучший в гимназии пианист, играл Шуберта.

Как же умирает русский человек?..

Всеволод надолго задумался над чистым листом бумаги. Можно было просто рассказать о смерти тургеневских героев — сочинение было по Тургеневу. Но разве главное во внешнем описании смерти или в том, чтобы сказать привычное: «Русский человек умирает мужественно»? Тургенев написал: русский человек умирает удивительно. Другого слова и не подберешь. Удивительно!.. Но чем же удивляет он нас, умирая?

...Это случилось давно — на даче под Петербургом. Умирал молодой ученый-филолог, с которым очень подружился маленький Всеволод. Мальчик впервые увидел тогда смерть.

Всеволод закрыл глаза и вдруг очутился в небольшой комнате. Две неяркие лампы освещают подушку, липкий зеленоватый лоб, пряди густых волос. Маленький Всеволод дрожал как в лихорадке. Он не столько знал, сколько чувствовал: свершается таинственное, страшное. Позвали священника. Тот пришел — высокий, худощавый, со строгим греческим профилем. Умирающий отрицательно покачал головой: «Не надо». Он рассказывал сидевшему у постели товарищу о своей диссертации. «Жаль, что не кончу», — прошептал он. Священник снова подступил к умирающему. «Уйдите, батюшка, пожалуйста. Лева, попроси батюшку уйти». Ученый жил атеистом и хотел умереть так, как жил. И он умер.

Всеволод встрепенулся — вот оно главное, удивительное. Человек, умирая, — умирая! — думает о деле своем, о своих убеждениях. Всеволод писал:

«...Так же умерли и тургеневские Максим, мельник, Авенир, старушка помещица. Ни бравурства, ни горести, ни страха не увидите вы на лице умирающего русского человека: в последнюю минуту жизни он будет заботиться о своих делах, о какой-нибудь корове, о том, чтобы заплатить священнику за свою отходную. Верующий был человек — он точно обряд над собой совершит; неверующий умрет в большинстве случаев без сознательного раскаяния, не отступив от того, за что он стоял перед самим собой всю жизнь, что досталось ему после тяжелой борьбы».

Василий Петрович поставил за сочинение высший в классе балл — «$4^1/_2$». Кое-кто из гимназических друзей всерьез заговорил, что Гаршину, пожалуй, быть писателем.

Через несколько месяцев (после каникул) Всеволод, доведенный до исступленного отчаяния, кричал в письме: «Поп явно враждебно относится ко мне, но я с него собью враждебность. Вызывает он меня и спрашивает *в продолжение целого урока,* т. е. *час,* не урок, а невозможнейшие вопросы со страшными придирками, наприм. Я говорю, что «крещение очищает нас от греха», а он: «От какого?» — «От первородного». — «От какого первородного греха?» Я начал излагать историю прегрешения Адама, он перебивает: «Да нет! Вы ничего не понимаете! Как вы смотрите на первородный грех?» и пр. и пр. И это ровно час. Он так придирался, что у меня от

злобы уже нижняя губа затряслась... Он (поп) знает, что у меня нервы расстроены, и с целью начинает раздражать человека, чтобы вывести его из себя. Как я был зол! Если бы не звонок, то я бы сделал скандал на все училище. Поп спрашивает целый час!..»

Он думал: отчего это — несправедливость, ложь? Географ Обломков ставит всем тройки, а своему неучу-родственнику — пятерки. Математик Гришин до помешательства доводит учеников бранью, остротами, шуточками. Пансион гораздо больше похож на тюрьму, чем старобельская «высидка».

Несправедливость, ложь. В гимназии. В пансионе. Везде. Гимназистов водили на церемонию, устроенную в память о Петре. Празднество оскорбило Всеволода.

«Мне было ужасно грустно в этот день. Мы (гимназисты, чиновники, купцы, вообще «чистый» народ) сидим на 5-рублевых местах, а позади народ толпится, ему ничего не видно, ему, которому и принадлежит право смотреть на праздник; его городовые колотят. Долго ли все это будет?

Праздник был совершенно поповско-солдатский и царский тоже, разумеется».

Надо было сбежать куда-то!.. Хорошо, что есть на свете друзья. С Володей Латкиным они читали книги. В книгах этих говорилось, что мир устроен несправедливо. Они спорили, как сделать людей счастливыми. Миша Малышев, товарищ еще с первого класса, нашел свою дорогу — поступил в Академию художеств. С Мишей размышляли о живописи: живопись должна кричать о несправедливости, о страданиях, а не ласкать глаз розовыми закатами. Интереснее всех был Александр Яковлевич Герд — естественник, дарвинист, педагог. Герд организовал земледельческую колонию для малолетних преступников. Несчастные воришки учились пахать землю. А за стенами колонии землю пахали мужики, те самые, которых во время церемонии городовые не пускали на скамейки для «зрителей», — мужики тоже не были счастливы.

Надо было сбежать куда-то!.. В Петербурге жил в это время брат Виктор. В его комнате Всеволод устроил лабораторию. Может быть, посредством химических опытов удастся добыть людям счастье! Он не понимал: почему окружающие не придают значения его опытам? Ведь это же так важно для всех!.. А тут еще эти несносные доктора твердят свое: «Надо лечиться!»

...Летом 1873 года Всеволода выпустили из больницы, он приехал в Старобельск. Полгода он жил вне жизни. И жизнь за эти полгода ничуть не изменилась. Гимназию преобразовали в Первое реальное училище; реалистов лишили права поступать в университеты — прощай, ботаника! Математик Гришин затравил до безумия пятиклассника Вукотича. Из старобельской тюрьмы бежало трое арестантов; за ними вдогонку послали тридцать трех солдат; они били беглецов с таким непонятным и диким озлоблением, что двое умерли в тот же день. Еще зимой застрелился брат Виктор; говорили — от несчастной любви. Можно было снова сойти с ума...

«УВИДЕЛ СМЕРТЬ»

Жизнь, как живописец, накладывает на наружность человека свои мазки. У Верещагина был орлиный взор, выправка строевого офицера, резкий металлический голос человека, привыкшего командовать. Картины Верещагина рождались не в тиши мастерской, а в шумном кипении, суровых тяготах походов и кампаний. Картины Верещагина, как «Севастопольские рассказы» Толстого, дышали правдой.

В России первая большая выставка Верещагина открылась весной 1874 года, за три года до русско-турецкой войны.

Она стала общественным событием. В двери ломились те, кого не привыкли видеть в залах художественных выставок, те, кого называли простым народом.

Народ признал Верещагина своим. Его картины не походили на привычную батальную живопись. Не было бутафорских битв, где «смешались в кучу кони, люди». Перед глазами зрителей не сверкали мечи, не блестели потные лошадиные ляжки. Не было и парадной холодности огромных академических холстов, на которых согласно некоей «табели о рангах» застыли сотни невыразительных фигурок.

Была война. Суровые военные будни. Тяжкие испытания. Был главный герой войны всегда самоотверженный и простой солдат русский — мужик в мундире, гимнастерке или шинели.

Сраженный воин — покинутый всеми, забытый на поле боя.

Смертельно раненный — усатое мужицкое лицо, пальцы, сжимающие кровавую рану на груди; он еще бежит по инерции навстречу неприятелю.

Окруженный русский отряд — горстка истекающих кровью людей, мужественно отбивающих атаки врага.

Была правда о войне. Эта правда кричала войне «Нет!».

У других баталистов битвы да победы — романтично и красиво.

У Верещагина изнеможенные и раненые, окруженные и убитые. А в довершение всего «Апофеоз войны» — груда черепов в пустыне и на раме многозначительная надпись — словно гневная усмешка: «Посвящается всем великим завоевателям: прошедшим, настоящим и будущим».

Газета «Голос» заметила: «Вряд ли найдется юноша, который, увидев эти дышащие правдою сюжеты, будет... воображать войну чем-то вроде одних букетов славы, отличий и тому подобного...»

Юноша тревожной, печальной красоты ходил и ходил по выставке. В окнах синели мартовские сумерки, день угасал, а Гаршин все не мог расстаться с жизнью, открывшейся ему в четырехугольных рамах картин.

Картины Верещагина потрясали. Они властвовали над мыслями и чувствами. Они вызывали скорбь,

горечь, гнев. Переворачивали привычные представления. Понятия «война», «патриотизм», «народ» воспринимались по-новому, требовали пересмотра.

Было больно и горько. Где-то далеко, в жаркой безводной пустыне, совершают подвиги и умирают обыкновенные русские мужики — народ. И вороны кружат над трупами. А где-то совсем рядом, в какой-нибудь Орловской или Курской губернии, прядет в мерцающем свете лучины солдатская жена или мать. Вспомнит о «своем», сбросит пальцем застрявшую в нежной морщинке слезу и вдруг затянет простую и страшную русскую песню — ту самую, которую вырезал художник на раме картины о забытом солдате:

Ты скажи моей молодой вдове,
Что женился я на другой жене,
Нас сосватала сабля острая,
Положила спать мать сыра земля...

Кипели слезы в библейских черных глазах.

Жизнь с картин остро и открыто смотрела в парадные залы.

Было стыдно. Хотелось кричать. Почему они там, эти простые герои — «солдатики», как их любят называть в прессе и в обществе? Кому нужны их страдания, их смерть и нужны ли? И какое право имеем мы быть здесь, когда где-то творится такое непоправимо страшное — война?

Благопристойные господа и нарядные дамы повизгивали у картин, умиленно любовались тонко выписанными коврами, халатами, орнаментами.

Широким, легким шагом Гаршин устремился к выходу. Гладкий, как лед, паркет искрился под ногами. В висках бились лермонтовские строки:

Как часто, пестрою толпою окружен,
Когда передо мной, как будто бы сквозь сон,
При шуме музыки и пляски,
При диком шепоте затверженных речей,
Мелькают образы бездушные людей,
Приличьем стянутые маски...

Вокруг творчества Верещагина разгорелся жаркий бой.

«У нашего художника всего громче звучит нота негодования и протеста против варварства, бессердечия и холодного зверства, где бы и кем бы эти качества ни пускались в ход...» — гремели с газетных страниц стасовские слова.

«Верещагин — явление, высоко поднимающее дух русского человека», — восторженно писал Крамской.

Мусоргский сочинил музыкальную балладу «Забытый» и посвятил ее автору картины.

Царь Александр II, осмотрев полотна Верещагина, отказался их купить.

Намек был ясный. Художника начали травить.

Низкопоклонники и дельцы называли Верещагина изменником. Холуи и клеветники обвиняли в клевете на русскую армию. Иноземцы, состоящие на царской службе, упрекали в антипатриотизме. Цензура запретила воспроизводить в печати картину «Забытый», потребовала снять посвящение художнику с нот баллады Мусоргского. Первое издание — с посвящением — уничтожила полиция.

Взбешенный Верещагин сжег три замечательные картины туркестанского цикла — «Забытый», «У крепостной стены. Вошли!» и «Окружили, преследуют».

Это не был жест отчаяния. Это был протест. «Я дал плюху этим господам», — сказал художник Стасову.

Лермонтовские строки бились в висках:

О, как мне хочется смутить веселость их
И дерзко бросить им в лицо железный стих,
Облитый горечью и злостью!..

Впечатления от выставки заполняли Гаршина, рвались наружу. Он привык писать матери. То, что потрясло его, не укладывалось в письмо. Мысли о выставке жгли, как раскаленные угли. Гаршин сел за стихи.

...Их осталось мало — русских солдат в чужой пустыне. Но они сражались. Валились с ног от ран, от изнеможения — и сражались.

...Толпы господ и дам нарядных бродили по выставке, подносили лорнеты к глазам, восхищались: «Какая техника!»

Комариным писком звенела в ушах пустая светская болтовня. Банальные реплики казались еще никчемнее здесь — перед лицом глядевшей с картин неизмеримо глубокой правды. Пошлость, лицемерие, ложь. Он был обязан бросить им в лицо облитый горечью и злостью стих. Гаршин писал:

«Ах, милая, постой!
Regarde, Lili,
Comme c'est joli! *
Как это мило и реально,
Как нарисованы халаты натурально».
«Какая техника!» — толкует господин
С очками на носу и с знанием во взоре..

И сразу в гневном противопоставлении вырвалось из сердца наболевшее, мучившее:

...Не то
Увидел я, смотря на эту степь, на эти лица:
Я не увидел в них эффектного эскизца,
Увидел смерть, услышал вопль людей,
Измученных убийством, тьмой лишений...

Смерть, вопль, убийство, лишения — так вырастает тема войны. Войны ненужной, несущей народу страдания неисчислимые.

А они — русские люди, солдаты? Они, как всегда, мужественны и просты.

Гаршин кончил стихотворение пророческой угрозой:

...Стенания детей,
Погибших за тебя среди глухих степей,
Вспомянутся чрез много лет,
В день грозных бед!

В этом раннем стихотворении юноша Гаршин определил свое отношение к войне. Он не касался характера войны, но он знал: война — это страдания, убийство, смерть. Гаршин не верил баталистам, писавшим «красивую войну». Он поверил Верещагину. Он был против войны.

* Смотри, Лили, как это красиво!

...Всеволод шел Летним садом. Зима загостилась — стоял май, а снег только начал таять. До выпускных экзаменов — три дня. Всеволод мечтал — сдать, сдать... Еще месяц, и он свободен. Трудный месяц — тринадцать экзаменов. А потом?.. В университет запрещено. В Медицинскую академию запрещено. Остается Горный институт — все-таки ближе к природе, чем Институт путей сообщения. Сдать... сдать... пансион невыносим больше. Мать, наверное, волнуется не меньше его, шепчет: «Всева, Всева...»

Всеволод вдруг остановился, нежно, словно к девичьей руке, прикоснулся пальцами к повисшей над аллеей ветке, удивленно сказал вслух:

— Деревья еще и не думают распускать почки. Просто оскорбленье!

...Бог подземного царства Плутон похищает Прозерпину, дочь богини земного плодородия. Могучий Геракл оторвал от земли Антея — близится конец поединка. Смысл аллегорий: овладевший подземными богатствами овладеет и плодами земного изобилия; силу в борьбе дает соприкосновение с землей. Знаменитые скульптуры-аллегории, изваянные профессорами Российской академии художеств Пименовым и Демутом-Малиновским, стоят по сторонам широкой лестницы у входа в Горный институт.

Поступавшие в институт сдавали физику. Гаршин волновался. Об экзаменаторе — Краевиче — рассказывали страшные сказки. Всеволод пришел рано. Институтские коридоры были пустынны. Всеволод заглядывал в аудитории — отыскать бы еще кого-нибудь, чтобы вместе идти на экзамен. В одной из аудиторий спокойно стоял у окна прямой, подтянутый юноша. Всеволод спросил:

— Вы — по физике?

Юноша кивнул головой.

— Если будет экзаменовать Краевич, провалитесь!..

Юноша изумленно посмотрел на Всеволода, пожал плечами:

— Почему вы так плохо обо мне думаете?

— Да если бы вы знали физику, как сам Краевич, и то он умудрился бы вас срезать.

Юноша улыбнулся. Всеволод умчался из аудитории, через минуту ворвался обратно:

— Ура! Мы спасены! Краевич не явился, принимать будет другой.

Радостный, быстро прошелся из угла в угол, подле незнакомца остановился, улыбаясь, протянул руку:

— Гаршин.

Юноша пожал руку:

— Плеханов.

«Дано сие из Горного Института Георгию Плеханову в том, что он состоял в Институте студентом II курса в течение 1874/5—1876/7 учебных годов и уволен из оного по малоуспешности.

Поведения был очень хорошего.

Директор Института генерал-майор...»

Николай Иванович Кокшаров, профессор минералогии и геогнозии, недовольно поморщился, потер ладонью седой затылок. Мерзкая бумажка! Что ни слово, то ложь. «По малоуспешности!» Студент Плеханов, помнится, и года в институте не проучился, как совет уже назначил ему Екатерининскую стипендию, коей отличаются лишь самые успевающие. Можно сказать, великолепный был студент господин Плеханов. Вот поведение!.. М-да... В этом-то все дело. Демонстрация на площади перед Казанским собором... Крамольные речи...

Николай Иванович еще раз прочитал заготовленную справку. «М-да, только бы правду скрыть!» — и подписал. А что поделаешь? Будь он только профессором минералогии и геогнозии! Но ведь он к тому же и директор, и генерал-майор...

...Плеханов прижался лбом к холодному стеклу. Поля, деревья, заборы, избы... Поезд, посапывая, удалялся от Петербурга. Быть может, на этом и оборва-

лась нить клубка, который так торопливо распутывала столичная полиция?.. А все-таки хороша была демонстрация у Казанского собора! Студенты, рабочие из кружков. Плеханов едва заметно улыбнулся, вспоминая, как взвилось, плескалось над толпой красное знамя с начертанными на нем гордыми словами «Земля и воля». Хорошо!.. Он думал: ну, а что дальше? Нелегальное положение, тайные организации, тюрьма, ссылка, побег за границу? Или, подобно тысячам других, надеть армячок и отправиться по деревням? Плеханов протер ладонью запотевшее от дыхания стекло. Поля, деревья, заборы, избы...

...Весной и летом 1874 года молодые люди, встречаясь, спрашивали друг друга: «Куда?» В Тульскую, в Тамбовскую, в Орловскую, в Курскую... По всем губерниям шли юноши и девушки в простонародных кафтанах, тулупчиках, поддевках, свитках, в паневах и сарафанах, в картузах, простых платках, повойниках. Шли по деревням, говорили зажигательные речи, удивлялись — думали, лавиной повалят за ними крестьяне, а у тех вдруг оказались свои непонятные мысли, свои неотложные дела, свои заботы. Мужики сочувственно покачивали головами, когда солдаты сажали студента на телегу, но почему-то не восставали. Не восставали — и все!

Осенью поднялись студенты. Сначала медики, потом Университет и Технологический, наконец Горный и Лесной институты. Помощник инспектора Горного института назвал вором бедного студента, не сумевшего уплатить за обучение. В буфете собралась сходка. Просили о немногом: зачислить обратно исключенных за неуплату взноса, дать возможность слушателям следить за раздачей стипендий, разрешить студентам пользоваться институтским музеем и библиотекой, «обезопасить от хватанья, тащенья и непущенья тех.., которые будут вести переговоры с начальством».

Министр господин Валуев ответил коротко — приказал: «...Гоните всех и запечатайте здание!» Двести с лишним человек исключили, полтораста

выслали на родину — с жандармами, по этапу. Выслали виноватых и невиновных, здоровых и больных. Ночью приходили за Володей Латкиным — благо, что он у матери ночевал. Исключенным предложили «изъявить покорность», подать прошения о зачислении в институт.

Гаршин писал: «У них сила, но они и подлостью не брезгуют... Это им нужно было только для того, чтобы выделить самых рьяных, которые, конечно, не подадут прошений».

По ночам, в темноте хватали молодых людей — только за то хватали, что пожелали они добра ближним своим. Сажали, словно воров, в пересыльные тюрьмы. Голодных, замерзших гнали по этапу. Выдав каждому по пятнадцать копеек серебром, бросали на произвол судьбы в незнакомых городах. Всеволод и вспоминать не хотел, как кричал против демонстраций, как убеждал друзей: «Не поможет». Товарищи в беде, люди страдают! Толку-то, что сам он оказался в «тихих»!.. Разве нужна ему судьба, отличная от иных судеб?

Гаршин писал: «В Горном институте оставаться мне теперь решительно невозможно... За все, что покажется Трепову и К° предосудительным, нас перехватают и уж не пошлют домой, а прямо засадят в шлиссельбургские, петропавловские и кронштадтские казематы». У Всеволода голова пылала. Подлость, ложь, насилие...

Хотелось бежать по улицам, барабанить кулаками в двери, трясти прохожих за ворот: «Да взгляните же, что творится!» Но двери оставались запертыми, а над крахмальными воротничками приделаны были благопристойные, невозмутимые головы, цедившие презрительно: «Сами виноваты». Даже мать, которая некогда, отказавшись от всего, сама помчалась за политическим ссыльным, теперь успокаивала сына пошло и неостроумно: молодежь, дескать, дурачье, — кипит, бурлит, а дело и яйца выеденного не стоит. Всеволод на стены лез от гнева: «Глупость молодежи бледнеет перед колоссальной глупостью и подлостью старцев, убеленных сединами, перед

буржуазною подлостью общества, которое говорит: «Что ж, сами виноваты!» Если бы нас стали вешать, то и тогда бы сказали: «Сами виноваты».

Гаршин писал: «Когда я говорю об этом, я не могу удержаться от злобных, судорожных рыданий».

Так началось высшее образование.

Жизнь стремилась потоком, подхватывала, несла. И надо было куда-то идти. И невозможно было остаться на месте — разве только зарывшись в ил или уцепившись за холодную склизкую корягу.

Он ходил на занятия, сдавал экзамены или не сдавал их, если мешала болезнь. Он изучал Дарвина, штудировал «Первобытную культуру» Тейлора. Он слушал лекции Герда в Соляном городке, с Латкиным обсуждал «Исторические письма» Лаврова, с Малышевым ходил на выставки (Миша стал уже настоящим художником), снимал комнату вместе с Васей Афанасьевым и был поверенным его немудреных юношеских тайн. Не изменяя опере, он зачастил в Александринку: молодая актриса Савина всех сводила с ума. Каждый рубль казался ему богатством. Он бегал по урокам, когда удавалось достать их; подчас давал уроки не за деньги — «за стол». Полторы недели довелось ему учить математике юного князя Кочубея. Почтенный слуга по мраморным лестницам отводил его в кабинет, где изысканный красавец мальчик лениво играл с собакой, дожидаясь репетитора. Хрусткие кочубеевские ассигнации были не стыдные деньги: Гаршин клал их в карман без укоров совести — не то что теплые монетки, которые суетливо отсчитывал ему в ладонь отец другого ученика, обремененный огромным семейством портовый служака.

События спешили, набегали одно на другое, радовали и огорчали, оставляли следы на душе. Это называлось обыденной жизнью.

Так жить было нельзя. Он не имел права разделить жизнь на семестры и жить для себя. Он хотел счастья другим. Теперь все другие объединились

в нечто огромное, сильное, нужное, то, что называлось *народ*.

Он приходил в аудиторию и вдруг замечал — стала просторней скамья. Кого-то, кто сидел с ним рядом вчера, вышвырнули из института. Он спрашивал: «За что?» — «За народное дело!» И пока Тейлор вел его в увлекательное путешествие по тысячелетней истории культуры, сверстники, звеня кандалами, шли по этапу, и редкие встречные снимали шапку, крестились и долго глядели вслед колонне, покачивали головами и говорили: «За народ страдают».

В Петербурге гастролировала мадам Жюдик — он четыре часа подряд до слез хохотал в «Буффе», забывался. Тем страшнее было возвращаться по темным мокрым улицам, думать, что в Париже не только мадам Жюдик, но и те, кого расстреливали у стены на кладбище Пер-Лашез, и маршал Мак-Магон, человек с темным прошлым и кровавым настоящим; что в хвастающей свободами Англии безжалостно расправляются со стачками; что по Пруссии гордо вышагивают солдаты железного канцлера с такими же острыми, как у канцлера, усами; что в России, в Европе и всюду народ притесняют, тащат, и не пущают, и на всякий случай держат еще за пазухой тяжелый камень войны.

Так жить было нельзя — душно, мрачно. Надо было куда-то идти, что-то делать. Гаршин прятал глаза, повторял: «Умные молчат и мучаются». Он говорил неправду. Сам он не мог молчать. Он писал...

«О РАНАМИ ПОКРЫТЫЙ БОГАТЫРЫ!»

Стопа чистой бумаги на столе. На верхнем листе ни строчки, ни буковки. Кажется, схвати сейчас перо — и стихи свободно потекут. Не надо! Не надо! Всеволод знал уже горькие минуты похмелья. Шутил: «стихи *ложатся* в огромном количестве на бумагу, а после вместе с бумагой *кладутся* в печь». Много ли из рожденных им творений он оставил в живых? Одно? Два? Да и кому бы понадобились

эти версты строк — стишки, наброски в прозе? Кому они помогут? Помирающему с голоду мужику? Интеллигентному юноше, который ищет пути и на каждом шагу ступает в грязь? Милой уездной барышне, для которой будущее замужество глубокая темная яма? Ученому человеку, тратящему знания и труд, чтобы набивать мошну неучу?

Не писать? Но если невозможно молчать? Если душа болит от жалости к людям? Если угнетение, несправедливость язвят сердце? Если все в тебе кричит? Кусать кулаки — и молчать? Смотреть, как другие страдают, как другие борются со страданием — и молчать? Нет, будь как будет!..

Нет, не дана мне власть над вами,
Вы, звуки милые поэзии святой;
Не должен я несмелыми руками
Касаться лиры золотой.

. . . .
Но если сердце злобой разгорится
И мстить захочет слабая рука —
Я не могу рассудку покориться..

19 февраля у Гаршина всегда было скверное настроение. День великого обмана. Он смотрел в окно — вместо каменных громад видел покосившиеся грязные избы, вместо господина на извозчике — сутулого мужика, плетущегося за плугом, видел рано постаревших, измученных баб, слышал крик голодных ребятишек. Это называли «свободой». Горячо говорил друзьям: «Конституции делаются, а не пишутся на бумаге!..» Повторял, усмехаясь зло: «Бумажное освобождение...»

...Честный земец мечтает трудиться с пользою для общества. Его начинания разбиваются о косность, словоблудие и корысть прочих деятелей — тем лишь бы выжать свои доходцы. Начатая повесть о земце лежала в столе. Продолжать ее не хотелось. Получалась она вялой, бескровной, и все, что говорилось в ней, было уже десятки раз говорено другими. Не хватало своих впечатлений.

...Вечером у Маркеловой опять вспоминали о Слепцовской коммуне. Уходя, Всеволод прихватил «Письма об Осташкове». Дома раскрыл, стал читать.

«...А знаете, что меня всего более поразило в наружности города?.. — Бедность... Но вы не знаете, какая это бедность. Это вовсе не та грязная нищенская, свинская бедность, которой большею частью отличаются наши уездные города, — бедность, наводящая на вас тоску и уныние и отзывающаяся черным хлебом и тараканами; это бедность какая-то особенная, подрумяненная бедность, похожая на нищего в новом жилете и напоминающая вам отлично вычищенный сапог с дырой...»

Грустно... Всеволод вдруг припомнил петровский праздник, на который их водили в гимназии. «Чистые» впереди, на скамьях, а народ сзади толпится: народу ничего не видно, да и его не видно за отутюженными мундирами и растопыренными юбками. Бумажная свобода... Ложь! Всеволод прочитал дальше:

«...Как будто вам подавали все трюфели да фазанов, а тут вдруг хрен!..»

Рассмеялся. Даже в страдании, будто ложка едкого хрена, заложена непримиримость, злость. Может, вот так и надо писать, как Слепцов, — в открытую, остро?

Ей-ей, Старобельск ничуть не лучше Осташкова и даст обильный материал. Вполне выйдет значительное полотно — какие-нибудь «Очерки Старобельской жизни». Или придумать эдакий всем знакомый и никому не ведомый уезд и рассказать без прикрас, что в нем творится: как богатеют одни и погибают в нищете другие, как всё — образование, религия, быт — пропитано насилием и обманом. Вытащить на свет божий старобельский «парламент» — земство: состоятельные бездельники болтают, играют в карты, грызутся, сводят счеты и воображают, что решают судьбы народные. С этого и начать!..

...Серебристый красавец конь резвится в лазоревом поле. Таков старобельский герб. На самом деле поля выжжены солнцем. Всходы погорели. Засуха.

За пять лет — с семьдесят первого по семьдесят пятый год — четыре неурожая. Голод. Кормить скот тоже нечем. На базаре угрюмые крестьяне продают понурых отощавших лошадей по пять, а то и по три рубля. Жеребенок стоит тридцать копеек. Хлеба нет. Голод. Тяжело в Старобельске.

Откормленный бездельник конь топчет сверкающее росистое поле. Государь император сытыми глазами равнодушно взирает с портрета на подданных. Несколько ниже маячит почтенная председательская плешь. Позвякивает колокольчик. Впереди широким фронтом «главный элемент» — благородное дворянство. Сюртуки тонкого сукна и парадные мундиры. Отдельная скамья занята массивными телами в коричневых и лиловых шелковых рясах, с наперсными крестами и даже со знаками ордена святой Анны. Позади — два десятка «свободных землепашцев». «Совершенная безнадежность понять мудреные слова, искусно ввернутые в доклады председателем управы, ясно выражалась на угрюмых седобородых лицах; сон клонил крестьянские головы и сгибал спины, не привыкшие к шестичасовому сидению на одном месте».

Все шло как подобает. Тихо, смирно. Под легкое посапывание гласных читались доклады: «О преобразовании народных училищ в Старобельском уезде», «О сметном исчислении для содержания городской больницы», «О краткосрочных педагогических курсах для учителей», «О приобретении медицинских инструментов и улучшении санитарной части в уезде» и др. и др. Читались и передавались в редакционные комиссии (числом семь), которые, в свою очередь, принимали необходимые меры для того, чтобы все осталось в прежнем положении. Звякает колокольчик. Растет гора бумаг на зеленом сукне. Негромкий монотонный голос докладчика способствует перевариванию съеденных в буфете перед заседанием балычков и бутербродов, дела сбрасываются в редакционные комиссии — земство работает.

Гаршин вертит головой, всматривается в неподвижные лица, заглядывает в сонные глаза.

Кто-то шепчет за спиной: «Как заседание кончится — сразу в клуб... Вчера, представьте, одиннадцать пулек составилось... А водочка в клубе, скажу я вам...»

Читаются сметы и раскладки на 1876 год:

— На содержание: судебных приставов — тысяча двести рублей, мировых судей — десять тысяч восемьсот, помещений для лиц, подвергаемых аресту, — девятьсот. На содержание местной городской больницы — семьсот сорок три рубля восемьдесят две копейки На каждое народное училище — по двадцать рублей, на учебные пособия для них — по десять.

Вносится предложение:

— Шестипроцентную прибыль от продажи игральных карт причислять к капиталу для содержания богадельни в городе Старобельске.

Передается в одну из семи редакционных комиссий.

Неподвижные лица. Сонные глаза. Шепот за спиной:

— В клубе водочка, скажу я вам...

— А у их превосходительства бубновый марьяж на руках...

— Скорей бы перерыв, надоело. Вы семужку в буфете брали?

Земство работает...

Что это за люди? Он знал многих из них в лицо. Теперь они кажутся ему сошедшими с полотен и книжных страниц.

...Помещик одевается перед зеркалом, собираясь на земское собрание. Объясняет супруге: «Там раскладки, там разные сметы — там вся наша... можно сказать, судьба... Нельзя же вверить разным трехдесятинникам свои тысячедесятинные владения...»

...Выбирают губернских гласных. Нужно одиннадцать. Избрано десять. И ни одного от крестьянства. Председатель спохватился:

— Считаю долгом предложить вам, милостивые государи, господа крестьяне, не угодно ли вам изъ-

явить желание баллотироваться в губернские гласные...

Избранный крестьянин оправдывается смущенно:

— Известно, ваше высокоблагородие... наше дело мужицкое... Мы промеж вас на смех только...

— Нет, ты не понимаешь, теперь слияние всех сословий... Нам приятно...

Это у Николая Успенского.

...Какой вопрос прежде всего занял умы сеятелей? Вопрос о снабжении друг друга фондами. Мне тысячу, тебе тысячу — вот первый вопль, первое движение...

Каким образом достать эти тысячи? Как устроить, чтоб бумажный дождь падал в изобилии и беспрепятственно? Ответ: сходить в карман своего ближнего...

Чем заявить миру о своем существовании? Чем ознаменовать свой въезд в дебри отечественной цивилизации? Ответ: пререканиями по делу о выеденном яйце...

Это у Щедрина.

...Они без конца жрут. Пьют водку, коньяк, ликеры. Поглощают рыбку, пирожки, маринады. Их неподвижные лица оживляются, загораются сонные глаза. Они жрут до заседания, в перерыве и после. Жрут в собрании, в клубе, в управе. Голодные мужики сидят прямо на земле у дверей управы. Огромная нужда. Никакой надежды. Ждут у дверей. В окно видно: лакей вытирает тарелки. Земство обедает...

Это у Мясоедова.

Это в книгах, на полотнах... Гаршин вертит головой, смотрит, запоминает. Как нужно было явиться сюда, все увидеть своими глазами *.

---

* Документы замечательно подтверждают реальную основу первого гаршинского очерка. Достаточно познакомиться с «Систематическим сборником постановлений Старобельского уездного земского собрания с 1865 по 1890 год» (Старобельск, 1894), «Журналами Старобельского уездного земского собрания» (Старобельск, 1876), «Сметами и раскладками уездных земских потребностей по Старобельскому уезду» (Харьков, 1876), чтобы увидеть, что на земских собраниях в Старобельске, которые посещал Гаршин, обсуждались те же вопросы, что и в Энском земстве.

Читается доклад «Об обеспечении народного продовольствия в Старобельском уезде по случаю неурожая хлебов и трав в 1875 году».

Всеволод застывает: вот оно, самое главное. Три голодных года подряд пережил уезд. Наконец в прошлом выдался хороший урожай. Цены на хлеб упали. Помещики и купцы ссыпали золотое зерно в закрома, на базар не везли — выжидали. И дождались. В семьдесят пятом году — новый неурожай, да еще какой! Богатые хозяева крошили в пальцах горячие комья сухой, бесплодной земли, шептали: «Слава богу!» Цены рванулись ввысь. Потянулись на базар груженные пузатыми мешками подводы. Крестьяне же не сумели выказать столь похвального благоразумия. Что собрали в минувшем году, спустили за бесценок, а в нынешнем ничего не собрали. По распоряжению управы волостные писаря составляли ведомости, содержащие сведения о количестве необходимого пособия для обеспечения продовольствия и обсеменения полей.

Председатель, сверкнув плешью, вскидывает голову, называет сумму:

— Четыреста двадцать шесть тысяч триста семьдесят один рубль тридцать две с половиной копейки.

Сперва Гаршин видит, как взметнулись кулаки и исказились лица. Потом слышит шум — передние ряды негодуют, клокочут, вопят. Прорываются отдельные слова:

— Пьяницы! Дармоеды! Лентяи!

Складываются в воздухе чугунные фразы, падают, бьют тяжело по голове:

— Что за голод! Пустяки, никакого голода нет! У меня пятьсот четвертей одной пшеницы!..

— Они водку пьют, а вы в набат — голод!..

— Что за голод, помилуйте! Враки, враки, враки!..

— Успокойтесь, господа, успокойтесь! — председатель звонит в колокольчик. — Ведь редакционная комиссия, куда мы передаем доклад, еще не сделала своего заключения.

Мерзко и постыдно. Гаршин пробирается к выходу. Шум стихает. Переходят к докладу об уничтожении

дробей в счетоводстве земской управы. Учреждается: в счетах отбрасывать вовсе 1/4 копейки, а 1/2 и 3/4 копейки исчислять за копейку.

— Тем более, — аргументирует председатель, — что многие правительственные учреждения уже решили сей вопрос в утвердительном смысле, а совпадение интересов земского самоуправления и государственных является истинной целью земской силы империи.

— Принять! Принять!

Взвиваются аплодисменты. Крестьяне сумрачно молчат. Гаршин хлопает дверью.

Вечером в клубе составилось четырнадцать пулек.

В то лето пришла любовь. Первая любовь — нежная, чистая и чуть прохладная, как белые цветы. Все было очень обычно. Приехал на каникулы домой студент из Петербурга и вдруг заметил, что соседская дочь, которую знал подростком и на которую внимания-то не обращал, стала милой девушкой. Вдруг оказалось, что необыкновенно приятно слушать по вечерам, как играет она на фортепьяно. И что у нее, конечно, драматический талант — в благотворительных спектаклях ну просто необходимо давать ей первые роли. И что очень интересно и нужно, тихо беседуя, вышивать вместе с нею по канве.

В начале октября Гаршин зашел к Александровым прощаться.

— До свидания, Раиса Всеволодовна. Не забывайте меня. И сами бегите отсюда. Бегите! Поезжайте в Харьков. Учитесь музыке. Когда вдохнете свежего воздуха, вы уже не вернетесь сюда, не перенесете удушливых миазмов, неизвестно по какой причине именуемых в нашем милом отечественном городе — жизнью.

— Напишите мне, Всеволод Михайлович, что-нибудь в альбом, на память.

Однажды Раиса спросила: «Правда ли, что ваш брат Виктор застрелился от несчастной любви?» Всеволод ответил тогда коротко: «Правда». Теперь он расскажет ей обо всем. Пусть знает эта девушка, что

в сердцах скромных людей рождаются великие чувства. Пусть знает, что нельзя любить — и не надеяться, жить — и не верить в будущее. Всеволод раскрыл альбом.

Да, Раечка, это была несчастная любовь:

«В его сердце лежал тяжелый и холодный камень, давивший это бедное сердце и заставлявший больного человека стонать от боли».

Он любил трудно, безысходно. Ради любви своей он покинул невесту, брата, мать. Но солнце не вставало ему навстречу. Он не верил. Вы, конечно, захотите узнать, Раечка, кого любил он. О, все обстоит не так просто, как представляется иным.

«Это был великий и несчастный народ, народ, среди которого он родился и вырос. И друзья его, люди, желавшие добра народу, надеялись спасти его от тьмы и рабства и вывести на путь свободы. Они звали к себе на помощь и своего друга, но он не верил их надеждам, он думал о вечном страдании, вечном рабстве, вечной тьме, в которой его народ осужден жить... И это был его камень; он давил его сердце, и сердце не выдержало, — он умер».

Так-то, Раечка. Прощайте, дорогой друг...

Как хорошо жить, когда пишется! Как радует каждый лист бумаги, густо покрытый строчками. Как легко писать, когда увидел, пережил, перечувствовал, вобрал в себя то, о чем пишешь, когда каждое слово можешь схватить рукой, а каждая фраза ясной до деталей картиной встает перед глазами.

«Подлинную историю Буржумского земского собрания» — очерк о том, как господа земцы отказали в помощи тысячам голодных крестьян, — Гаршин закончил в Петербурге в конце октября 1875 года. Редактор «Молвы», еженедельной политической, общественной и литературной газеты, А. А. Жемчужников решил опубликовать «Подлинную историю»; только сообщил, что принужден «по чисто внешним соображениям заменить выражение Буржумское земство выражением Энское земство». Гаршин утром бежал

за газетой. Замирая, разворачивал нежно шелестящие листы. Снова нет! Очерк мирно дремал в редакционном портфеле, ждал очереди.

Гаршин не мог ждать. Он писал. 19 февраля сложились стихи:

Пятнадцать лет тому назад Россия
Торжествовала, радости полна...

Люди жили надеждой. Показалось на мгновение, будто и впрямь взошла прекрасная заря над отечеством свободы просвещенной.

...И будущее виделось в сияньи
Свободы, правды, мира и труда...

День великого обмана. Свобода — бумажное освобождение. Правда — мучайся и молчи. Мир — пороховой запах в воздухе. Труд — все тот же изнуряющий труд за кусок хлеба.

А господа «деятели» и «сеятели» — те самые, что пятнадцать лет без устали болтают о свободе, равенстве и братстве, — уже раздували огонь, ковали новые цепи.

...О ранами покрытый богатырь!
Спеши, вставай, беда настанет скоро!
Она пришла! Бесстыдная толпа
Не дремлет; скоро вьются сети.
Опутано израненное тело,
И прежние мученья начались!..

Была ночь, когда Гаршин отложил перо. Встал. Подошел к окну, приоткрыл его. В комнату пополз сырой, знобящий февраль. Мгла за окном непроглядная. Но он все смотрел, смотрел в густую темноту, пока не продрог.

Потом подошел к столу, чужим после долгого молчания голосом прочитал вслух:

И прежние мученья начались!..

Схватил перо, быстро нацарапал на клочке бумаги:

«Да, а ты сидишь тут и киснешь! Пописываешь дрянные стишонки, наполненные фразами, а чтобы сам что-нибудь сделать — ни шагу».

Пока Гаршин постигал науки в аудиториях Горного института, на Балканах шла борьба.

В августе 1875 года поднялись против турецкого ига Босния и Герцеговина. Через несколько месяцев ярким пламенем вспыхнуло восстание в Болгарии.

Вскоре развернули знамена свободы Сербия и Черногория.

По всей России собирали пожертвования.

Жертвовали крестьяне. Несли великим трудом заработанные медяки. Несли на пользу неведомым братьям немудреное мужицкое богатство — холст, нитки, косы.

Жертвовали рабочие.

Женщины снимали с себя фартуки и платки, отдавали сборщикам.

Некий полицейский чин записал в своем донесении: «Эти самые жертвователи денег на славянское дело нуждаются в еще большей помощи, чем те славяне, которым они отдают последний свой трудовой грош».

Те, что не нуждались, не были столь щедрыми. В Ярославской губернии 80 процентов сборов составили пожертвования крестьян, 15 процентов — рабочих и только 5 процентов взносов сделали дворяне и купцы.

С начала сербо-турецкой войны на Балканы устремились русские добровольцы. Вербовочные комиссии захлестывал поток заявлений.

Отправился в Сербию «завоеватель» Туркестана генерал Черняев с офицерами-инструкторами. Потянулись следом богатые бездельники, хлыщи, искатели приключений и денег.

Позже Гаршин писал о таких с возмущением: «То слышишь... что тот кого-то ударил пьяный; доброволец, кончивший курс в университете! То слышишь... как некий юноша... в пику сербу, выпившему ½ ока вина, выкачал одним духом 2 ока (6 фунтов). Господи, кто туда не ехал!»

Но в ряды добровольцев становились и те, кого сердце звало на поля сражений — помочь славянам обрести долгожданную свободу.

Крестьяне всем «миром» снаряжали своих посланцев в Сербию.

В Чернигове толпы народа осаждали здание городской думы, требовали, чтобы записали всех добровольцами.

Представители интеллигенции, студенты добивались отправки на Балканы.

«Будь я молод — я сам бы туда поехал», — заявил создатель Инсарова пятидесятивосьмилетний Тургенев.

В сербской армии сражался художник Поленов.

Крамской страстно доказывал, что защищать порабощенные народы — дело чести и добра.

Поэт Полонский читал в клубе художников стихи, в которых требовал свободы балканским славянам. Стихотворение, как доносил агент Третьего отделения, «вызвало сильное одобрение, при этом многие громко выражали порицание правительству за бездействие».

Правительство осторожничало. Конечно, укрепить влияние на Балканах да еще и турок потеснить после недавней Крымской войны неплохо. Поэтому вслух высказывалось сочувствие братьям славянам. Но как оно обернется, это освобождение стран балканских? И вообще...

Третье отделение передало Александру II копии вскрытых жандармами писем. Автор одного из них оправдывал жестокое подавление турками славянских восстаний. Он писал: «Турки могут подавлять мятежи своих восставших подданных...» Русский царь начертал на полях: «Да».

Движение народа в помощь восставшим славянам настораживало. Оно не хотело умещаться ни в рамках официального курса, ни в рамках славянофильских лозунгов. Оно было как река, вышедшая из берегов.

Неспокойно в государстве Российском... Волна революции набирает высоту. Война — старое испытанное средство — должна помочь разрядить обстановку. Поможет ли?..

Автор одного частного письма не без оснований полагал: «Любовь к независимости очень прилипчива: человек, проливший кровь за чужую независимость, непременно подумает и о том, как и себе упрочить ту же независимость на родной почве...»

Жандармы конфисковали листовку с крамольной песней:

...В этой борьбе обновленье,
Други, я вижу и нам.
Срок наступает терпенью,
Срок наступает цепям.

...Гаршин бегал по присутственным местам, по влиятельным особам. Нужен был заграничный паспорт. Гаршин хотел ехать в Сербию.

После подавления болгарского восстания Гаршин писал из Харькова петербургскому приятелю: «За сообщение новостей из профессорского мира весьма благодарен, хотя, по правде сказать, электрофорная машина Теплова и соединение химического и физического обществ интересуют меня гораздо меньше, чем то, что турки перерезали 30 000 безоружных стариков, женщин и ребят. Плевать я хотел на все ваши общества, если они всякими научными теориями никогда не уменьшат вероятностей совершения подобных вещей».

Там же в Харькове, на каникулах, Гаршин пытался записаться добровольцем. Губернатор отказал ему: «Подождите, скоро своя война будет». Юноша был призывного возраста.

Осенью в Петербурге Гаршин продолжал хлопоты. Своей страстностью он увлек друзей. Уже и Афанасьев, и Латкин, и Малышев спешили вместе с ним из присутствия в присутствие, из дома в дом. Их можно было видеть то у чиновника Черкасова, то у художника Якоби, то у литератора Миллера. Сознавать, что приносишь пользу, быть там, где ты нужен, хоть кровью своею помочь борьбе славян за свободу стало непреодолимым его желанием. «Лучше смерть, чем жизнь позорна!» — восклицал он в те дни.

И горько добавлял в прозе: «А жизнь действительно позорная».

Пойти добровольцем — стало единственным помыслом Гаршина. Когда Малышеву выпала счастливая возможность, но он не захотел поехать один, Гаршин возмущался: «Один или не один, а имей я возможность уехать, уехал бы завтра же». Его звала на Балканы идея.

Он писал стихи. Он верил, что станет добровольцем, и в стихах уже прощался с друзьями:

Друзья, мы собрались перед разлукой...

Он утверждал: добровольчество — воистину дело доброй воли, дело убеждений каждого:

Мы не идем по прихоти владыки
Страдать и умирать;
Свободны наши боевые клики,
Могуча наша рать...

В целом стихи получились довольно воинственными, и юный поэт отнес их в редакцию газеты «Новое время».

«Мы не идем по прихоти владыки» — такие строки публиковать не позволялось. Владыка как раз хотел, чтобы страдать и умирать шли по его прихоти. «Свободные боевые клики» владыку не устраивали.

Стихи не напечатали.

Заграничный паспорт Гаршин не получил.

Владыка не любил свободного волеизъявления. Его раздражали и пугали манифестации, в которые выливались проводы добровольцев. Александр II недовольно указывал: «Все эти демонстрации считаю неуместными, и их следует сколько возможно не допускать дальше».

Гаршин не уехал на Балканы. Препятствия оказались непреодолимыми. Менялся тон писем:

«...Я, вероятно, добьюсь своего».

«...Уехать очень трудно».

«...Уехать нет возможности».

«...Уехать оказалось решительно невозможным».

«Подлинная история Энского земского собрания» была напечатана в «Молве» 11 апреля 1876 года. Это незабываемо — впервые увидеть свое творение на свежей газетной полосе. Жаль только, наборщик ошибся — поставил под очерком «Р. Л.» вместо «Р. А.» (Всеволод подписал очерк инициалами Раисы Александровой: «...Я украл у вас начальные буквы вашего имени для подписи. Быть может, они принесут мне счастье»). Но разве из-за этого стоит всерьез огорчаться? На-пе-ча-тан! Друзья хвалили: «Право, хорошо, Всеволод. Молодец! Лиха беда — начало!»

В редакции Гаршин получил за очерк 15 рублей 8 копеек, тут же выписал себе «Молву» на полгода, несколько номеров с «Подлинной историей» послал в Старобельск. С почты выбежал еще охваченный радостной тревогой. На набережной остановился, закурил, долго смотрел на измятую поверхность темной воды. Вдруг представил себе: старобельский «деятель» разворачивает «Молву» и...

— Щелкоперы! Лодыри! Дармоеды!

— Ах, ваше высокоблагородие, из-за такой-то ерунды...

— Однако намек обидный. Трудишься, так сказать, в поте лица...

— Да что с этих господ возьмешь! Отца родного продадут. А в клуб сегодня икорку завезли, доложу я вам...

Вот и все. А мужики «Молву» не читают...

...Гаршин любил живопись. Торопливо и тревожно шагал на вернисажи. Картины звали к раздумьям, звали взглянуть окрест себя. Рамы исчезали. Кусок жизни, запечатленный на полотне, оказывался лишь звеном, вкованным в длинную цепь настоящего, прошедшего, будущего, становился гаршинской жизнью.

Гаршин приходил в мастерские к знакомым художникам. Смотрел, как заполняется жизнью чистая поверхность холста. В голове рождались свои картины — дышащие правдой сюжеты, интересные композиции.

О, если бы природа дала ему дар выражать кистью то, чем он жил, что наполняло душу! Иногда Гаршин чувствовал себя обойденным судьбой. Тем жаднее вглядывался он в чужие полотна. Гармония идеи и мастерства несла радость. Неверный мазок заставлял страдать.

По пятницам собирались петербургские молодые художники. Однажды Миша Малышев затащил Всеволода на очередную «пятницу». Задыхаясь от волнения, Гаршин читал стихи о верещагинской выставке.

Стихи понравились. «Вы передвижник», — сказал кто-то Гаршину. Это было высшей похвалой. Его заставили читать снова. Долго спорили, разбирая каждую строчку. И вдруг чей-то резкий голос из угла:

— Все это хорошо. Только почему стихи, Гаршин?

Всеволод растерялся.

— Я спрашиваю, почему стихи?! — продолжал все тот же резкий голос. — Статьи вам надо писать, вот что! В вас критик пропадает. И преострый.

Все закричали, зашумели:

— И впрямь, Гаршин, пишите статьи!

— Нам критики позарез нужны!

— Особенно теперь, когда против передвижников сколотили пресловутое «Общество выставок»! — перекрывал шум человек из угла.

Тут же принялись дружно ругать «Общество»...

«Пятница» закончилась за полночь — уже в субботу. Прощаясь со Всеволодом на углу, Миша Малышев спросил:

— Ну как? Придешь еще?

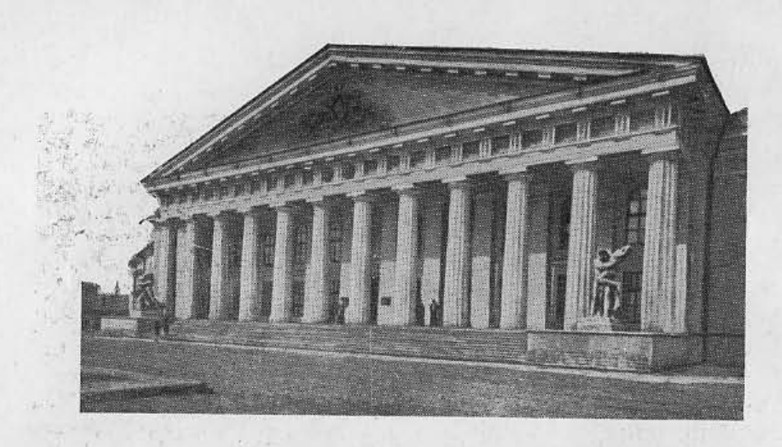
— Обязательно, обязательно!

— А что, Всеволод, — сказал вдруг Миша, — может, и вправду махнешь рукой на свои науки и пойдешь в критики? Художники тебе спасибо скажут...

Из института Гаршин не ушел. Но художественной критикой занялся всерьез.

Взялся за книги по искусству. Посещал мастерские художников. Впечатления о выставках заносил в блокнот. Завсегдатаи «пятниц» торопили: «Пиши!» Определили его рецензентом в газету «Новости». Тут уж — ничего не поделаешь! — пришлось писать.

Автобиография В. М. Гаршина. Последняя страница.



Здание Горного института.



Гаршин (справа, в военной тужурке) в кругу петербургских художников. В третьем ряду посредине — И. Е. Крачковский. *Фото. 1878 г.*

Меньше чем за месяц, одну за другой, он принес в редакцию три статьи. Напечатали. Это было весной семьдесят седьмого года. Перед самой войной.

Жил-был обыкновенный студент Всеволод Гаршин. Такой, как все. Долбил химию. Провалился по начертательной геометрии. Искал выгодных уроков. Ходил в театр на бенефисы. Любил милую девушку. Читал Лаврова и Дарвина. Писал стихи — не очень хорошие стихи. Страдал оттого, что вокруг насилие и подлость («Нельзя ручаться ни за что. Террор»). Собирался в Сербию — там люди бились за свободу.

У студента Гаршина была мечта, страсть — дело жизни. «Как вечному жиду голос какой-то говорит: «Иди, иди», так и мне что-то сует перо в руки и говорит: «Пиши и пиши...», «...Не писать не могу, да и что со мной будет без этого...», «Я должен идти по этой дороге во что бы то ни стало... Я чувствую в себе силы для известной деятельности и ей отдам свою жизнь».

Писать!.. Не стихи, которыми он топил печь. И не статьи о художественных выставках, которые печатались в «Новостях». И не очерки из уездной жизни, в которых он, хоть и говорил свое, да шел за другими...

Найти свою дорогу. Сказать людям большое, главное, пока и самому неведомое. То, от чего голова горит и болит сердце. Сказать так, чтобы слова прожигали души. Он чувствовал в груди своей угль, пылающий огнем. Но как научиться жечь глаголом сердца людские?!. Гаршин без охоты перечитывал то, что писал. Это похоже на сон — широко размахнулся, а ударить не можешь: рука движется вперед, словно в воде, — медленно и бессильно. Но он верил...

Когда пойму вполне ту тайну жизни,
Которой смутно чую бытие, —
Тогда возьму бесстрашною рукою
Перо и меч и изготовлюсь к бою.

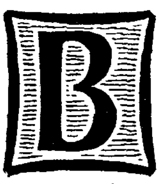


Война

«Это война... —
вот ее изображение».

В. Гаршин

РОССИЯ. 1877 ГОД. АПРЕЛЬ

есна семьдесят седьмого года принесла тревожное ожидание. Со дня на день ждали войну. Передовая газета «Неделя» от 3 апреля начиналась так: «Хотя в тот момент, когда мы пишем эти строки, еще не произнесено роковое слово, которым озаглавлена настоящая статья (а статья была озаглавлена ясно и решительно — «Война»), но теперь уже нельзя сомневаться, что оно будет произнесено не сегодня-завтра, и, может быть, к тому дню, когда выйдет следующий номер «Недели», оно не только будет произнесено, но раздастся и первый выстрел. Теперь уже нет и не может быть другого исхода».

Передовая следующего номера открывалась словами: «Против ожидания выстрел еще не раздался и даже война не объявлена; но она по-прежнему остается неизбежной и неотвратимой. Мир доживает последние свои минуты...»

Мир доживал последние минуты.

«Высочайше утверждались» разные «дополнительные постановления» и «временные правила» на случай войны. Уездные по воинской повинности присутствия публиковали списки тех, кому надлежало срочно приписаться к призывным участкам. В государственном бюджете на 1877 год военные расходы занимали первое место. Почтенные деятели разрабатывали проекты будущего займа для целой восточной

войны. Другие деятели составляли планы мобилизации крестьянских лошадей. Выпускников Медико-хирургической академии на сей раз не посылали на работу в гражданские ведомства — все молодые врачи были зачислены в запас армии.

Мир доживал последние минуты.

В Казани военно-полевой суд приговорил к смертной казни через расстреляние рядового Николаева за то, что он бросился со штыком наперевес на своего батальонного командира. Прокурор и защитник опротестовали этот приговор. Они указывали, что офицер бил Николаева кулаком по лицу, что солдат был невменяем, что по делу не велось даже предварительного следствия. Главный военный суд постановил протест прокурора и жалобу защитника оставить без последствий и приговор «привесть в действие». Судили уже по законам военного времени.

Государственный совет предусмотрительно обсуждал постановление о мерах призрения семейств воинских чинов, убитых на войне и умерших от ран. А в это время в воинские части, сосредоточенные в Кишиневском уезде, стекались из разных мест солдатские жены с детьми. Дома жить было не на что. Когда их мужей призвали из запаса, городские власти торжественно обещали позаботиться о семьях. За три месяца солдатским женам было выдано «единовременное пособие» — по одному рублю с копейками.

Мир доживал последние минуты.

Генералиссимус Абдул Керим-паша направился из Константинополя в свою Дунайскую армию. Закончилось перевооружение турецких солдат — им выдали английские и американские винтовки новейших образцов. В лондонской газете был напечатан огромный, на полстраницы, план расположения русских войск и линий турецкой обороны. Российский поверенный в делах ждал приказания покинуть столицу Османской империи.

29 марта в Петербурге на празднике лейб-гвардии конного полка царь провозгласил тост, в котором выразил надежду, что армия в боях поддержит честь страны. На рассвете 8 апреля царь в сопровождении

наследника выехал в Кишинев, где группировались войска. Следом потянулись военные чины. Против имен генералов и старших офицеров в книгах губернских гостиниц стояли пометки: «Проездом в Кишинев».

Студент Горного института Всеволод Гаршин готовился к экзаменам. Думать о науках было трудно. Не давали покоя тревожные газетные новости. Волнуясь, Гаршин писал матери в Харьков: «Не сегодня-завтра война...»

...С утра 12 апреля на улицах бурлила толпа.

Продавали бюллетени с царским манифестом. Александр Второй, призывая «благословение божие на доблестные свои войска», повелел им вступить в пределы Турции. Гудели колокола. Дворники вывешивали флаги. На улицах кричали «ура». Перешептывались. Органы в трактирах играли гимн.

В Московской думе встретили манифест шумными возгласами. Гласные думы, купцы и почетные граждане, постановили содержать в Москве за счет города тысячу кроватей для раненых и сверх того ассигновать миллион рублей на санитарные нужды армии. В столичной думе, Петербургской, публика была сдержаннее: здесь ограничились торжественным молебствием и телеграммами главнокомандующим Дунайской и Кавказской армиями.

В войсках читали приказ главнокомандующего: «Последнее слово царское сказано: война Турции объявлена...» Полки готовились выступать.

«Божиею милостью мы, Александр Второй, император и самодержец всероссийский...»

Черные, жирные строки манифеста прыгали перед глазами:

«...вынуждены... приступить к действиям более решительным...»

Всеволод Гаршин и его товарищ Василий Афанасьев склонились над листком с царским манифестом. Оттуда смотрело им в глаза короткое страшное слово: ВОЙНА!

И сразу забыты раскрытые конспекты по химии. Надвигавшийся экзамен вдруг показался далеким и

ненужным. Взглянули друг на друга, оба поняли — надо идти. И вот уже бросаются на бумагу острые решительные строки:

«Мамочка, я не могу прятаться за стенами заведения, когда мои сверстники лбы и груди подставляют под пули. Благословите меня...»

Через несколько дней пришла телеграмма от матери: «С богом, милый!»

«САМ ИДУ»

...Петербург провожал гвардию. По Невскому четко отбивала шаг пехота, гарцевали на красавцах конях кавалеристы, погромыхивали пушки. Гвардейцам дарили цветы. У многих офицеров и солдат зеленые гирлянды были переброшены через плечо. На штыках висели венки. Николаевский вокзал встретил полки накрытыми столами. Господа офицеры произносили тосты, закусывали. Солдат угощали водкой, раздавали им деньги, табак, чай, сахар, бёлье.

Петербург провожал гвардию.

...Если бы уехать сразу! Увы! Проволочки, бумаги, формальности...

Друзья между тем отговаривали его:

— Едва впечатлительный Гаршин увидит кровь изувеченных людей, он тотчас раскается, но поздно будет

— Гаршина не поймешь: отрицает войну, называет ее сплошным убийством, а сам то на Балканы собирается — это-де его долг бороться за свободу!— то, еще хуже, добровольцем в армию едет.

От знакомых отделаться было проще. На их вопросы Гаршин отвечал с усталой улыбкой:

— Да видите ли, тут экзамены подошли. Я, признаться, струсил — и вот еду.

Друзья надеялись: авось одумается!

Но Гаршин не одумался.

Гаршин не мог «одуматься». Разум Гаршина порой ошибался в оценке событий, совесть — никогда: она была чутка, как барометр.

Нельзя было громоздить гору черепов по прихоти завоевателя. Вместе с Верещагиным Гаршин говорил такой войне «Нет!».

Нельзя было не помогать народам сбросить чужеземное иго. Вместе с сотнями честных русских людей Гаршин собирался в Сербию.

Надвинулось испытание грозное и тяжелое — война. Можно ли было остаться в стороне, произносить речи, но бездействовать, сделать вид, что не замечаешь, словчить?

Как-то впоследствии Гаршин, раненый, еще не бросивший палки, сказал в обществе, что собирается обратно на войну. Молодой человек из тех, что любят у петербургских каминов ораторствовать о трудной мужицкой доле, спросил сочувственно:

— Что, гонят?

— Нет, сам иду.

— Зачем?

В глубине черных гаршинских глаз замелькало удивление.

— Как зачем? Там же русский мужик, о котором вы сейчас говорили, борется, страдает!..

— Ну, это пустяки! Коли вы против войны, безнравственно помогать одерживать победы. Да и что мужику...

Гаршин взволнованно заковылял, заметался по комнате. Всегда мягкий и тихий, вдруг не выдержал, сорвался в негодовании:

— Нет, позвольте... позвольте!.. Вы, стало быть, находите безнравственным, что я буду жить жизнью русского солдата, помогать ему в борьбе, где каждый человек полезен?.. Неужели более нравственно сидеть здесь сложа руки, когда солдат, мужик этот, воюет и умирает!.. Извините... Извините... Не могу я такого допустить!..

Это было самое главное. Так велели справедливость, совесть. Любить народ — значит быть с ним всегда.

Неизвестно, говорил ли об этом студент Гаршин своим друзьям, когда они убеждали его остаться в Петербурге. Но через два года уже писатель Все-

волод Гаршин заявил всей России, что считал своим долгом разделить с народом бедствия, принесенные войной. Он написал рассказ «Трус».

Трус или не трус — так определяет некая «пустая особа» колебания героя идти или не идти на войну.

Да, он имеет возможность не идти. Он ополченец, его мобилизуют в последнюю очередь. У него влиятельные знакомства в Петербурге. Его могут пристроить писарем на худой конец.

Да, он имеет право не идти. Он убежден, что война — зло. Он всем существом своим протестует против войны. В нем вызывает ужас эта бойня. Он не желает стрелять в людей.

Нет, он не может не идти.

Не может потому, что тысячи людей, как и он, не хотят воевать, а воюют. Ведь у них нет знакомых, которые пожалеют послать их на войну.

Не может потому, что совесть не позволит ему гулять по Петербургу живым, здоровым и счастливым, когда кто-то убит вместо него, изувечен вместо него, измучен вместо него.

Не может потому — и это то, самое главное, — что война есть общее горе, общее страдание, надо разделить его со всем народом, быть там под пулями рядом с простым солдатом и с ним умереть, если придется.

И герой — смирный, добродушный молодой человек, знавший до сих пор только свои книги, да ученье, да семью, да нескольких близких людей, — отправился на войну.

...Вольноопределяющийся из студентов Всеволод Гаршин скромно и тихо третьим классом ехал из Петербурга в Харьков — попрощаться с матерью. Оттуда путь лежал на Кишинев — в полк. Был он не экипирован — форму обещали выдать в части.

Где-то впереди жадно дышал паровоз. Мелькали версты. По-весеннему неспешно темнело.

«...Я не могу прятаться за стенами заведения, когда мои сверстники лбы и груди подставляют под пули».

Это письмо — крик гаршинской совести — пограничным рубежом разделило жизнь.

Остались незакрытыми конспекты по химии. Остались незавершенными по-юношески незрелые литературные планы. Осталась позади в общем-то весьма обыденная жизнь умного и милого рядового студента Гаршина, с шумными аудиториями, частными уроками, театрами раз в неделю, симпатичными дружескими беседами, и началась жизнь рядового солдата Гаршина — жизнь совсем иная, запомнившаяся навсегда, большая, глыбистая, наполненная событиями, думами, красками, звуками, запахами...

Вагон потряхивало на стыках. Мерцала свеча в фонаре. За окнами расстилалась Россия...

ПОХОД

Ночью с четырнадцатого на пятнадцатое июня 138-й пехотный Болховский полк расположился на привал неподалеку от Дуная.

Ветер с яростью бился о парусину палаток. Луна то выглядывала из-за разорванных черных туч, то пряталась снова. Откуда-то издали доносились глухие удары.

Рядовой пятой роты Федоров Степан проснулся, прислушался. Осторожно растолкал соседа.

— Проснись, Михайлыч. Пальба.

Вольноопределяющийся Всеволод Гаршин пробормотал спросонок:

— Может быть, гроза?

— Какая гроза! Бьет-то очень уж правильно. Одна за одной, одна за одной. Не иначе, наши Дунай переходят.

Гаршин встал, накинул на плечи шинель и вышел из палатки. Звуки канонады стали еще сильней. Они смешивались с мирным посапыванием и храпом спящих солдат — и это было страшно.

Гаршин закрыл глаза. Ему чудилась широкая черная река, выскакивающие из лодок люди со штыками наперевес, атака, крики, резня.

Он открыл глаза, посмотрел на спящий лагерь. «Кого-то не досчитаемся мы завтра?»

Война подошла вплотную.

Гаршин вспоминал...

На рассвете 6 мая полк выступал из Кишинева. Развевались знамена. Оркестр гремел весело и бодро. Из окон выглядывали полураздетые жители. Поход начался.

Поход... Серой рекой текли колонны по молдавским и румынским дорогам. Мерно покачивались ряды.

Раз, два, три... Раз, два, три... С непривычки болели ноги. Тяжелый ранец тянул назад. Ружье сползало с плеча, било по ноге прикладом.

В первый день прошли всего восемнадцать верст. Но Гаршин так устал, что на привале даже сесть не мог: стоял в полной амуниции, прислонясь ранцем к стене. Какой-то солдат пожалел вольноопределяющегося, взял у него котелок и пошел за обедом. Вернулся — вольноопределяющийся уже спал крепким сном.

Гаршин улыбнулся — кажется, это было давно-давно. Теперь он настоящий солдат.

Раз, два, три... Слева Вася Афанасьев — попали в один полк, в одну роту (ротой командует старший Васин брат Иван Назарович). Справа — Федоров Степан, белокурый весельчак, ротный запевала. А впереди — утром, днем и вечером — одна и та же серая спина, горбящаяся бурым телячьим ранцем.

Две недели лил дождь.

Вода текла с неба шумными неослабевающими струями. Вода была сверху, снизу, с боков. Все было насквозь пропитано водой.

Дорог не существовало. Была липкая глубокая грязь. Переползая через голенище, она текла в сапоги; жадно чавкая, засасывала колеса повозок и орудий. Солдаты впрягались в лямки рядом с лошадьми, надрывались, тащили груз вперед и вперед, пока не валились от изнеможения. Помогала русская солдатская выносливость, для которой нет невозможного. Помогала «Дубинушка».

Палаток тогда еще не было. На биваке ни согреться, ни посушиться как следует. Но не унывали. Разжигали костер. Кипятили чай (о, теперь Гаршин знал цену маленьким радостям — кружке крепкого чая, туго набитой трубке!). Кто-нибудь заводил песню. И все вокруг казалось уже не таким беспросветным, как затянутое тучами низкое серое небо.

Гаршин вспоминал...

10 мая ровно в девять утра Болховский полк перешел границу. Оркестр играл бодрые марши. Солдаты, чуть мешкая и оглядываясь, прыгали через неширокую канавку у пограничного кордона. Сколько за ней оставалось дорогого — Родина! И каждый думал с грустью: а доведется ли обратно этак?..

Потом потянулись чужие города.

Небольшой и скучный Леово, с приходом армии вдруг оживший, засуетившийся в гуле военных оркестров. Миловидный Фальчи с деревянными, украшенными резьбой домами. Утопающий в зелени Баниас. Красавец Бухарест.

Страшная жара сменила дожди. Солнце пекло головы, жгло спины. Пыль забивала глотку. Стертые ноги сочились кровью. Сквозь подошву сапога чувствовался раскаленный щебень шоссе. Вода, которая неделю назад была проклятием, стала теперь великим счастьем. Колодцы попадались редко. Дивизия, шедшая впереди, выпивала из них воду, как из стакана. Болховцам оставалась чаще грязь, чем вода. После толкотни и давки удавалось смочить губы в глинистой жиже. Появился новый враг — солнечный удар. За один день около ста человек из одного только гаршинского батальона упало на дороге без сознания. Шли по сорок восемь верст в сутки в суконных мундирах, с полной выкладкой, с шинелью через плечо.

Гаршин удивлялся: здоровье его оказалось куда крепче, чем он предполагал, чем пророчили знакомые.

В походе рождается дружба.

Завоевать солдатскую дружбу было нелегко. Вольноопределяющийся — это «барин». С погонами рядового, но все-таки «барин».

Гаршин сумел завоевать дружбу солдат только потому, что он ее не завоевывал.

Гаршин просто забыл о том, что он «барин». Он отказался от многих, даже маленьких, льгот. Как и остальные, он безропотно выполнял всю солдатскую службу, был ровен со всеми, весел, общителен. Гаршин не ныл, не сочинял фантастических историй о прелестях и удобствах домашней жизни. Он как-то просто и непринужденно растворился в серых рядах солдат.

За это уважают. Гаршина еще и любили.

Усталый после дневного перехода, он не торопился в офицерскую палатку — отдыхать или играть в карты. Он садился писать письма. Их было много — разных и все же одинаковых солдатских писем, очень много. Гаршин никому не отказывал. Каждый хотел написать домой — мало кто умел писать.

Гаршин часами беседовал с солдатами. Люди, у которых целые дни звенели в ушах лишь команды, окрики и брань, слушали увлекательные рассказы о многих неведомых им вещах.

Господа офицеры били солдат по лицу. Слабый по сложению Гаршин подбадривал отстающих в походе, а когда объявляли привал, бежал за водой или похлебкой для уставших, словно хотел отдать долг тому неведомому солдату, который в первый вечер осторожно взял у него котелок из онемевших пальцев.

Измученные солдаты на плечах, натруженных ремнями ружей, ранцев и сумок, тащили победу. Солдат не считали за людей. Людьми считали себя высокомерные и ограниченные поручики, картежники капитаны и пьяницы полковники.

Гаршин, негодуя от несправедливости, полагал иначе: «Солдаты вообще мне очень нравятся. Офицерство (не отдельные офицеры, а офицерство) — черт знает что такое! Мордобитие до сих пор процветает. Даже наш бригадный генерал бьет солдат

в лицо и ругается скверными словами. Вообще уважения к себе в солдатах эта публика не внушает никакого».

Солдаты любили Гаршина за то, что он был среди них как человек среди людей. Большой хороший человек. Они звали его сначала «барин» (как и прочих вольноопределяющихся), потом «чудной», «славный» барин, потом «Михайлыч». Это была любовь. Любовь не купленная, не завоеванная, а заслуженная. Такой можно гордиться.

Гаршин был бодр. Он жадно впитывал в себя неведомую прежде жизнь. Все для него было новым. Впечатления переполняли его, рождали мысли, образы. Пальцы просились к перу, перо к бумаге. Увы! Жесткий распорядок солдатской службы — длинные переходы и короткие привалы — не предусматривает времени для литературного творчества.

Гаршин жаждал творить. Сверх положенного снаряжения он таскал в ранце исписанные мелким почерком клочки бумаги. В голове его складывалась книга. О самом главном. О народе, который погнали воевать. Через три года он так и назвал ее: «Люди и война». Это звучит не только «люди на войне», но и «люди против войны».

В походе у Гаршина не было времени писать книгу. Он писал письма. Письма похожи на странички искреннего и живого, наспех написанного дневника. Но о том, что волновало больше всего, в письмах умалчивается. Причины умолчания откровенно объяснил сам Гаршин:

«Писать много нельзя. Что хотелось бы передать, то можно передать только лично».

«Впечатлений множество, но если бы я вздумал излагать их, то необходимо вдался бы в такие подробности, которые сделали бы доставку этого письма невозможною».

Мысли о войне оплодотворялись опытом участника. Правда о войне вышла из рам верещагинских картин и стала его, Гаршина, жизнью. Эта правда терла шею грубым воротником шинели, разъедала губы горькой дорожной пылью, металась перед глазами молодень-

ким солдатиком, раздавленным орудийным колесом, гудела в ушах частой канонадой.

...Канонада не умолкала до рассвета. Война подошла вплотную.

Гаршин кутался в шинель, думал, вспоминал.

...В эту зыбкую июньскую ночь передовые русские части форсировали Дунай.

Болховцы переправлялись на другой день. Сидели на пустынном песчаном острове — ждали баржи.

Правый берег — его еще называли «турецким» — казался неприступным.

Город Систово живописно прилепился к склону горы, вершину которой венчали руины средневекового замка.

Это был первый болгарский город, освобожденный от турецкого ига.

В душе Гаршина ликовал доброволец семьдесят шестого года.

Летописец Болховского полка отметил:

«Вот и Болгария, за свободу которой только что принесены были первые жертвы!»

АЯСЛАРСКОЕ ДЕЛО

Шли по Болгарии — истерзанной, разоренной. Шли по деревням, вырезанным, сожженным. Одна деревня называлась страшно и выразительно: Общая могила. Жителей ее истребили турки еще лет двадцать назад.

Видели болгар — ограбленных, израненных. Видели болгар, со слезами радости обнимавших русских пластунов. Видели гирлянды зелени, протянутые поперек переулков.

Проходили по дорогам среди бесконечных золотых нив. С болью смотрели, как осыпается спелая рожь,— и некому убрать ее. Сжимались в тоске мужицкие сердца.

Урожай не вязался с войной — он требовал мира.

Гаршин писал: «Какая страна, какая природа! Виноград, абрикосы, персики, миндаль, грецкий орех.

Всего много. Можно было бы здесь устроить рай земной; а что делается теперь!»

Кампания продолжалась.

Русская армия все чаще вступала в бои.

Болховский полк участвовал в деле у Есерджи. Бились в густых зарослях кустарника. Стреляли почти наугад. Руководить боем было невозможно. Солдаты действовали по своему усмотрению. Дрались хорошо и оттеснили неприятеля. Турецкий военачальник Азиз-паша был убит. Командир бригады генерал Тихменев признал: «Бой при Есерджи чисто солдатский... Не было предела их молодечеству, отваге и находчивости».

Гаршинская рота оказалась в резерве. Через несколько дней после Есерджийского дела ее назначили убирать с поля сражения убитых.

Ужасные, обезображенные солнцем трупы подействовали на Гаршина меньше, чем он ожидал. Они не испугали его. Он воспринял и запомнил эти полуразложившиеся тела как страшный символ войны.

Когда закончили невеселую работу и возвращались в лагерь, в кустах случайно обнаружили рядового второй стрелковой роты Василия Арсеньева. Раненный в обе ноги, он беспомощно пролежал здесь четверо суток рядом с убитым турком. Пил воду из снятой с трупа фляжки. Слышал голоса, но боялся крикнуть — не знал, свои или чужие.

Гаршина взволновал этот эпизод. Он превратился в ключ к тревожившей давно военной теме. Интересный случай оказался костяком, который постепенно обрастал мыслями о войне, впечатлениями от войны. Жаль, некогда было писать.

Кампания продолжалась.

Солдатам выдавали белье, которое рвалось на второй день.

Провиант доставляли с опозданием. Голодные солдаты молотили недозрелую пшеницу палками на

растянутых палатках, варили из нее и из кислых лесных яблок похлебку без соли.

В частях не хватало медикаментов. Гаршин умолял мать прислать ему сухого опиума для изготовления настойки. Он думал не о себе. «Если вы вышлете его нам, то спасете многих солдат от поноса, а может быть, и хуже, — писал он в отчаянии. — Мы с Васей уже почти истратили капли, купленные в Кишиневе, Бухаресте и Александрии. Каждый день солдаты просят, и скоро давать будет нечего».

Господа офицеры играли в карты и пили. Сжав зубы, Гаршин стоял в толпе «нижних чинов», наблюдавших, как три опившихся полковника и генерал отхватывают канкан под полковой оркестр.

По ночам на темном небе трепетало зарево. Турки жгли болгарские деревни.

Правда о войне оседала в думах, как золото при промывке.

Кампания продолжалась...

Аяслар — это деревушка около речки Кара-Лом. Речка отделяла русские войска от неприятеля. Турецкий берег был крутым и высоким.

И все же вечером 10 августа Софийский полк пошел в атаку.

Болховцы лежали в резерве. Они видели в темноте частые вспышки вражеских выстрелов.

Турки не жалели патронов, пули летели далеко. Союзники обеспечили турецкую армию хорошим новым оружием, вдоволь снабдили боеприпасами.

Неприятно было лежать и не шевелиться, когда вокруг посвистывали пули. Залетные, случайные, они все-таки несли с собой беду. Схватился за сердце и тут же повалился замертво какой-то солдат. Все притихли. В гости к болховцам заглянула смерть.

Софийцы продолжали наступать. По вспышкам выстрелов видно было, как все выше и выше поднималась по крутому склону берега турецкая цепь. Наконец она скрылась за гребнем горы.

На рассвете Болховский полк двинулся на смену

Софийскому. Подъем был труден. Все смешалось на поросшей кустарником крутизне — ряды, роты.

Гаршин оглянулся — ни Васи Афанасьева, ни Степана Федорова. Опираясь на ружье, полез выше.

У самой вершины горы остановились на небольшой площадке. Трещали сломанные пулями ветки растущих на гребне кустов. В воздухе кружились листья.

Быстро рассыпались в цепь. Последний рывок — и болховцы оказались лицом к лицу с противником.

Заговорила турецкая артиллерия. Гранаты рвались в цепях, выбрасывая вверх клубки белого дыма. Винтовки тараторили так часто, что звук выстрелов слился в сплошное жужжание.

Пятой, гаршинской, роте приходилось трудно. Падали убитые, раненые. Вольноопределяющийся Гаршин стрелял, прижимаясь щекой к темному, с длинной царапиной, прикладу.

Противник бросился в контратаку. Поредевшая цепь болховцев отступила. Гаршин вдруг обнаружил, что оказался один на неширокой «ничьей» полосе. Надо было отползти, но тут он услышал свое имя.

Степан Федоров — белокурый весельчак и ротный запевала — лежал перед Гаршиным на земле.

Степан Федоров — постоянный сосед по строю, никогда не унывающий человек с веселыми и ясными голубыми глазами — звал Гаршина.

Степан Федоров — хороший парень, который в деревне вырос, а в Питере не испортился, который своими песнями, советами да историями многим скрасил трудную солдатскую жизнь, — истекал кровью.

Гаршин забыл про пули. Он кинулся к Федорову, но один не смог поднять его. На мгновение все замерли. Потом из цепи болховцев выскочил кто-то помочь Гаршину. За первым—второй, третий. Цепь пришла в движение. Болховцы снова двинулись вперед.

Из-за кустов раздался выстрел.

Вольноопределяющийся Гаршин, раненный в ногу, упал неподалеку от мертвого рядового пятой роты Федорова Степана.

В списках «нижних чинов», после боя представленных к награде, против фамилии Гаршина было указано: «Примером личной храбрости увлек своих товарищей в атаку, во время чего и был ранен в ногу».

Аясларское дело было лишь небольшим эпизодом в русско-турецкой войне, войне Шипки и Плевны.

В газетах, заполненных сообщениями с театра военных действий, этому бою, в котором потери русских войск убитыми и ранеными составили триста пятьдесят человек, отведен всего один абзац:

«11-го утром неприятель снова атаковал позицию у Аяслара, но, будучи три раза блистательно отбит на всех пунктах Невским, Софийским и Болховским полками, отступил».

Аясларское дело было немалым событием в жизни Гаршина. Под Аясларом кончилась для него война. Здесь, в напряженной остроте боя, как никогда ясно, почувствовал он то самое главное, ради чего отправился на войну, прошел испытания, против которых восставал его разум, — в трудную, лихую минуту он был вместе с народом, со своим народом.

И недаром впоследствии беспредельно требовательный к себе Гаршин говорил, что 11 августа 1877 года, быть может, единственный день, когда он «вполне сознавал себя честным и порядочным человеком».

УТРО БУДУЩЕГО

«Гаршинское общество» собиралось ежедневно. Дом на Мало-Сумской улице в Харькове постоянно был заполнен людьми. Молодежь тянулась к Гаршину. Он был героем. Студенты-медики дежурили около него, промывали и перевязывали ему рану. Друзья и знакомые шли побеседовать с ним, послушать его рассказы о войне.

Гаршин рассказывал по вечерам. Заслышав громкие голоса и смех собравшейся молодежи, он не мог

усидеть в своей комнате. На руках, вытягивая вперед раненую ногу, Гаршин вползал в гостиную, подхватывал чью-нибудь шутку, шутил в ответ — и тотчас начиналось веселое «состязание в остроумии». Но постепенно стихало веселье, умолкали беспорядочные голоса — в дом приходила война.

Гаршин говорил об убитых, брошенных на полях сражений, о живых, которым приходилось терпеть бедствия и лишения, о горькой и нелегкой судьбе солдата русского, о сожженных деревнях и неубранном хлебе.

Гаршин не сыпал проклятия, не тряс кулаками над головой. Он говорил тихо. Но тем, кто слушал Гаршина, видел его печальную улыбку, становилось не по себе, становилось больно и стыдно оттого, что где-то, пусть за тысячи верст, творится такая несправедливость — война.

Когда Гаршин оставался один, он писал. Он не мог не писать. Гаршин много видел, а главное — умел видеть. Он умел думать и многое передумал о том, что видел. Все это было необходимо рассказать людям. Не «гаршинскому обществу» на Мало-Сумской — всем.

Не выходил из головы солдат Арсеньев. Случай, конечно, не обыкновенный — четыре дня пробыл беспомощный человек без воды и питья, бок о бок с трупом своего недавнего врага. И все же не сам по себе этот факт сделал Гаршин содержанием своего первого рассказа. Из факта вышел бы хороший очерк, «картинка войны». Но шло время — в походе, в госпитале, дома Гаршин не переставал думать над историей Арсеньева. Страшный и будничный военный эпизод вырос под его пером в большой, страстный разговор о войне, против войны.

Гаршин запечатал готовый рассказ в конверт. Он не колебался — куда? Сколько раз в мечтах вставала перед глазами простая, скромная, привлекавшая всю передовую Россию обложка — «Отечественные записки».

Гаршин боялся: рассказ плохой, не поместят.

Гаршин был убежден: рассказ надо послать именно в «Отечественные записки».

Все, что читал он в журнале, — статьи, обозрения, очерки Салтыкова-Щедрина и Глеба Успенского — все было близко его мыслям.

Отхлестанные Щедриным подхалимовы считали своим делом «возбуждать патриотический дух», но предоставляли другим «применять этот дух на практике». Ну как мог не возненавидеть их Гаршин, который решительно отказался «прятаться», когда сверстники лбы и груди подставляли под пули? И как мог Гаршин, в ногу с солдатами прошедший войну, не разделять всей душой наполненные любовью и болью щедринские слова:

«Мрет русский мужик, мужик, одевшийся в солдатскую форму, мрет поилец-кормилец русской земли!..

...Когда занавес остается бессменно поднятым, когда со сцены ни на мгновение не сходит единственное действующее лицо — смерть, можно ли мыслить, можно ли даже ощущать что-нибудь иное, кроме щемящей боли, пронизывающей все существо, убивающей мысль, сдавливающей в горле вопль, готовый вылететь из груди».

И разве не о том же были гаршинские «Четыре дня» — рассказ человека, который прошел войну вместе с народом, увидел ее глазами народа, почувствовал солдатской шкурой и на костыле вернулся домой, чтобы сказать войне «Нет!»?

Рассказ напечатали на редкость быстро. Он появился в октябрьской книжке «Отечественных записок». Номер едва вышел в свет, а Гаршин уже стал знаменитостью. Харьковчане атаковали местную фотографию, в которой снимался Гаршин. Предприимчивый владелец распродавал снимки человека в солдатской шинели, до сих пор мало кому известного.

Человек смотрел на мир умными, чуть грустными глазами.

Так свежим осенним утром семьдесят седьмого года раненый солдат пятой роты Болховского пехотного полка Гаршин проснулся писателем Всеволодом Гаршиным.

«ЧЕТЫРЕ ДНЯ»

Раненый очнулся. Перед его глазами несколько травинок, муравей, ползущий с одной из них вниз головой, какие-то кусочки сора от прошлогодней травы. Это весь его мир...

Раненый — вольноопределяющийся Иванов — подобно верещагинскому герою, забыт на поле боя. Он не может пошевелиться. Он бессилен. Он начинает думать: «Зачем все это надо: лишения, боль, бессмысленная смерть — война?» Рядом с героем на зажатой между кустами поляне — труп убитого им в суматохе боя турецкого солдата. И все вопросы сливаются в один — мучительнее, чем раны, — вопрос:

— Передо мною лежит убитый мною человек. За что я его убил?

Герой ищет ответа.

За что? Враг? Ну, какой же он враг — «этот несчастный феллах». Разве по своей воле отправился он воевать? «Прежде чем их посадили, как сельдей в бочку, на пароход и повезли в Константинополь, он и не слышал ни о России, ни о Болгарии. Ему велели идти, он и пошел. Если бы он не пошел, его стали бы бить палками, а то, быть может, какой-нибудь паша всадил бы в него пулю из револьвера». Нет, еще меньше, чем кто-нибудь другой, виноват в войне этот бедный египетский крестьянин — подневольный солдат турецкой армии, вооруженный английской винтовкой.

— Кто же тогда? — спрашивает герой. — Неужели он сам, студент, доброволец, вдохновленный освободительными идеями и понявший, как далеки от этих благородных целей цели тех, кто развязал войну? Нет, не он.

— ...Чем виноват я, хотя я и убил его? — восклицает раненый. — Чем я виноват?

И уж, конечно, не виноваты в войне русские солдаты — мужики, которые охотно остались бы дома, если бы им позволили.

Нет, не в серых солдатских рядах обеих армий надо искать виновных. Недаром раненый остается жив,

потому что пьет из фляги убитого им феллаха: «Ты спасаешь меня, моя жертва!»

Кто виноват? Гаршин не сумел ответить на этот вопрос. Но он поставил его. Он искал ответа, искал мучительно, с позиций совести и справедливости. Он сказал во весь голос, что война — зло, что она противоестественна и бесчеловечна. Он создал страшный, верещагинского звучания образ — скелет в мундире и, указав на него, произнес приговор: «Это война. Вот ее изображение».

И силу гаршинской правды почувствовал и высоко оценил русский читатель.

Что же, значит, зря студент Всеволод Гаршин надел солдатскую шинель, зря стирал до крови ноги в дальних переходах, промокал до нитки под проливным дождем, валился навзничь, обессилевший от жары? Значит, не надо было идти на войну?

Надо! «Ну, юродивый! Лезет, сам не зная чего!» — герой «Четырех дней» вспоминал, как презрительно шипели за его спиной те, кто громко произносил слова о геройстве, освобождении порабощенных братьев. Остаться с ними? Вкупе с подхалимовыми «возбуждать патриотический дух»? Нет, так не могли поступить ни Гаршин, ни его герои.

Быть с народом в тяжких испытаниях — это остается незыблемым.

«Гаршин показал моральный облик молодого русского человека, девиз которого: «Все для народа», — писал революционер Степняк-Кравчинский. А народ? Народ всегда с теми, кто по-настоящему с ним.

Маленький, на первый взгляд неприметный мазок в конце рассказа — радостный возглас ефрейтора, увидевшего раненого героя:

— Господи! Да никак он жив? Барин Иванов! Ребята! Вали сюда, наш барин жив!..

Искренняя, неподдельная радость. Быть может, такую же прочитал когда-то автор на лицах тех невe-

домых барабанщика и унтера, которые нашли на Аясларской высоте окровавленного «барина Михайлыча» и потащили его на перевязочный пункт, не зная, что несут в литературу большого писателя Гаршина.

ЧЕСТНОСТЬ, ЛЮБОВЬ И ВОЙНА

Сытно пообедав и пребывая в отличнейшем настроении, некий благородный господин закурил сигару и раскрыл свежий номер «Стрекозы». Добродушно похохатывая, он пробежал глазами несколько анекдотов о простофилях мещанах, наклоняя голову и так и этак, с интересом и некоторым сердечным замиранием посмотрел карикатуры, изобличавшие ветреность и кокетство милых дам, как вдруг взгляд его натолкнулся на странную подпись под мелко набранным отрывком: «L'homme qui pleure».

— «Человек, который плачет»? — ухмыльнулся господин. — Занятно, занятно... Юмористический журнал — и вдруг «который плачет»...

Он принялся читать, и через несколько минут улыбка на его лице сменилась недоумением, даже раздражением.

— Черт знает, что такое! — недовольно пробормотал господин. — Но ведь это не смешно... И к тому же какие-то намеки...

Да, это было не смешно. Это была грустная история о том, как юноша ушел воевать и возвратился на деревяшке. и о том, как любимая им девушка стала невестой другого. И все это называлось «Очень коротенький роман», а человеком, который плакал, рассказывая невеселую историю, был Гаршин.

Разбитая жизнь, несправедливость в любви выпали на долю героя. Добрый и честный юноша, он горячо полюбил девушку, которая, конечно, казалась ему «лучшею из всех Маш в мире». Но пришла война, и Маша сказала: «Честные люди делом подтверждают свои слова». И еще она добавила: «Когда вы вернетесь, я буду вашей женой».

Юноша был честен. Он отправился в поход. В первом бою он получил крест за храбрость. Во втором потерял ногу.

Юноша был честен. Он полагал, что все люди делом подтверждают свои слова. Он приковылял на деревяшке к Маше и застал ее с другим.

У героя «Четырех дней» тоже была девушка Маша. Герою «Четырех дней» тоже отняли ногу. Может быть, потом, дома, героя тоже ждали страдания, едва ли меньшие, чем те, какие уже пришлось ему испытать.

Люди, которые вопили о защите отечества и называли добровольца «юродивым», врывались со своей ложью и в любовь, чинили в ней несправедливость, разрушали чистое и светлое, мечты и надежды.

Недаром нахмурился листавший «Стрекозу» «благородный» читатель. К ним, к этим господам, обратился со своим рассказом Гаршин. «Владельцам акций и членам финансовых компаний» заявил он о том, что рядом с ними живут на свете люди «не их закона», люди, для которых существуют незапятнанные понятия любви, справедливости, честности.

Война калечит тело этих людей, ложь и эгоизм ранят душу, но они не теряют веры в то, что есть на свете добро и правда. Они убеждены, что человеческие чувства нельзя купить в ювелирном магазине. Они выстоят.

И не для того ли в «Стрекозе», развлекательном журнале, бесконечно далеком от всего, что волновало Гаршина, поместил он «Очень коротенький роман», чтобы преподнести поближе к адресату свой пусть не железный, но по-настоящему взволнованный, искренний, облитый горечью и злостью рассказ.

ГАРШИН БОРЕТСЯ

Гаршинские рассказы сразу встали в строй плечом к плечу с верещагинскими полотнами. Они встали в строй, чтобы воевать с войной. Их оружие — правда. Эта правда заставляет людей думать.

В 1889 году в Париже вышла книжка военных рассказов Гаршина, переведенных на французский язык. Она называлась «Война». Предисловие к книге написал Мопассан. Он не оценивал в статье достоинства и просчеты гаршинских военных рассказов. Предисловие Мопассана — это мысли о войне, страстное слово против войны, навеянное творчеством Гаршина. Автор «Мадемуазель Фифи» и «Безумной» стоял в одном строю с Гаршиным и Верещагиным. Он мечтал о том дне, когда народы станут судить правящих убийц, откажутся идти на убой, воспользуются своим оружием против тех, кто вооружил их для убийства.

Гаршин мог сказать о себе словами Мопассана: «Я вошел в литературу, как метеор». Он остался в ней навсегда. Шли годы, новые поколения по-новому читали Гаршина и так же, как те, кто некогда в осеннее утро семьдесят седьмого года впервые раскрыл десятый номер «Отечественных записок», сердцем разделяли гаршинское «Нет!» войне.

Но рядом жили другие. Те, у кого не было сердца. Они прятались за стенами департаментов и ведомств. Они тоже читали Гаршина. По-своему...

Перо зло царапало бумагу. С него стекали буковки — аккуратные, колючие. Перед господином Кочетовым, членом особого отдела Ученого комитета Министерства народного просвещения, лежала тонкая брошюра: «В. М. Гаршин. «Четыре дня на поле сражения». Статский советник писал отзыв.

Вскидывая злые глаза к потолку, Кочетов искал слова повнушительнее, построшнее. Надо было раздавить, уничтожить эту книжку.

«...Тенденциозны рассуждения г. вольноопределяющегося...», «...тяжкое впечатление... на юных воинов и их родителей...», «...странная развязность автора...»

— Сравню Гаршина с Верещагиным, — решил член комитета, именовавшегося Ученым.

«...Крайне странно называть описание разложения трупа «изображением войны». До такой (какое бы словечко покрамольнее?!) реальности не доходил и Верещагин в своих картинах...»

— Теперь выдернем несколько цитат поубедительнее, и можно давать вывод, да так, чтобы как прихлопнуть!

«Этот тенденциозный и вредный рассказ не должен иметь доступа не только в школы, но и в руки народа, и, по моему мнению, нельзя не пожелать изъятия его из обращения и уничтожения».

Министр народного просвещения Делянов, тот самый, что выпустил циркуляр, запрещавший принимать в гимназии «кухаркиных детей», ознакомившись с кочетовским отзывом, незамедлительно дал ход делу. В письме начальнику Главного управления по делам печати он запросил: «Не признаете ли вы, милостивый государь, за благо воспретить означенную брошюру?»

Начальник Главного управления признал сие за благо. Уже через неделю во все цензурные комитеты и ко всем отдельным цензорам полетел приказ — запретить перепечатку брошюры В. М. Гаршина под заглавием «Четыре дня на поле сражения».

Так за спиной писателя царские чиновники начали борьбу с его антивоенным творчеством. Главное, чего добивались, — не позволить народу познакомиться с гаршинскими рассказами о войне.

«Надо удивляться идее поместить такие ужасающие подробности в рассказе, предназначенном для народа».

«Брошюры «Аясларское дело» и «Трус»... никоим образом не могут быть допущены ни в школьные библиотеки, ни в народные читальни».

«Если же почему-либо не будет признано возможным препятствовать распространению сего издания, то Ученый комитет ходатайствует, чтобы брошюра «Трус» была по крайней мере включена в список книг, не дозволенных к обращению в библиотеках...»

«Что касается брошюры «Трус», то, по мнению особого отдела, на этот тенденциозный антипатриотический рассказ Гаршина должно быть обращено внимание министерства внутренних дел. Несколько лет тому назад... был издан другой рассказ того же автора «Четыре дня на поле сражения». Министерство народного просвещения сообщало тогда министерству внутренних дел свои опасения относительно впечатления, которое должно произвести чтение этой брошюры... и предлагало изъять ее из обращения. То же следует сказать и о рассказе «Трус», так как и он написан с целью сделать войну ненавистной для читателя».

Такие заключения долгие годы переползали из одного документа в другой.

Раздраженные, возмущенные, гневные циркуляры и резолюции царских министров, чиновников, цензоров, — но и в диких криках озлобления слышим мы одобрение тому, что написал Гаршин. Значит, написал правильно. Значит, слова били в цель.



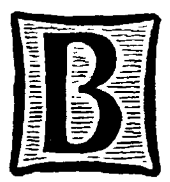


Жгучие факты

«...Все до последней черты пережито, перечувствовано им самым жгучим чувством».

Г. Успенский

ПЕТЕРБУРГ. 1877 ГОД. ДЕКАБРЬ



В литографии Кене работали день и ночь. Торопились. Хозяин обещал прибавку. Заказ был почетный. На глянцевой белой обложке императорская корона с исходящими из нее золотыми лучами и со сложенными накрест по бокам ее флагами. Под всем этим великолепием надпись в виде полукруга: «Императорский поезд 9 и 10 декабря». На среднем листе, изукрашенном виньетками, гирляндами, коронами и гербами, обозначены пункты, через которые ожидается следование государя императора: Старосельцы — Белосток — Вильно — Динабург — Остров — Псков — Луга — Гатчина — Петербург. Александр II после победы под Плевной возвращался в столицу.

...В тайной типографии тоже торопились. Печатали не цветастые флаги и не золотые вензеля. На шероховатую бумагу ложились накрепко сколоченные слова:

«Товарищи!

Долго ли еще будем терпеть мы всякие несправедливости?

Кровь убитых братьев наших из земли взывает к нам!

Стоны больных, ставших жертвою взрыва, и вопли несчастных семейств оглашают воздух; только заско-

рузлые сердца бесчувственных капиталистов могут не содрогаться при этих звуках!»

Северный союз рабочих готовился хоронить товарищей, погибших при взрыве на патронном заводе.

...1 декабря государь император пригласил к завтраку пленного турецкого главнокомандующего Османа-пашу и благородно возвратил ему саблю.

2 декабря под Плевной, на берегу реки Вит, государь император сделал прощальный смотр войскам.

5 декабря в одиннадцать вечера государь император изволил торжественно выехать из Бухареста в Петербург.

6 декабря шеф жандармов Мезенцев в беспокойстве докладывал царю:

«...Было обнаружено, что в Ростове-на-Дону среди рабочих... организуется тайное сообщество, преследующее революционные цели.

...Члены сообщества, собираясь на сходках, рассуждали о необходимости произвести государственный переворот в России и установить такой порядок государственного управления, при котором не было бы ни богатых, ни бедных».

Парады кончились. Началась Россия. Царь трясся в своем поезде. Читал доклады и донесения. Недовольно хмурился. Неудачный выпал год. Весной — «процесс 50-ти», на котором обвиняемые произносили такие речи, что не поймешь, кто кого судил. Осенью — «процесс пропагандистов», затянувшийся на долгие недели. Уже ясно: хорошего от него не жди. Революционная зараза проникла на заводы, на фабрики. И война не помогла. На Путиловском бунтовали, на Александровском — тоже, и на Глинковской мануфактуре, и на чугунолитейном заводе Берда... Царь шумно дышал от негодования.

...На другом конце Европы, в Лондоне, Фридрих Энгельс подводил итоги рабочего движения в 1877 году. Он писал: «Нельзя сказать, чтобы в России существовало рабочее движение, о котором стоило бы говорить. Однако внутренние и внешние условия, в которых находится Россия, чрезвычайно своеобразны и чреваты событиями величайшего значения для будущего не только русских рабочих, но и рабочих всей Европы» *.

...Станции были разукрашены с превеликой помпезностью. На каждой остановке государя императора ждали депутации. Подносили хлеб-соль. Сладко глядя в глаза, произносили речи. Это должно было означать триумфальное шествие победителя.

В Петербурге готовились к встрече. Оформляли фасады зданий. Ставили арки на улицах. В новом цирке Чинизелли испробовали парадное газовое освещение. Понравилось. Решили в честь приезда его величества устроить грандиозную иллюминацию из газовых рожков.

...9 декабря патронный завод не работал.

В десять часов утра больше тысячи рабочих отправились на Смоленское кладбище хоронить погибших. В толпе шли Степан Халтурин, Георгий Плеханов, Валериан Осинский.

Рабочие простились с товарищами, один сказал речь. Полицейские попытались вмешаться, но их отогнали.

...10 декабря в десять часов утра к устланной дорогими коврами платформе вокзала Варшавской дороги подкатил императорский поезд. Собравшиеся на перроне великие князья и княгини, министры, генералы и обер-офицеры — увитые и осыпанные золотом, улыбающиеся, выражающие восторг и преданность — окружили «государя-победителя», подвели к санкам. Пара сытых коней бодро понесла царя по пустой улице, с обеих сторон зажатой сплошными рядами войск. Флаги, ковры, красное сукно с горностаевой опушкой, несмотря на мороз цветы, бюсты государя с ангелом, парящим над венценосною головою и держащим лавровый венок. Гирлянды, арки, бесконечные надписи: «Карс. Плевна», «Плевна. Карс», «Боже, царя храни». С боков, из-за солдатских спин, крики «ура», летящие вверх шапки. Остановка у Казанского собора. Небольшая молитва и краткая речь митрополита

* *К. Маркс и Ф. Энгельс.* Сочинения. Издание второе, т. 19, стр. 143.

санкт-петербургского и новгородского Исидора. И, наконец, — Зимний. Распахнутая дверь. Вытянувшиеся гвардейцы. И над дворцом впервые после восьмимесячного отсутствия его величества вновь взвился императорский штандарт.

...В тот же день к посыпанной легким снежком и по случаю торжеств в городе несколько пустынной платформе Николаевского вокзала подполз обыкновенный, малопримечательный поезд. Вздохнул и остановился.

Из вагона, опираясь на палку, вышел молодой человек в узковатом черном пальто и небольшой барашковой шапочке — известный писатель Гаршин, автор «Четырех дней». Задрал голову, вгляделся в блеклое зимнее небо — Питер! Заторопился, захромал к выходу. Пробираясь в толпе, читал распятые поперек проспекта транспаранты: «Плевна. Карс». «Карс. Плевна». Плевна! Плевна! Плевна! Вспомнил про двенадцать тысяч убитых в третьем плевненском бою. Если положить их плечо к плечу, то составится дорога в восемь верст — чем не проспект для триумфального шествия! Красные сукна, развешанные на карнизах и балконах, казались кровавыми полосами.

Наконец доковылял до Офицерской. Вот и дом № 33. И года не прошло, как он последний раз вышел отсюда. Но тот далекий день навсегда отделила от нынешнего непроходимым рубежом война.

В комнате все по-прежнему. После их с Васей отъезда здесь поселился Володя Латкин. Он ушел куда-то — Всеволод не предупреждал о приезде. Гаршин, не раздеваясь, сел в кресло, вытянул раненую ногу. На столе лежали свежие газеты. Он развернул первую попавшуюся, стал читать. Плевна — Карс! Карс — Плевна! Победа! Победные реляции черной типографской краской замазывали кровавые пятна военных сводок. В пространной передовой какой-то торгаш, поплевывая на пальцы, цинично «подводил итоги»:

«...Что же, разве мы действительно много потеряли? По последним официальным данным всех выбывших из строя считается 70 000 человек, а если взять



Гаршин после возвращения с войны. 1877 г.

«Четыре дня». Первая публикация. *«Отечественные записки», № 10 за 1877 г.*

ЧЕТЫРЕ ДНЯ

(Одинъ изъ эпизодовъ войны).

Я помню, какъ мы бѣжали по лѣсу, какъ жужжали пули, какъ падали отрываемыя ими вѣтки, какъ мы продирались сквозь кусты боярышника. Выстрѣлы стали чаще. Сквозь опушку показалось что-то красное, мелькавшее тамъ и самъ. Сидоровъ, молоденькій солдатикъ первой роты («какъ онъ попалъ въ нашу цѣпь?» мелькнуло у меня въ головѣ), вдругъ присѣлъ къ землѣ и молча оглянулся на меня большими испуганными глазами. Изо рта у него текла струя крови. Да, я это хорошо помню. Я помню также, какъ уже почти на опушкѣ, въ густыхъ кустахъ, я увидѣлъ... его. Онъ былъ огромный, толстый турокъ, но я бѣжалъ прямо на него, хотя я слабъ и худъ. Что-то хлопнуло, что-то, какъ мнѣ показалось, огромное пролетѣло мимо; въ ушахъ зазвенѣло. «Это онъ въ меня выстрѣлилъ», подумалъ я. А онъ съ воплемъ ужаса прижался спиною къ густому кусту боярышника. Можно было обойти кустъ, но отъ страха онъ не помнилъ ничего и лѣзъ на колючія вѣтви. Однимъ ударомъ я вышибъ у него ружье, другимъ воткнулъ куда-то свой штыкъ. Что-то не то зарычало, не то застонало. Потомъ я побѣжалъ дальше. Наши кричали ура! падали, стрѣляли. Помню, и я сдѣлалъ нѣсколько выстрѣловъ, уже выйдя изъ лѣсу, на полянѣ. Вдругъ «ура» раздалось громче, и мы всѣ сразу двинулись впередъ. Т. е. не мы, а наши, потому что я остался. Мнѣ это показалось страннымъ. Еще страннѣе было то, что вдругъ все исчезло, всѣ крики и выстрѣлы смолкли. Я не слышалъ ничего, а видѣлъ только что-то синее — должно быть, это было небо. Потомъ и оно исчезло.

* ———

Я никогда не находился въ такомъ странномъ положеніи. Я лежу, кажется, на животѣ и вижу передъ собою только маленькій кусочекъ земли. Нѣсколько травинокъ, муравей, ползущій съ одной изъ нихъ внизъ головою, какіе-то кусочки сора отъ



В. В. Верещагин. «Панихида», *1877—1879 гг.*



среднее число сражающихся в 350 000, то выйдет 20%, или всего пятая часть армии...»

— Подлость! Подлость! — Гаршин вспомнил, как убирали трупы после есерджийского боя.

«...Следует помнить, что ежегодное естественное приращение России в благоприятные годы равняется миллиону душ обоего пола, а в неблагоприятные периоды, как теперь... Россия все же будет иметь половину процента естественного приращения, т. е. за 1877 год все же приобретет 250 000 лиц мужского пола. Следовательно, теряя на войне даже все 250 000 человек, мы не трогаем основной государственной силы — народонаселения...»

Гаршин скомкал газету, швырнул на пол. Позабыв про палку, вскочил, быстро сделал несколько шагов, пришел в себя от резкой боли в ноге, упал на кровать, расстегнул ворот. Потом поднял газету, расправил, стал читать дальше.

«...Нельзя не сознаться с другой стороны, что потеря 70 000 человек равняется расходу в 14 миллионов рублей, если считать в военное время стоимость вооруженного человека в 200 рублей...»

— Так вот, оказывается, твоя цена, убитый Федоров Степан, — две сотенных! Уж все-то он знает, образованный господин журналист... Его бы туда — под Аяслар, под Плевну — глядишь, и набавил бы...

«...В мирное время он стоит вдвое меньше...»

— А это, Степан, обо мне.

«...Что же такое эти четырнадцать миллионов, когда война истощает миллиарды? Следовательно, ввиду громадной задачи, принятой на себя Россиею, потеря не только 70 000, но и тройного числа не составляет для нее большого ущерба».

Так и сказано: «Не составляет для нее большого ущерба». Гаршин аккуратно сложил газету, встал, добрался до окна, присел на подоконник. Закурил. Весело, по-праздничному шли по улице люди. И каждого недавно могли убить — пулей, штыком, гранатой. «Без большого ущерба». Тысячу человек могли убить. Двадцать тысяч могли убить! Сто тысяч! И всех «без большого ущерба».

Стемнело. На небе вдруг вспыхнуло, засуетилось рыжее зарево — на Невском зажгли иллюминацию.

Володя пришел поздно вечером.

— Всеволод!

Обнялись крепко.

— Ты почему в темноте? И накурил столько!..

Володя зажег лампу.

— Да что с тобой?

Гаршин протянул ему газету:

— Видел?

— Видел. А ты что ж думаешь, все бросятся теперь писать «Четыре дня»? Нет, брат. «Санкт-Петербургские ведомости» остались «Санкт-Петербургскими ведомостями». Но зато и «Отечественные записки» — «Отечественными записками»!

Латкин взял с этажерки последний номер журнала, раскрыл на заложенной конвертом странице.

...С воскресенья почтой бредит
Православный наш народ,
По субботам в город едет,
Ходит, просит, узнает:
Кто убит, кто ранен летом,
Кто пропал, кого нашли?
По каким по лазаретам
Уцелевших развезли?..

Всеволод закрыл глаза ладонью.

...И бойка ж у нас дорога!
Так увечных возят много,
Что за нами на бугре,
Как проносятся вагоны,
Человеческие стоны
Ясно слышны на заре.

Володя остановился, взглянул на друга. У Гаршина по щекам из-под ладони ползли слезы.

— «Н. Н.», Некрасов.

Некрасов умирал. Он умирал долго, он страшно мучился, он ждал смерти: «Черный день! как нищий просит хлеба, смерти, смерти я прошу у неба...» Он много думал и много страдал в эти месяцы — страдал

оттого, что успел в жизни сделать куда меньше, чем хотел; оттого, что ошибался; оттого, что даже на пороге смерти не довелось ему увидеть свой народ свободным и образованным. И порой горькие сомненья вползали в измученное сердце: «Ничьего не прошу сожаленья, да и некому будет жалеть». А потом опять приходила чистая, ясная вера, и в самой последней из «Последних песен» он убежденно сказал своей Музе:

Меж мной и честными сердцами
Порваться долго ты не дашь
Живому, кровному союзу!

Сотни людей каждый день справлялись друг у друга о его здоровье, петербуржцы заходили в подъезд известного всей передовой России дома на Литейном, знакомый швейцар сокрушенно качал головой: «Плох, очень плох...»

Некрасов умер 27 декабря в восемь часов вечера. С утра двери в доме уже не закрывались — читатели прощались с поэтом. Пришел Достоевский. Долго, не отрываясь, смотрел в изможденное страданием некрасовское лицо. Воротясь домой, взял все три тома Некрасова и стал читать с первой страницы. Читал до шести утра — и тридцать лет будто прожил снова. Потом Достоевский писал, что в эту ночь «буквально в первый раз дал себе отчет: как много Некрасов, как поэт, во все эти тридцать лет, занимал места в моей жизни».

И во многих домах в эти морозные декабрьские вечера шелестели страницы некрасовских томов, и сотни разных голосов, молодых и старых, звонких и глухих, повторяли суровые и печальные строки поэта.

Некрасова хоронили 30 декабря. В ранних зимних сумерках Гаршин возвращался с кладбища. Шел медленно: болела натруженная за день рана. Грустно было, словно часть жизни своей похоронил. Вспомнилось детство — отец, деревня, зачитанные номера журналов, «Современник» с «Коробейниками», «Зеленым шумом», «Рыцарем на час». Стихи Некрасова Гаршин встречал с восторгом, иногда с неодобрением, соглашался с ними или спорил, но они были рядом. И Не-

красов был. Был, когда пятилетний Всеволод только учился читать, был, когда в редакцию «Отечественных записок» — в тот самый дом на Литейном — принесли рассказ г. Гаршина «Четыре дня». Теперь Некрасов ушел из времени. Высокий холодный лоб среди белых, съежившихся от мороза цветов. Гаршину казалось, он слышит еще сдержанное шарканье и потопывание тысяч ног, гулкие, как выстрелы, удары промерзших земляных комьев о крышку гроба, тихий голос Достоевского и возбужденные выкрики студентов. И какие-то женщины, одетые зачем-то простыми бабами, несли венки. Пошло это было: разве такой маскарад — от страдания?

Нога болела. Гаршин хромал, тяжело опирался на палку. В такт неровному шагу слагались стихи:

Прощай, прощай, прощай, не будет песен больше,
Певец умолк навек...

Нет, он не будет лгать, рядиться в разные одежды, чтобы показать себя ближе к поэту. Он скажет правду, ту правду, которая живет в нем.

Да, могучий дар, гениальный поэт — и человек, которому ничто человеческое не чуждо. Певец, одно имя которого возбуждало святейшие порывы, — и суета ненужных увлечений, смятенные промахи.

Плачь, русская земля, не человека — силы
Лишилась ты навек,
Плачь, потому что гений сшел в могилу,
Хоть умер — человек.

Неуклюжие, плохие стихи — и все же не мешало бы записать их. И вообще пора к столу. Нужно закончить рассказ: времени осталось мало, а с ним придется повозиться!

Гаршин заторопился. Его обогнала черная большая карета с решетками на окнах. Кто в ней?.. Быть может, легендарный Мышкин, едва не укравший из острога самого Чернышевского?.. Или харьковчанин Митрофан Муравский, бывший каторжник, давний друг Петра Васильевича Завадского?.. Может быть... Все еще тянулся процесс по делу о революционной

пропаганде в империи, «процесс 193-х» — «Большой процесс». Большой по числу обвиняемых, по лживости обвинений, подлости судей. Копыта стучали мягко, карета растворилась в полутьме; только на заснеженной мостовой остался блестящий, отливающий металлом след.

Озябшая уличная женщина, стоявшая на углу, проводила Гаршина усталым, печальным взглядом.

Гаршин торопился. Надо было работать.

ОБЫКНОВЕННЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

...Это пришло в голову еще там, на войне. Гаршин наблюдал, как армия вступала в города. Артиллеристы искали место для орудий. Кавалеристы расседлывали коней. Скидывали тяжелые ранцы пехотинцы. И тогда, следом за войском, вместе с обозом в город привозили проституток. Тысячи солдат жадно бросались к женщинам, не думая, что истязают их, не заботясь об их судьбе. Снова труба играла сбор — вытягивались на шоссе орудия, седлали лихих коней кавалеристы, пехотинцы вскидывали тяжелые ранцы на плечи, а позади колонн, где-то в обозе, ловкие хозяева усаживали в фуры еле державшийся на ногах «живой товар»... У каждого свой пост!..

Гаршин отложил книгу.

Вот ведь она какая, Сонечка-то Мармеладова! Святая. В жертву себя принесла.

Ну, а не захоти Соня жертвовать — куда бы она делась? Кем стала? Все равно с голоду, с холоду, чтобы малышей прокормить, пришла бы на панель. Разве по своей воле избирают девушки такой путь? Не приносят себя в жертву — становятся жертвами. Не к спокойствию, не к счастью идут они через унижения, грязь, через страдание свое, а к ненависти..

Другая у него, у Гаршина, героиня — не то что у Достоевского.

В отчаянье кричит гаршинская Надежда Николаевна:

— Должна ли я думать, что есть хорошие люди, когда из десятков, которых я знаю, нет ни одного, которого я могла бы не ненавидеть?..

Ненавидеть!.. Не хочет она прощать тех, кто ее в грязь затоптал, сделал жертвой.

Два года жила, как все «девицы», старалась ни о чем не думать, днем спала, вечером пила, безобразничала в Эльдорадо и Пале-де-Кристаль, искала «гостей» — и «все время если и не было весело, так хоть не думалось о том, что невесело». Вдруг незначительное происшествие: полюбил Надежду Николаевну бедный чиновник Иван Иванович (она смеялась: «опора»), но словно перевернулось в ней что-то. И стала Надежда Николаевна думать и осталась наедине со своими мыслями, как вольноопределяющийся Иванов в кустарнике под Есерджи. Много она думала, страдала, ненавидела, презирала и всех остальных и себя; но знала — не виновата. И вместе с Надеждой Николаевной думал, страдал, ненавидел Гаршин. Он тоже любил Надежду Николаевну. Настоящей, большой любовью. Знал: не виновата. И не имел права пожалеть страдалицу. И не хотел в грязи ее подвиг увидеть. Он обязан помочь ей во всем разобраться, обязан сказать: кто виноват?

Гаршин писал «Происшествие».

В «Очерках русской жизни» Н. В. Шелгунов рассказал об одном происшествии, приключившемся в Одессе. В город приехала бедная девушка — здесь обещали ей несколько частных уроков. На вокзале взяла извозчика, тот оказался негодяем — вместо гостиницы отвез ее в притон. Какие-то люди изнасиловали девушку и вышвырнули на улицу. В изорванном платье, почти безумная, бродила она всю ночь по незнакомому городу в поисках пристанища. И никто не вступился за нее. Не вступился, когда, почуяв недоброе, девушка пыталась выбраться из коляски, а извозчик держал ее. Не вступился, когда она кричала, отбиваясь от насильников. Не вступился, когда она умоляла встречных помочь ей. Не вступился, когда потом, в больнице, она металась, рыдая от боли, от обиды, от ослепляющего сознания навсегда искалеченной жизни. Городские власти не искали преступников. Деятели разводили руками: «Факт, конечно, прискорбный... увы! Никто не гарантирован... к тому же не вполне ясны обстоятельства... быть может, есть и ее вина... Разобраться, разобраться надо...» Падкая до пикантных новостей пресса выставила позор девушки напоказ и перешла к очередным сенсациям. И никто не предложил ей частных уроков. Никто не взял в гувернантки. И стенографисткой никто не взял. В «чистом обществе» ей отказали от места. А девушка металась в больнице для бедных на грязной простыне...

Сообщая об этом происшествии, Шелгунов припомнил случай из жизни Гаршина. Ночью на Невском писатель увидел, как по распоряжению агента два дворника волокли в участок девушку, заподозренную в проституции. Девушка твердила, что невиновна, упиралась. Ее тащили грубо, бесцеремонно. Гаршин бросился на помощь обиженной. Собралась толпа. В участке Гаршин заявил жалобу на жестокое обращение агентов полиции с заподозренной. Его привлекли к ответственности за нарушение общественной тишины и порядка. Во время судебного разбирательства Гаршин не обличал ни агентов, ни дворников, ни полицейского чиновника. Корень зла не в исполнителях, сказал он, а в условиях жизни, которые сделали возможными такие происшествия.

Вот каким был Гаршин, говорит Шелгунов. В каждом факте видел он выражение «среды», этот факт породившей. Он не проливал потоков красноречия во имя осуждения городовых и дворников. Он не требовал гуманности там, где ее не могло быть. Умный, честный свидетель, он вел свое свидетельство до установления общих причин. Но оттого, что Гаршин искал большое общее за частными фактами, он не проходил мимо них равнодушно, не закрывал утомленно и грустно глаза: «все равно-де ничего не поделаешь...» Нет! Он понимал, что ничего не изменит, — и вмешивался. Понимал, что ничем не поможет, — и вступался. Почему? Да потому, что не мог, не умел, не в силах был проходить равнодушно мимо несправедливости, мимо насилия.

Вот каким был Гаршин, говорит Шелгунов. «Это человек не только чувствующий, но и понимающий, не только понимающий, но и поступающий, — это ум и характер, соединенные вместе, а потому и производящие впечатление цельности».

Никогда не узнать, что сказал Гаршин об «условиях жизни», защищая девушку с Невского. Зато всем известно, кого обвинил Гаршин в страданиях Надежды Николаевны.

Гаршин писал «Происшествие». Скупо — пятнадцать страничек небольшого формата. Долго — почти три месяца. Сдержанно — чтобы не растечься жалостью к героине, чтобы сказать самое главное.

Сотни несчастных девушек выходят каждый вечер на улицу, модными башмачками затаптывают в грязь стремления и мечты. Все глубже и глубже. До конца. Так, что со временем ничего сквозь слой грязи не проблеснет.

Живет на свете Надежда Николаевна. Обманул ее когда-то вполне светский фат, и «чистое общество» не простило ей, что послушалась сердца своего, — вытолкнуло на улицу. Как положено, сменила она на уличное имя — «Евгения» — свое мирское имя (будто в монахини постриглась) и убеждена была, что — навсегда. Не эпизод, не срыв, не подвиг — место в жизни. Есть такая должность — проститутка. Вот она и стала проституткой.

Есть такая должность. И все знают об этом. И считают, что так надо. Что проститутки тоже необходимы.

«Да, и у меня свой пост! И я тоже нужна, необходима, — с горькой иронией рассуждает Надежда Николаевна. — Недавно приходил ко мне один юноша, очень разговорчивый, и целую страницу прочитал мне наизусть из какой-то книги. «Это наш философ, наш русский философ», — говорил он. Философ говорил что-то очень туманное и для меня лестное; вроде того, что мы — «клапаны для общественных страстей...». И слова гадкие, и философ, должно быть, скверный,

а хуже всего был этот мальчишка, повторявший эти «клапаны»...»

А потом «девицу Евгению» притащили к мировому судье, который оштрафовал ее за неприличное поведение в общественном месте. И, глядя на судью, читающего решение, и на вставшую со своих мест публику, она вдруг подумала: «За что вся эта публика так презрительно смотрит на меня? Пусть я исполняю грязное, отвратительное дело, занимаю самую презренную должность; но ведь это — должность! Этот судья тоже занимает должность». Так был поставлен знак равенства между проституткой и мировым судьей — двумя «законными» должностями.

Да, и у «девицы Евгении» свой пост. И закон следит, чтобы она не покинула его раньше времени. Однажды ранней весною спустилась Надежда Николаевна к Неве. Долго стояла над черной прорубью. Вспомнила другую весну, когда она, счастливая девочка, навстречу которой бросался мир, увидела, как «степь зазеленела», как «быстро, в несколько дней, точно из-под земли, совсем готовые, выскочили, выросли кустики пионов», услышала, как «жаворонки начали петь»... Смотрела на мокрый край проруби, думала — просвечивает ли туда, под лед, дневной свет?

Вдруг окрик:

— Сударыня, пожалуйте на панель!

Городовой подошел ближе, пригляделся:

— Убирайся вон отсюда, дрянь ты этакая...

«Сударыня, пожалуйте на панель!» Судья идет в суд. Чиновник — в присутствие. «Девица Евгения» — на панель. У каждого своя должность.

...Надежда Николаевна знала: это — навсегда. Может, и вырвалась бы, да некуда вырваться! Один чудак карикатурист нарисовал в «Стрекозе» картинку: посредине страницы хорошенькая девочка с куклой и два ряда фигур. Вверх от девочки — гимназистка, молодая девушка, мать семейства и, наконец, почтенная старушка. А вниз — девчонка с коробком из магазина, проститутка, грязная баба, что улицу метлой метет, и отвратительная старуха. Неправда! Наверху, в «чи-

стом обществе», лжи и грязи больше, чем внизу. Разве не из-за этого была пострижена в Евгению Надежда Николаевна? Разве не из «чистого общества» приходят к ней «покупатели» — «и мужья от молодых жен, и дети... из «хороших семейств», и старики, лысые, паралычные, отжившие»? И разве не оттуда, «сверху», спустился к ней за «любовью» благовоспитанный жених-немчик с именем невесты, вытравленным на руке, стихами Гейне в голове и бутылкой портвейна под мышкой? Вот почему нет исхода. Вот почему Надежда Николаевна говорит твердо: «Если бы мне предложили сегодня же вернуться туда, в изящную обстановку, к людям с изящными проборами, шиньонами и фразами, я не вернулась бы, а осталась бы умирать на своем посту».

Мудрено ли, что когда пришел к Надежде Николаевне Иван Иванович со своей любовью, она крикнула запальчиво:

— Вы вздумали спасать меня? Подите от меня, мне ничего не нужно!..

А сама подумала:

«Выйти за него замуж?.. И разве же это не будет такою же продажею? Господи, да нет, это еще хуже!..

...Теперь я по крайней мере откровенна. . А тогда!.. Разве не будет тот же разврат, только не откровенный?..»

Все определено. Все расставлены по местам. Не Ивану Ивановичу колебать устои. И он протестовал как умел — застрелился. Многие так протестовали. .

Гаршин бросил перо. Ну и что же дальше? Куда деваться Надежде Николаевне? Что делать?.. И что может он, писатель Гаршин? Поставить точку?.. Так и не найдя выхода? Проклятые вопросы. При встрече с ними разящий штык разлетается на куски.

...Несправедливость царит вокруг. Неподалеку от гаршинской квартиры, в доме № 5 по Английскому проспекту, изо дня в день жестоко убивают человека. У всех на глазах. Люди видят — и молчат. Поговаривают, но не вмешиваются. Бедная девушка Екатерина живет в прислугах у домовладельца, отставного полковника Дементьева. Одетая в лохмотья, забитая, запуганная, она даже на улицу никогда не выходит — не пускают хозяева. Жалованья, по словам Дементьева, Екатерине не полагается, кормят ее скудно, работать заставляют так, что долго не выдержит. Запрут, к примеру, в холодном коридоре, где даже вода замерзает, и приказывают стирать. Но это не самое страшное. Самое страшное по ночам, в хозяйских покоях. Отставной полковник (не из тех ли, что плясали канкан в сожженных деревнях!) и его одряхлевшая супруга подвергают девушку мучительным истязаниям. Живущие по соседству слышат крики, осуждают потихоньку. Кому охота вступать в тяжбу с домовладельцем! Начинать дело, ходить по инстанциям, доказывать. Правды не добьешься, а с квартиры съедешь. Жалко девчонку, конечно, по всему видно — не сегодня-завтра руки на себя наложит; да что поделаешь...

Слухи ползли по кварталу. Гаршин нервничал. Молчать — значит потакать убийству. А убийство подлое, еще хуже, чем на войне. Гаршин не выдержал, быстро, не дописывая слова, набросал черновик прошения. Перечитал. Сжал виски ладонями. *Кому* прошение? *От кого* требовать справедливости? *Кто* это «ваше высокопревосходительство», который вступится за несчастную, защитит?..

Петербургский градоначальник Трепов приказал выпороть розгами «политического» Боголюбова. Остальных заключенных, возмутившихся произволом, избивали в камерах до потери сознания.

Кому же адресовать прошение? Трепову?..

Скверно устроен мир. Сильный топчет слабого. Негодяй оскорбляет беззащитного. Закон молчит перед произволом. И проститутка имеет право осуждать судью. Так что же может он, писатель Гаршин? Каждой фразой кричать о несправедливости? Страдать за всех, о ком пишет. Чувствовать, что каждая буква стоит капли крови. И не сказать, что дальше. И не знать: кому же адресовать прошение?

Откуда-то из провинции приехала в Петербург бледная, сероглазая девушка, явилась к Трепову; одной рукой подала градоначальнику прошение, дру-

гой выхватила из кармана револьвер и выстрелила. По рукам ходили фотографические карточки Засулич. Она стала героиней.

Но несправедливость осталась. В мире, в России, в Петербурге, на Английском проспекте. Слишком много треповых. В каждом доме свой Трепов — Дементьев. А против них — горстка людей. Одиночки. Нет, не спасти Вере Засулич прислугу Екатерину...

Гаршин написал «Происшествие». Все осталось по-прежнему. Ушла в темную улицу на свой пост Надежда Николаевна. Не было у нее другого пути. Ушел из жизни Иван Иванович Никитин. Жить в таком мире не мог, другого выхода не знал.

Гаршин мечтал об «Отечественных записках». Не был уверен, подойдет ли «Происшествие» для журнала. Писал, нарочито преувеличивая: «Думаю, что «О. З.» не поместят ее («вещицу». — *В. П.)*. Им ведь все надо «умного», чтобы читатель всегда помнил, что мужик страдает, а он, читатель, — подлец. Все это хорошо, но ведь есть и другие темы...

Отрывок мой до войны, до социальных, политических и иных вопросов вовсе не коснется. Просто мученья двух изломанных душ».

В первых числах марта 1878 года Гаршин отправил рассказ Салтыкову-Щедрину. Волновался ужасно: ждал приговора.

В том же месяце «Происшествие» было напечатано в «Отечественных записках». За небольшим эпизодом о «мученьях двух изломанных душ» Щедрин увидел мир, который изломал эти души. Скверно устроенный мир.

Когда Гаршин умер, издали два литературно-художественных сборника в его память. Для одного из них Чехов написал рассказ «Припадок». «...Таких людей, как покойный Гаршин, — объяснил он, — я люблю всей душой и считаю своим долгом публично расписываться в симпатии к ним». «Припадок», по сло-

вам самого Чехова, это рассказ о том, как «молодой человек гаршинской закваски, недюжинный, честный и глубоко чуткий, попадает первый раз в жизни в дом терпимости». В «Происшествии» Гаршин поведал о страданиях Надежды Николаевны. В «Припадке» Чехов рассказал о страданиях Гаршина и человека «гаршинской закваски» при встрече с Надеждами Николаевнами.

Увидев, как публично, беззаконно, вслух оскверняется до основания «все то, что называется человеческим достоинством, личностью, образом и подобием божиим», герой «Припадка» Васильев ищет виновных и находит их в господах из «чистого общества», в милых своих приятелях, людях науки, искусства и возвышенных чувств. Рабовладельцев, насильников, убийц видит он в них, эксплуатирующих голод, невежество и тупость.

Сердито и резко бросает он им в лицо обвинение в убийстве:

— Ваша медицина говорит, что каждая из этих женщин умирает преждевременно от чахотки или чего-нибудь другого; искусства говорят, что морально она умирает еще раньше. Каждая из них умирает оттого, что на своем веку принимает средним числом, допустим, пятьсот человек. Каждую убивает пятьсот человек. В числе этих пятисот — вы!..

Но не поняли его и не ужаснулись чистые, образованные господа, толкующие о гуманности, медицине, живописи. Приятели свели Васильева к психиатру — тот всерьез стал искать причины заболевания. И сказал ему Васильев:

— ...Мне все это кажется удивительным! Что я был на двух факультетах — в этом видят подвиг; за то, что я написал сочинение, которое через три года будет брошено и забудется, меня превозносят до небес, а за то, что о падших женщинах я не могу говорить так же хладнокровно, как об этих стульях, меня лечат, называют сумасшедшим, сожалеют!

Чехов говорил, что в рассказе «воздал покойному Гаршину ту дань, какую хотел и умел». «Припадок» близок Гаршину темой и постановкой жгучих вопро-

сов; характером, рассуждениями, поступками главного героя. Чехов сказал о своем Васильеве то, что думал о Гаршине:

«Есть таланты писательские, сценические, художнические, у него же особый талант — *человеческий*. Он обладает тонким, великолепным чутьем к боли вообще».

ПОРА ОТДАВАТЬ ДОЛГИ

В начале января семьдесят восьмого года молодой человек в узковатом черном пальто и барашковой шапочке появился в доме на Мойке у Синего моста, где помещалась редакция недавно организованного журнала «Слово».

— Вам кого? — спросил молодого человека кто-то из сотрудников редакции.

Молодой человек смущенно пожал плечами — ему в общем-то никого, он просто зашел познакомиться.

— А с кем имею честь? — полюбопытствовал сотрудник редакции.

Молодой человек сконфузился, представился негромко:

— Гаршин.

— Всеволод Гаршин?.. Господа, господа, к нам Гаршин!.. У нас Гаршин, господа!..

Захлопали двери кабинетов, сотрудники заспешили в приемную. Явились оба редактора, оба издателя. Все окружили Гаршина. И тотчас просьба — не согласится ли автор «Четырех дней» написать что-нибудь для журнала.

Так в Петербурге встречали Гаршина. Да он и сам признавался: «Был я встречен здесь с восторгом всеми...»

Несколько журналов и газет сразу же предложили ему место на своих страницах. Елисеев, сподвижник Некрасова и Салтыкова-Щедрина, один из редакторов «Отечественных записок», пригласил его на обед. Да и сам Щедрин внимательно приглядывался к талантливому юноше.

«Литературные мои дела находятся в блестящем положении... Только пиши, а брать везде будут... Но...»

Но не слишком ли просто стать модным писателем?.. Жизнь, до отказа наполненная фактами, раскинулась вокруг. Бери ее по кускам и пиши. Каждый кусок — рассказ. За каждым фактом — переплетение вопросов, обстоятельств, причин. Пиши!

Но был в жизни Гаршина день, 11 августа 1877 года, «быть может, единственный день, когда вполне сознавал себя честным и порядочным человеком». Разве для того стремился он слить свою судьбу с судьбой народной, чтобы по ковровой дорожке парадным шагом подняться на Парнас? Слишком многим обязан он и походным дождям, и походному зною, и Федорову Степану, и тому солдату, что после первого перехода принес измученному вольноопределяющемуся супу в котелке. Настала пора отдавать долги.

«От очень многих хороших людей выдан и мне аттестат «хорошего». Эти хорошие качества (буде они существуют) нужно, наконец, пустить в оборот».

Писать вообще — этого мало. И даже писать хорошо — мало. («Пишу, правда, я довольно много, но все это для меня этюды и этюды; выставлять же их я не желаю, хотя уверен, что они шли бы не без успеха».) Нужно отдавать долги. Говорить только о том, о чем нет сил смолчать. О том, что наболело, что мучит его, других — всех честных людей. И Гаршин безжалостно рвал написанное. Смирял себя. Предупреждал родных, друзей:

«Я работаю довольно много, а печататься буду только в крайнем случае...»

«Хотя пописываю, но печатать ничего не буду до весны...»

«Буду работать побольше, вылезать поменьше...»

Спорил с матерью, жаждавшей лавров для сына:

«По поводу вашего мнения о том, что мне не следует молчать, чтобы публика не забыла, скажу вам, что, если я стою того, чтобы меня не забыли, то если и забудут, то тотчас же вспомнят при первом моем появлении. Если же нет, то тогда зачем же и подогревать сочувствие публики?»

Доходил до отчаянья:

«Писать мне теперь ужасно трудно... Пишу туго, да что и напишу, безжалостно рву...»

Да и как же иначе? Иначе и нельзя, если хочешь, чтобы каждый рассказ стал отданным долгом, выплеснутой болью, кровью пролитой. Если хочешь, чтобы он ударил в сердце, лишил сна, убил спокойствие чистой, прилизанной, ненавистной толпы.

...В военном ведомстве исполняли документы. Бумажки ползли вверх и вниз — по инстанциям. В одних канцеляриях неспешно продвигали дело о производстве в офицерский чин вольноопределяющегося Гаршина, участвовавшего в кампании и проявившего геройство в бою. В других канцеляриях ретиво заготовили приказ, воспрещающий военнослужащим всякое литераторство. От приказа Гаршин отмахнулся: «Буду писать, пока не посадят». Над производством задумался. Нет, не манили его золотые эполеты: «Серая шинель — та имеет в моей жизни значенье, а прапорщичий мундир — вовсе не такая прелесть, чтобы оставлять его на память». Взволновало иное. Не рано ли сменил он винтовку № 18635 на перо? Не избрал ли легкий путь, покинув полк? Не там ли был он обязан отдать сполна долги? Гаршин писал Васе Афанасьеву:

«Мы с тобой достаточно убедились в плохом положении нашей армии. Мы хотим уходить из нее именно потому, что в ней для нас скверно, душно. Если так будут рассуждать все, видящие гадость в военной среде, то никогда и среда не изменится. Не лучше ли нам влезть в эту среду? Может быть, что-нибудь и сделаем путного. Может быть, со временем мы будем иметь возможность не дозволить бить солдата, как это делается теперь, не дозволить вырывать из его рта последнюю корку хлеба...»

Мысль прослужить некоторое время прапорщиком где-нибудь в «глухой армии» не оставляла Гаршина.

...В комнату на Офицерской был втащен большой простой стол. Гаршин собственноручно обил его клеенкой. Поставил лампу, чернильницу. Положил пачку бумаги. Глянул со стороны — до чего ж славно вышло! Решил: «Здесь засяду на годы». Неотрывно трудился над «Происшествием». А через месяц почувствовал — надоел Петербург. Надоели предложения: «Не напишете ли и для нас?» — мешают думать, работать. Надоели делающие честь знакомства — знаменитости подолгу задерживают руку его в ладони, поучают, пророчествуют. Надоело мучительно думать, как быть дальше. И вдруг показалось: махнуть сейчас к родным пенатам в Харьков, весенний, набирающий соки, окунувшийся в первую, прозрачную зелень, — и все вдруг решится, и станет легко, и мысли, что теснятся в голове, свободно потекут с пера.

Гаршин провел в Харькове весну и лето семьдесят восьмого года. И ничего не писал. Застыл. Затосковал. Ну, Харьков — город как город. И ничего в нем не изменилось с тех пор, как он рвался отсюда в Петербург. И у родных пенатов все по-прежнему. Недовольная мать укоряет его в лени и неусидчивости — побольше бы писал да печатался, давно бы вылез «в самый центр». Раиса, Раечка — та, пожалуй, переменилась несколько: повзрослела, стала этакой заносчиво-снисходительной барышней, как мило позволяет ему себя любить! И снова он один на один со своими вопросами. Сохнут чернила в огромной фамильной чернильнице. «Мне очень плохо: хандрю, потому что не могу ничего делать, ничего не делаю, потому что хандрю...»

Необходимо было решиться на что-то. А Гаршин тосковал. Не мог заставить себя писать — способен ли он еще расшевелить в людях мозги и чувства? Не мог убедить себя отправиться в Видин, где стоял полк, — да выдержит ли он армейскую скверность и духоту? Уныло долбил латынь. Читал — хоть чем-нибудь заняться! — фишеровскую «Историю новой философии». И говорил о себе: «Ничтожество!»

Думы о литературном труде и об армейской службе, воспоминания о войне (так никогда и не залеченная рана в сердце), колебания, сомнения — все это мучило, вызывало боль, копилось, зрело — и вдруг, как и бывает большей частью у художнических натур, вырвалось, стало облекаться в образы, двигаться,

мыслить И тогда полегчало. Так оживала Галатея под дыханием влюбленного Пигмалиона; оживала, возвращая жизнь самому мастеру. Гаршин начал писать «Труса».

Тихо, чтобы не спугнуть зыбкие еще образы, писатель собрал чемодан и отправился обратно в Петербург.

Царица изволила пожаловать пособия раненым офицерам. По сто рублей каждому. Гаршину назначили двести. Он посмеивался: «Уж не играет ли тут какую-нибудь роль моя литература?» Царица вовремя поспела со своим пособием: Гаршин трудился над «Трусом» — рассказом об ужасах войны, о ее ненужности, о страданиях, которые она приносит.

Это был ответ тем, кто читает пропитанные кровью сводки — «убито 50, ранено 100» — и радуется: «Потери незначительны!» Тем, кто приходит в ужас оттого, что господина ограбили на улице, а в лихой статейке деловито подводит итоги: «Потеряй Россия и 200 тысяч солдат, и то большого ущерба не будет...»

Дома, в кругу близких, любящих людей, умирает от тяжелой болезни один из героев рассказа — умный, симпатичный юноша-студент. Жаль его? Еще бы! Но как же тогда можно спокойно читать сообщения о тысячах простых русских мужиков, одним мановением перста навсегда уложенных на покрытых снегом полях, где-то вдали от родины?

И потому черные буквы на белом газетном листе кажутся валящимися рядами людей, а перо — оружием, наносящим бумаге рваные раны. В таких, мучительно ощутимых деталях предстает война перед тем, кого лицемеры называли «трусом», — за то, что он был против войны.

Мысли о войне преследуют его. Как и сам Гаршин, как и многие их современники, «трус» пытается постигнуть природу и сущность войн — и не находит ответа. Но он осознает войну как узаконенное убийство людей — и протестует против этого.

«Трус» — название сатирическое. «Трус» против войны, но он не остался с теми, кто возбуждал в других «боевой дух», сидя в ресторациях на Невском. Он смелый человек. Он не боится гибели. Вместе с тысячами «других» он идет на войну. И погибает.

Господа офицеры из завсегдатаев военных и гражданских борделей, имевшие несчастье заразиться сифилисом, обитали в одной из палат петербургского Николаевского госпиталя. Пьянствовали. Играли в карты. Скандалили.

Соседняя палата, в которой лежал Гаршин, считалась тихой. Здесь тоже играли в карты, но без скандалов и мордобития. Зато здесь разговаривали о службе — о представлении к чинам, кознях штабного начальства и о том, как какой-нибудь поручик «поддел» адъютанта или командира.

Гаршина положили в госпиталь на освидетельствование. Ссылаясь на больные нервы и рану в ноге, он просил уволить его в отставку из армии. Выбор был сделан. В госпитале под пьяные вопли одичавших от скуки поручиков («что за монстры... почти исключительно существуют» «в военной службе»!), под бесконечное переливание пустопорожних «служебных» разговоров («офицерство надоело хуже горькой редьки») Гаршин закончил «Труса».

...Просьба об отставке была заказана писарю. Гаршин шел по хмурым осенним улицам, радостный от ясной убежденности, что поступил правильно. Липкая, удушливая тоска трехнедельного госпитального заточения позади. В памяти осталась только вереница типов — никчемных и своеобразных, пустых и погубивших свой дар, — переплетение черт, черточек, штрихов. Да в сердце осталась приятная, легкая теплота, словно солнечный зайчик пробежал по сердцу: в госпитале Гаршина навещали студентки-медички, и среди них была одна — Надежда Михайловна Золотилова, Надя. Такая славная!..

Дни были заняты делами: Гаршин начал ходить на лекции в университет, снова давал уроки, помогал Герду в составлении «Определителя птиц Европейской России». И писал. Много и успешно. В труде

снова пришла уверенность: только литература — его призвание.

Гаршин шел в «Отечественные записки». Он пощупал рукой карман, аккуратно свернутую пачку бумаги. Представил себе, как войдет сейчас в кабинет к человеку со строгими, пронзающими и добрыми глазами, положит перед Михаилом Евграфовичем новый рассказ — «Трус». И будет волноваться — он отдал долг. И будет знать — долг отдан не сполна: давно задуманная книга «Люди и война» еще не начата.

Он начал ее чуть позже, через год, отрывком «Денщик и офицер».

БЕДА МУЖИКА НИКИТЫ

«Глухая армия». Унылая жизнь — строй да муштра, ученья да наряды. «Направо», «налево», «ряды сдвой» — топчут, топчут бравы ребятушки, невеселые мужички, пыльный плац сапожищами, а позади у каждого затерявшаяся в бескрайных просторах и томительных годах деревенька, нищее хозяйство, измученная баба с голодными чадами — им теперь, без работника, без кормильца, конец. Муж на службе, а жена в нужде. В рекрутчину — что в могилу. Солдатчина...

И явился к Гаршину герой. Не молодой человек «гаршинской закваски», с пытливым умом, чуткой совестью, тонкой красотой мыслей и чувств. Другой герой, совсем новый — «низенький человек, с несоразмерно большим животом, унаследованным от десятков поколений предков, не евших чистого хлеба, с длинными, вялыми руками, снабженными огромными черными и заскорузлыми кистями», человек, который о сложных проблемах не задумывается, который четырех-то слов подряд запомнить не может, потому что, по мнению фельдфебеля, «понятия у него ни к чему нет». Мужичонка. Солдатик. Но ради него, сеятеля и хранителя родной земли, лбы и груди подставляли под пули, шли в «глухие армии» вольноопределяющиеся «гаршинской закваски». Шли, чтобы разделить с мужиком, солдатом, его беду. Не могли спокойно смотреть, как «мужик страдает». И пронесенную через всю жизнь, но так и не написанную книгу «Люди и война» Гаршин начал рассказом о мужицкой беде.

Точно гром, грянула она над головой низенького, нескладного человека роковым словом «Годен!» и раскатилась звонким хохотом полковника, воинского начальника: «Но только в гвардию не попадет. Ха-ха-ха!»

Не будь Иван Петрович, приемный отец Никиты, темным и неграмотным, усыновил бы парня — не взяли бы его. Да ведь бедному-то мужику «ничего этого не известно». И осталась семья — старик, три бабы да трое детей — без единственного работника. Вот горе так горе...

Одна беда в доме, другая на пороге. У дверей управы встретил Ивана Петровича с Никитой «дюжий мужик в новой дубленке, большой бараньей шапке и хороших сапогах».

— Что ж ты должок-то, забываешь, что ль? — спросил у старика.

— Никак невозможно, Илья Савельевич, то есть вот как, никак нельзя! Уж вы малость пообождите. Горе-то у нас такое!

— Ну, ладно, ладно, поговорим еще...

А Иван Петрович думал: где уж тут старый долг отдавать! Надо у Ильи Савельича опять взаймы молить — обряжать Никиту на службу. Пришла беда — отворяй ворота...

Целую неделю бабы выли. Никита все молчал, храня на своем лице застывшее выражение покорного отчаяния. Потом надел котомку и пошел.

Никакого богатства не было у бедняка Никиты — нищий угол, две руки с огромными заскорузлыми кистями да тяжелая, беспросветная работа. И это у него отняли. А во имя чего?..

...«Направо», «налево», «ряды сдвой» — не может понять Никита нехитрой солдатской премудрости. Не помогают ни подзатыльники, ни затрещины. «Шаг вперед», «коли»... От конюшен доносится на плац

привычный запах лошадиного пота, и штыки на солнце взблескивают, как косы. Едкие струйки текут по лбу, жгут глаза, спина ноет, руки отказываются служить. И все впустую, никакого дела нет. Только форма одна. Вроде велемудрой науки, которой название «словесность».

«Что есть солдат?», «Что есть знамя?»...

«Никита очень хорошо знает, что такое солдат и что такое знамя; он готов со всевозможным усердием исполнять свои солдатские обязанности и, вероятно, отдал бы жизнь, защищая знамя...» Но не грохочут пушки, трубы не играют «сбор» — и остается непонятная книжная премудрость, пустой разговор...

«Знамя есть священная хоругвь...»

— Знамя есть, которое корю... хоруг...

— На три дневальства не в очередь!

И Никита благодарит бога. Дневальство для него не наказание — удовольствие. Дневальство — это носить воду, колоть дрова, топить печи, мыть полы. Дневальство — это дело, работа. А работу Никита понимает и умеет исполнять.

...Горькая судьбина выпала на долю крестьянина Никиты Иванова.

И явился к Гаршину новый герой — «очень добрый молодой человек, среднего роста, с бритым подбородком и великолепно вытянутыми, как острые палочки, усами». Не «гаршинской закваски» молодой человек. Другой герой — прапорщик Александр Михайлович Стебельков. Неспособный юноша, исключенный из гимназии за неуспеваемость, Саша Стебельков над серьезными проблемами не задумывался. Он думал лишь о хлебе насущном. О даровом хлебе. Он искал места в жизни, чтобы не за свой счет жить. И нашел — армия.

Позади — обедневшая семья, опостылевшая гимназия, строгий надзор юнкерского училища. В настоящем — сорок рублей содержания, новенький кошелек, полурога солдат, вальсы в офицерском клубе. Впереди... О! Впереди! «Можно и до генерала», — мечтает прапорщик Стебельков. Хорошо, очень хорошо!.. Где-то теперь гимназические товарищи? Прежде

все смеялись над ним; ну, а нынче?.. Небось в университете сидят, голодают... Посмотрели бы на неуспевающего Сашу Стебелькова — на золотые эполеты, на новенький кошелек, на серебряные часы с золотой цепочкой! Дослужиться бы до генерала — уж тогда задал бы!.. Хорошо, очень хорошо! А пока — до двух лежание в кровати; папироска, «Нива», в два обед, после двух «Русский инвалид», разговоры с товарищами о службе, о производстве в чин, содержании и, наконец, «вихрь вальса» с майорской дочерью. Хорошо!

...Счастливо сложилась судьба прапорщика Александра Михайловича Стебелькова.

Две судьбы — солдата и офицера — пересеклись в неуютной комнате прапорщика, которому Никиту отдали в денщики.

Работа совсем ушла из Никитиной жизни. Остался только «призрак дела» — одеть барина, подать самовар, вычистить господские сапоги, подмести пол, раздеть барина. «Обязательное ничегонеделанье», которое было жизнью для прапорщика, оказалось казнью для мужика. Казнью потяжелее, чем фельдфебельские затрещины и повороты на плацу. Слабели руки, бесконечными становились дни.

День и ночь лежит Никита на шинельке в передней. Лежит и думает. О чем?.. Бог знает! Об избушке ли, вросшей в землю, насупленно глядящей оконцами из-под низко надвинутой на лоб крыши?.. О ребятишках ли, пузатых и тонконогих, дрожащих на печи? Об измученной ли бабе, с потемневшим лицом, узловатыми пальцами и пустыми бессильными мешочками грудей?.. О чем еще?.. Да скорее всего о колосьях, о тех, что пробили землю, вытянулись, налились — и осыпались неубранными.

Лежит Никита на шинельке в передней. Тяжкую думу думает. Трудно мужику. В комнате сладко зевает, поворачиваясь на бочок, их благородие прапорщик Стебельков. Ему хорошо, очень хорошо!

Гудит и завывает ветер, бьет хлопьями снега в окно. И каждому снится сон. Два сна — два итога, два взгляда в будущее.

Громом бальной музыки оборачивается вой ветра. Посреди ярко освещенной залы — генерал Стебельков. Все блестит и мелькает вокруг. Проносятся пары. Люди в разных мундирах спрашивают его приказаний. Носятся ординарцы. Что он сделал великого, за что его возносят, Стебельков не знает. О чем его спрашивают, не слышит. Что сам приказывает, не понимает. Только чувствует: он, Стебельков, — герой.

А Никите снится, будто лежит он в своей избе. И ветер воет на дворе. Никита один, никого нет вокруг. Он кричит — и вся изба наполняется людьми, деревенскими знакомыми. Но все они мертвые. Мертвые. «Здравствуй, Никита, — говорят ему. — Твоих, брат, никого нету, всех бог прибрал! Все померли».

...Горькая судьбина выпала на долю Никиты Иванова.

Тургенев нередко привозил в Ясную Поляну литературные новинки. На сей раз он извлек из чемодана третий номер «Русского богатства» за 1880 год. Протянул Льву Николаевичу: «Прочтите как-нибудь». Протянул словно бы небрежно, между прочим. Он не любил пафосными рекомендациями влиять на чужое мнение.

Вечером Толстой раскрыл журнал. Там, где надо: на сто девятой странице. «Гаршин. «Люди и война» (глава первая)». Иван Сергеевич, несколько волнуясь, отправился в парк погулять. Часа через полтора возвратился, увидел лицо склонившегося над книгой Толстого и улыбнулся, довольный.

Вскоре Тургенев писал Гаршину:

«С первого Вашего появления в литературе — я обратил на Вас внимание, как на несомненный, оригинальный талант; я следил за Вашей деятельностью — а Ваше последнее произведение (к сожалению, неоконченное) — «Война и люди» — окончательно утвердило за Вами, в моем мнении, первое место между начинающими молодыми писателями. Это же мнение разделяет и гр. Л. Н. Толстой, которому я давал прочесть «Войну и людей»...»

И еще Тургенев писал:

«Каждый стареющий писатель, искренне любящий свое дело, радуется, когда он открывает себе наследников: Вы из их числа».

«ВСЕБЕРУЩИЙ, ВСЕХВАТАЮЩИЙ, ВСЕВОРУЮЩИЙ СОЮЗ»

Конец рассказа получился удачным. Гаршин еще раз перечитал его и отложил рукопись. Кажется, сказал, что хотел. «Встреча» беспокоила Гаршина. Рассказ вылился быстро, необычно быстро. Гаршин начал его в госпитале, сразу после «Труса», и через месяц уже переписывал набело. Что-то скажет Михаил Евграфович, поглядывая из-за привычного, в черепаховой оправе, пенсне.

«Встреча» была для «Отечественных записок». Только для них. Для журнала, где печатались некрасовские «Современники», «Подросток» Достоевского, «Дневник провинциала» Салтыкова-Щедрина, «Внутренние обозрения» Елисеева. И все же Гаршин волновался: отдавать ли? Новая тема. Не похожие на прежних герои. И только глубоко, на самом дне, все тот же острый, словно боль, вопрос: как жить?..

...Вспыхнули яркие электрические фонари, ослепительный свет пронзил массу голубоватой воды. Все копошилось, металось в гигантском аквариуме. Стерляди извивались, прильнув мордой к стеклу; черный гладкий угорь зарывался в песок; плыла задом наперед кургузая каракатица. Все жило своей жизнью в этом осколке большого моря.

Два человека стояли у аквариума. И один, инженер Кудряшов, говорил воодушевленно:

— ...Я люблю всю эту тварь за то, что она откровенна, не так, как наш брат — человек. Жрет друг друга и не конфузится.

Маленькая рыбка металась вверх и вниз, спасаясь от какого-то длинного хищника. Хищная рыба уже была готова схватить ее, как вдруг другая, подскочив сбоку, перехватила добычу: рыбка исчезла в ее пасти.

— Перехватили! — сказал Кудряшов. — Стоило

гоняться для того, чтобы из-под носа выхватили кусок!.. Сколько, если бы ты знал, они пожирают этой мелкой рыбицы... Съедят — и не помышляют о безнравственности, - а мы? Я только недавно отвык от этой ерунды. Василий Петрович! Неужели ты, наконец, не согласишься, что это ерунда?

— Что такое?

— Да вот эти угрызения. На что они? Угрызайся не угрызайся, а если попадется кусок...

Отточенной, как клинок, сценой у аквариума заканчивалась «Встреча».

...Гаршин писал матери: «Теперь грозное время. Наступают такие минуты, что только сильные духом перенесут их». Сильные духом!

Все переворотилось в России, и все укладывалось по-новому. Шла «быстрая, тяжелая, острая ломка всех старых «устоев» старой России» *. Потянулись вверх, обволакивая черной гарью небо, трубы заводов и фабрик, накрепко стянула землю стальная сеть железных дорог. Изменился темп жизни. Его определяли теперь метким словцом «горячка» — «железнодорожная горячка», «биржевая горячка». Вспыхивали в речах, мелькали на газетных полосах и другие новые слова: «акция», «облигация», «спекуляция», «концессия». За ними слышался звон золота и шуршанье ассигнаций. От них пахло кровью и пóтом разоренных, бежавших в города крестьян. Деньги сыпались миллиардами. Покупалось и подкупалось все и вся. Концессионеры и биржевики с разбухшими карманами решительно отворяли тяжелые двери сановных особняков, не робея, поднимались по широким ступеням Зимнего дворца — тащили взятки. На домах Невского проспекта подле старинных родовых гербов появились во множестве вывески банкирских контор и акционерных обществ. «Плутократия» шла в наступление.

Не брезговали ничем. Братья Мясниковы подделали завещание купца Беляева. Один из братьев был адъютантом начальника Третьего отделения. В семьдесят пятом году богатейший хлеботорговец Овсянников поджег огромную паровую мельницу в Петербурге, которую по решению суда должен был передать другому владельцу. Овсянников не робел: на его содержании находились и генерал-адъютант Мордвинов и генерал-майор Аничков. Миллионщик имел подряды по военному ведомству. Годом раньше в Петербурге слушался громкий процесс о подделке акций Тамбово-Козловской железной дороги. На построенных кое-как железных дорогах, ставших лишь предметом обогащения для концессионеров, то и дело случались крушения, трещали и рушились мосты, переворачивались и горели вагоны. Гибли люди. Коррупция, обман, спекуляции, подлоги, фальшивые сделки. Лишь бы разбогатеть, нажиться. Лишь бы текли в банковские подземелья железные звонкие ручьи и реки. Цель оправдывает средства. «Плутократия» шла в наступление.

Капиталист-хищник рвался к власти, славе, роскоши. «Хищник проникает всюду, захватывает все места, захватывает все куски, интригует, сгорает завистью, подставляет ногу, стремится, спотыкается, встает и опять стремится...» Так писал Салтыков-Щедрин. Хищник давил слабых, клал в карман тех, кто был ему нужен, — ученых, инженеров, адвокатов, журналистов. И те не за совесть, а за деньги помогали обогащаться своим хозяевам и обогащались сами. Швыряли десятки тысяч на особняки с зимними садами и бассейнами, на обстановку, на рысаков, содержанок, кутежи — и составляли фиктивные проекты, оправдывали в судах преступников, защищали в статьях грабежи и убийства. Биржа хозяйничала в присутствиях, кабинетах проектировщиков, судебных палатах и газетных редакциях.

Гаршин страдал оттого, что дело его жизни — творчество — не заполняет всю его жизнь. В голове его один за другим рождались планы. Он собирался то уехать в экспедицию на Урал, то идти служить в банк, то вернуться в полк, то поступить преподавателем в реальное училище. Он переводил с немецкого научную книгу по орнитологии, изучал с Гердом

* *В. И. Ленин.* Сочинения, т. 16, стр. 301.

геологические породы Орловской губернии и, наконец, чуть было не отправился писарем в деревню. Он объяснял: «Пропагандировать» я в деревне, конечно, не буду. Буду *жить*, потому что считаю это полезным для себя, а может быть, и сам пригожусь мужикам на что-нибудь». Пользу для себя он определил так: «...*на мне будут лежать обязанности*».

Разные планы рождались в голове, и только об одном пути, казалось самом естественном, не задумался, не захотел вспомнить Гаршин. О том, чтобы кончить курс в Горном институте, стать инженером. На институте была поставлена точка вскоре после приезда из армии. «Сейчас вернулся из Горного института... — сообщает Гаршин. — Скверно на меня подействовало это посещение, так стало жаль трех лет, проведенных, как в гробу!» Не по нутру ему была инженерная «деятельность». Форменный мундир оборачивался лакейской ливреей. Еще в студенческие годы понял: «...Карьера горного инженера пугает меня. Я знаю многих из них; все разделяются на три категории: одни — дельцы, загребающие деньги, чины, места; другие — спившиеся люди, третьи — кандидаты во вторую категорию, люди хорошие, честные, страдающие из-за того, что стоят не у дела, а у пустого места. Да разве это не пустое место — набивать мошну какому-нибудь неучу».

Гаршин не мог быть инженером первой категории и не желал стать инженером третьей категории.

Кудряшов, герой «Встречи», не желал быть инженером третьей категории и стал инженером первой категории.

Что за палаццо у инженера Кудряшова! Что за передняя с камином! Что за столовая «под дуб»! Что за гостиная с шелковой мебелью! Зал с роялем! Великолепный кабинет! Учитель Василий Петрович, институтский товарищ Кудряшова, только руками разводит от изумления. Откуда все это?.. Ведь несколько лет назад они со студентом Николаем Кудряшовым собачью колбасу жрали...

Откуда?.. Да вот откуда! Николай Константинович Кудряшов откровенно разворачивает перед приятелем огромный чертёж. На чертеже — мол. Мол, под строительство которого все время берутся деньги, но который не строится. Василий Петрович ужасается: но ведь это же обман, фикция! Что ж, зато дубовая столовая не фикция. Но ведь это же безнравственно! Значит, если бы другие поглощали ростбиф, а Кудряшов жрал собачью колбасу, — это было бы нравственнее?.. Кудряшов излагает другу свое кредо:

— Разве я один.. как бы это повежливее сказать... приобретаю? Все вокруг, самый воздух и тот, кажется, тащит. Недавно явился к нам один новенький и стал было по части честности корреспонденции писать. Что ж? Прикрыли... И всегда прикроем. Все за одного, один за всех... Жить с сознанием свободы и некоторого даже могущества... Сила в деньгах, а у меня есть деньги. Что хочу, то и сделаю... Захочу тебя купить — и куплю.

Кудряшов откровенен. Кудряшов не стесняется. Цель оправдывает средства.

«Плутократия» шла в наступление.

Я — вор! Я — рыцарь шайки той
Из всех племен, наречий, наций,
Что исповедует разбой
Под видом честных спекуляций! —

так откровенно рекомендует себя один из некрасовских «героев времени».

Ну, а что же Василий Петрович? О, он не из молодых людей «гаршинской закваски» и даже не из тех «новеньких», которые пишут корреспонденции «по части честности». Поначалу кажется, будто Василий Петрович противостоит Кудряшову, а присмотришься...

Василий Петрович назначен учителем гимназии в тот самый город, где действует его институтский приятель. До встречи с Кудряшовым он размышляет о своих делах. О том, как будет работать на этом скромном поприще, угадывать «искру божию» в мальчиках, поддерживать натуры, «стремящиеся сбросить с себя иго тьмы», развивать молодые силы, «чуждые

житейской грязи», и о том, как будущие замечательные деятели будут пожимать ему руку: «Это ваши добрые семена, запавшие в мою душу...»

И все возвышенные словечки Гаршин ставит в кавычках, да ведь и мысли-то возвышенные у Василия Петровича в кавычках, потому что чужие мысли, не его...

А потом начинаются его. О том, что надо свою тысячу скопить для начала семейной жизни, что надо уроки раздобыть по хорошей цене и что помогут ему в этом рекомендательные письма на имя местных тузов. И мечты о семейной жизни показались ему еще приятнее, чем даже мечты об общественном деятеле, который придет благодарить его за «добрые семена»... Через четверть часа, встретив случайно Кудряшова, Василий Петрович уже слышит его уверенное: «Воруем!..»

И что же Василий Петрович? О, сперва начал было ужасаться, страдать за друга, произносить фразы, которые впору заключить в кавычки; затем, сбитый двумя-тремя меткими репликами Кудряшова, умолк и пришел к более реальному ходу мыслей. Он «ел и думал, думал и ел». «По принятым им убеждениям, он должен был бы поспешно скрыться из дома своего старого товарища и никогда в него больше не заглядывать. «Ведь этот кусок краденый, — думал он, положив себе в рот кусок и прихлебывая подлитое обязательным хозяином вино.— А сам что я делаю, как не подлость?» Много таких определений шевелилось в голове бедного учителя, но определения так и остались определениями, а за ними скрывался какой-то тайный голос, возражавший на каждое определение: «Ну, так что ж?» И Василий Петрович чувствовал, что он не в состоянии разрешить этого вопроса...»

Этот вопрос разрешил Кудряшов. Он быстро разглядел в Василии Петровиче «своего», увидел в нем то, что сам Василий Петрович трусливо старался не замечать.

— ...Я не знаю, долго ли и ты удержишься на своей стезе... Конечно, не удержишься... Ведь вот, любезный мой друг, ты думаешь, я не знаю, какая

у тебя в голове теперь мысль сидит?.. «Зачем, — думаешь ты, — я у этого человека сижу? Очень он мне нужен! Разве не могу я обойтись без его вина и сигар?..» Ты сидишь у меня и говоришь со мною просто потому, что не можешь решить, действительно ли я преступник. Не возмущаю я тебя, да и все... Вражды ко мне ты никакой чувствовать не можешь...

Нет, не противника видит в Василии Петровиче хищник Кудряшов — сочувствующего, будущего «инженера первой категории». И потому смело обнажается перед ним, а заодно и с самого Василия Петровича стаскивает поношенный, по долгу службы одеваемый мундирчик благонамеренности и нравственности. Василий же Петрович стыдливо помогает ему в этом. Каким мышиным писком звучат его слова — слова перепуганного и завидующего обывателя: «Не говоря о безнравственности... Я просто хочу сказать, что вас всех поймают на этом, и ты погибнешь, по Владимирке пойдешь». Сколько намеков на будущее в быстром обмене репликами, когда Кудряшов обещает учителю уроки подороже («за три-то тысячи таскаться всю жизнь по урокам»). И как красноречиво молчание Василия Петровича в конце рассказа: Кудряшов размыкает ток, аквариум — модель мира, созданная инженером первой категории по своему образу и подобию, — погружается во мрак. О, каким тусклым и коптящим кажется Василию Петровичу после ослепительного кудряшовского величия огонек мерцающей в его руках свечи!

И как возразить прямолинейному другу, когда он, смеясь, бросает в лицо:

— Ты-таки, брат, грабитель под личиною добродетели... Приготовишь ли ты хоть одного порядочного человека? Три четверти из твоих воспитанников выйдут такие же, как я, а одна четверть такими, как ты, то есть благонамеренной размазнею. Ну, не даром ли ты берешь деньги, скажи откровенно? И далеко ли ты ушел от меня?..

Увы, нечего сказать откровенно. И идет Василий Петрович не прочь от Кудряшова, а следом за ним — плетется в хвосте, ужасаясь, ахая, пугаясь, завидуя,

плывет, словно рыба на яркий свет электрического фонаря.

...«Встреча» была создана для «Отечественных записок». Гаршин, однако, колебался — отдавать ли? Что-то скажет Михаил Евграфович? Наконец решился — отнес. Щедрин прочитал «Встречу» и в самом деле выбранил Гаршина. Выбранил, когда Гаршин признался, что боялся за рассказ.

Конец рассказа получился удачным. Все мечется, копошится, шевелится в огромной сверкающей тюрьме кудряшовского аквариума. Сильный проглатывает слабого. Один хищник вырывает у другого добычу. И Кудряшов, зачарованно глядя на них, утверждает: «Такова жизнь!» Точно так же, как иные ученые люди, провозгласили, тыкая пальцем в раскрытый том Дарвина: «Таково и наше общество. Да здравствует конкуренция, эксплуатация, неравенство! Ведь это же совсем по Дарвину — «естественный отбор», «борьба за существование». «Приспособляйся к условиям окружающей тебя жизни, дави неприспособленных, ибо из этого проистечет вящая выгода для общества».

Передовые деятели науки, писатели, публицисты разоблачали тех, кто, кивая на учение Дарвина, оправдывал наступление «плутократии», защищал несправедливость. «Если Дарвин скажет, что борьба за существование есть творческий принцип природы, то дарвиненок выйдет на улицу, засучив рукава, и крикнет: «Ну-ка, кто кого?» — так писали «Отечественные записки» за год до того, как в них появилась «Встреча» — слово Гаршина в схватке с теоретиками хищничества. Гаршин не мог не сказать это слово.

Он всю жизнь любил естествознание, изучал Дарвина, преклонялся перед ним. Он был другом, единомышленником, помощником крупнейшего педагога-натуралиста А. Я. Герда, переводчика, редактора и пропагандиста дарвинских трудов.

Во «Встрече» Гаршин не ответил прямо на жгучий вопрос — как надо жить? Но ответил на не менее жгучий вопрос — как не надо жить! Нельзя, крикнул он, терять облик человека, становиться хищником. Нельзя искать оправданий хищнику, есть-пить за

его столом, слушать его признания. Нельзя, чтобы сердце не горело любовью и ненавистью, чтобы высокие слова стали форменным мундиром, напяленным на пустоту. Нельзя!..

Нужно что-то делать с этим! Нужно как-то бороться!..

СКАЗКА И ЖИЗНЬ

Герои были рядом. Их держали за толстыми стенами Петропавловской крепости и Литовского замка. Они умирали в пересыльных тюрьмах. Гремели кандалами на каторге. Они превращали скамью подсудимых в трибуну обвинения, а эшафот в бронзовый памятник себе. Они жили недолго и чувствовали себя счастливыми, жертвуя жизнью во имя борьбы.

Еще недавно, полные надежд, шли они в деревню, «в народ», верили, что словом воспламенят сердца, что вот-вот грянет буря. Но буря не грянула. Сотни молодых ее штурманов заполнили тюрьмы и места далеких поселений. Еще ниже повисли над землей тяжелые, непроглядные тучи.

Герои были где-то совсем рядом. Они прятались в глубокой черноте неосвещенных окон, исчезали, как привидения, в проходных дворах, растворялись в толпе. Они появлялись неожиданно, беспощадные каратели, самоотверженные борцы со злом. Политическое убийство объявили они «осуществлением революции в настоящем». Бомбой, револьвером, кинжалом взялись опрокинуть тиранию, местью отвечали на произвол.

Герои были везде.

...24 января 1878 года Вера Засулич ранила петербургского градоначальника Трепова.

1 февраля в Ростове-на-Дону был убит шпион Никонов. 25 февраля Валериан Осинский стрелял в киевского прокурора Котляревского. Ровно через три месяца, 25 мая, Григорий Попко ударом кинжала прикончил в Киеве жандармского офицера Гейкинга.

Утром 4 августа шеф жандармов генерал-адъютант Мезенцев возвращался домой с обычной утрен-

ней прогулки. Его сопровождал полковник Макаров. Генерал шел задумавшись (было о чем подумать!). Дабы не нарушать хода мыслей его высокопревосходительства, Макаров несколько поотстал и следовал сзади. На Михайловской площади высокий черноволосый человек быстрыми шагами приблизился к шефу жандармов. Взмахнул рукой. Генерал согнулся от удара, и тотчас взорвалась в животе острая, невыносимая боль. Он шумно вдохнул воздух и упал. Теряя сознание, почувствовал, как ползет в ноздри знакомый сладковатый запах, но так и не успел понять — то ли кровью пахло, то ли свежей сдобой из кондитерской Кочкурова. Убийца бежал, все еще сжимая в руке кинжал. Макаров бросился было за ним, но другой неизвестный выстрелил в полковника из револьвера. Макаров замешкался — не жизнью же рисковать! Возле кондитерской злоумышленников ждала пролетка. Вороной конь бодро рванул с места.

В тот же день убийца Мезенцева Сергей Степняк-Кравчинский написал прокламацию об этом событии. Она называлась «Смерть за смерть».

...Герои были рядом. Гаршин говорил одному из своих приятелей:

— Мне бы хотелось воплотить этих людей в художественные образы, но это выше сил моих, да, к сожалению, с революционерами я почти не встречаюсь и боюсь встречаться с ними... Не за себя боюсь... Ты знаешь, что временами я болею. И вот в эти-то минуты болезни я могу наговорить бог знает что... Нет, мне не место там, где нужна конспирация.

Гаршин встречался с революционерами, пожимал им руки, беседовал с ними — и не знал, что это те самые герои, которых он ищет для своих рассказов.

Вскоре после убийства Мезенцева Гаршин писал матери из Петербурга: «...Здесь страшно забирают! Долинина сослали, Павловский, говорят, убежал из ссылки; сослали еще нескольких моих товарищей по гимназии...» Забирали не только в Петербурге. Забирали всюду.

«Многие из погибших были дорогими и любимыми

друзьями Гаршина», — свидетельствовал Степняк-Кравчинский *.

В Харькове арестовали Александра Сентянина, гаршинского земляка и товарища по Горному институту. Гаршин узнал, расстроился и словно бы удивился:

— Бедняжка Сентянин!

«Бедняжка Сентянин» был членом террористической группы, участником убийства Никонова. В докладе начальника Третьего отделения царю о Сентянине говорилось: «Личность эта весьма серьезная: Сентянин, несомненно, посвящен в самые сокровенные тайны бунтарей». Через несколько месяцев Александр Сентянин умер от чахотки в Петропавловской крепости.

«Нет, мне не место там, где нужна конспирация!» Гаршин любил бывать у своей приятельницы Софьи Дорфман. Пил у нее чай, рисовал ее портреты, разговаривал с ее друзьями — и не предполагал, что в этой самой комнате, в другие часы, происходят конспиративные свидания, что в чемодане у милой Сонечки хранятся не только коллекции рисунков, но и брошюры, прокламации, которые она распространяет в Петербурге и на Дону.

Однажды Гаршин приехал к Дорфманам — обыск. Жандармский капитан вонзил в него взгляд:

— Кто такой?

— Отставной прапорщик Всеволод Михайлов Гаршин.

Порылся в кармане:

— Вот мой вид.

— Мы верим вам на слово. Отойдите в сторону.

Прошел в угол к Соне, взволнованно взял за руку, шепотом спросил:

— Что это?

Соня ответила громко и нарочито холодно:

---

* В 1893 году в Лондоне Степняк-Кравчинский выпустил со своим предисловием книжку гаршинских рассказов, которые перевела на английский язык Этель Войнич — создательница легендарного «Овода».

— Мою знакомую Софью Васильевну Никитину арестовали в Курске.

Гаршин побледнел.

— Сонечку Никитину? Помилуйте! За что? Да ей двадцати-то нет! Бедная, бедная девочка! Допрыгалась-таки!

Софья Дорфман грустно улыбнулась, покачала головой, ласково пригладила ему волосы на висках.

— Не волнуйтесь, милый. Все разъяснится. Поезжайте-ка к себе...

...Соня Никитина везла с Украины нелегальную литературу. В Курске вышла прогуляться по перрону. Не спеша отправилась вдоль состава. Впереди, следом за паровозом, арестантский вагон. Часовые у дверей. Соня остановилась. Там, за решетками, в вагонной полутьме двигались серые тени, товарищи, друзья, борцы. Соня понимала: надо отойти, нельзя навлекать на себя подозрение. И не могла пошевелиться.

(— *Мы с вами, товарищи. Мы боремся.*)

Сзади, тяжело ступая, к ней приблизился городовой:

— Пройдите. Здесь стоять не положено.

(— До свиданья, товарищи. До скорого свиданья! Спасибо вам!)

И вдруг, повинуясь словно молния сверкнувшему порыву, Сонечка низко, в пояс, поклонилась грязно-зеленому вагону с решетками на окнах. И тотчас почувствовала, как легла ей на спину тяжелая лапа городового, услышала переливчатый свисток.

В участке жандармский офицер потрошил ее вещи.

— О, брошюры, листки! Даже «Земля и воля» собственной персоной! Очень любопытно! А скажите, мадемуазель, прежде вас никогда не задерживали?

— Нет, — ответила Соня. А сама вспомнила, как три года назад арестовали ее на Волковом кладбище в Петербурге. Она возложила тогда венки на могилы Добролюбова, Писарева и замученного в тюрьме студента Павла Чернышева, на смерть которого сложили печальную и торжественную песню «Замученный тяжкой неволей».

...Гаршин все не мог успокоиться. Шагал по улице, думал: «Сонечка Никитина!.. За что?.. Бедная девочка!.. А ведь какая хорошая женщина была бы!..»

...Софья Никитина умерла двадцати четырех лет от роду в ачинской тюремной больнице от сыпняка.

Гаршин хотел писать о героях своего времени. Герои были совсем рядом. Герои были очень далеко...

И Гаршин написал сказку. Сказку о гордой пальме, которая не смирилась с неволей и одна поднялась на борьбу за свободу.

Гаршин давно любил эту пальму. Он помнил, как впервые пришел к нему ее образ. Еще в студенческую пору — беспокойной февральской ночью семьдесят шестого года. Уже лежали на столе стихи о том, как рухнула народная надежда на освобождение. Уже ясно увиделось, что снова «вьются сети, опутано израненное тело, и прежние мученья начались». Уже сердце рванулось к борьбе — «возьму бесстрашною рукою перо и меч и изготовлюсь к бою». И тогда начали слагаться стихи о борце, разорвавшем железные сети:

Прекрасная пальма высокой вершиной
В стеклянную крышу стучит;
Пробито стекло, изогнулось железо,
И путь на свободу открыт...

Но разве о такой свободе мечтала прекрасная пальма? Об этом холодном солнце?.. О бледных чужих небесах?.. Она сокрушала потолок над своею головою и грезила об ином мире, мире своей мечты,

Где вечно природа пирует,
Где теплые реки текут,
Где нет ни стекла, ни решеток железных,
Где пальмы на воле растут.

Действительность оказалась так не похожа на мир прекрасных грез! И поникла гордая пальма «средь чуждой природы, средь странных собратий, средь сосен, берез и елей». Пришел садовник и отделил от дерева царский венец.

И снова заделали путь на свободу,
И стекла узорчатых рам
Стоят на дороге к холодному солнцу
И бледным чужим небесам...

Пальма одержала победу. Она боролась. Она вырвалась из темницы. Она вдохнула — пусть это был лишь один вдох! — воздух свободы. Даже гибель ее под безжалостным острым ножом — победа. Ведь это гибель героя!

Пальма потерпела поражение. Она поняла, как далека жизнь от ее мечты. Она поняла, как далеко всеобщее счастье, «пир природы», от ее одинокой борьбы.

...Герои были рядом. Они упорно боролись, надламывая железные прутья тюремных решеток. Они жертвовали собой и умирали героями. Но так же низко висело над землей тяжелое серое небо.

Ухали бомбы. Трещали револьверные выстрелы. Но на место убитых приходили новые жандармские генералы, прокуроры, чиновники — и еще тяжелее становился гнет.

Сколько же нужно динамиту, чтобы разорвать мрачные тучи, чтобы хлынул на землю яркий, теплый солнечный поток?! А герои сражались, упрямо, убежденно, и словно не было силы, которая заставила бы их отказаться от борьбы.

...«Attalea princeps», пальма из сказки семьдесят девятого года, — не мечтательная «Пленница» из стихотворения семьдесят шестого. И та и другая — борцы, но «Attalea» зорче, трезвее, опытнее, — она прожила вместе с Гаршиным три года, насыщенных событиями и раздумьями.

От «Пленницы» веет юношеским порывом тех, кто шел «поднимать народ» и поник, столкнувшись с действительностью, с непониманием «странных собратий». «Attalea» знает, что не добьется всего, что идет на жертву, и знает также, что не может жить без свободы, уверена в правоте, необходимости своей борьбы. Она понимает, как далеко до «настоящего голубого неба» созданной в ее мечтах отчизны всеобщего счастья, но хочет «постоять даже и под этим

бледненьким небом». Она понимает, что «если одна какая-нибудь ветка упрется в стекло, то, конечно, ее отрежут», что нужны «сотни сильных и смелых стволов», но коли никто не хочет вместе с нею тянуться к свободе, решает «и одна найти себе дорогу».

Еще очень мало борцов. Гордая пальма обращается к остальным обитателям оранжереи. «Подумайте о деле, — говорит она. — ...Нужно только работать дружнее, и победа за нами» («дело», «работа» — на эзоповом языке передовой печати того времени эти слова означали революцию). Но «Attalea» окружают те, кто привык к неволе. Корица, довольная своим положением, оттого что в оранжерее с нее хоть кору не сдирают. Саговая пальма, мечтающая только о лишнем ведре воды. Пузатый кактус, которому вообще всего достаточно... Они без конца разговаривают, спорят, злятся друг на друга — и бездействуют; у них, пожалуй, хватило бы пороху подраться между собой, но они не могут двигаться — каждое растение вкопано в землю, навсегда прикреплено к своему месту. Они могут только тянуться ввысь. А ввысь они не хотят. Поэтому в ответ на речь «Attalea» обитатели оранжереи возмущенно отвергают борьбу.

— Глупости! Глупости!.. Несбыточная мечта, — кричали они, — вздор, нелепость! Рамы прочны, и мы никогда не сломаем их, да если бы и сломали, так что ж такое? Придут люди с ножами и с топорами, отрубят ветви, заделают рамы, и все пойдет по-старому...

И тогда «Attalea» решает бороться одна:

— Теперь я знаю, что мне делать. Я оставлю вас в покое: живите, как хотите, ворчите друг на друга, спорьте из-за подачек воды и оставайтесь вечно под стеклянным колпаком. Я и одна найду себе дорогу. Я хочу видеть небо и солнце не сквозь эти решетки и стекла — и я увижу!

«Attalea» принялась расти...

Гаршин прямо назвал оранжерею тюрьмой. Он сказал о ее обитателях — «заключенные растения». Тюрьма остается тюрьмой, даже если она красива. Это особая, страшная красота. Красота железных

колонн и паутины железных рам. Красота кроваво-красных отблесков заходящего солнца на отшлифованной поверхности толстых стекол.

Трудно было не понять плохо скрытый смысл гаршинской сказки. Заключенные растения, которым тесно в оранжерее — их корни переплелись между собою и отнимают друг у друга влагу и пищу. Садовники — люди с ножами и топорами, — которые постоянно обрезают ветви, подвязывают проволокой листья, «чтобы они не могли расти, куда хотят». «Отличный ученый директор», который не допускает никакого беспорядка и считает, что если он сказал что-нибудь, «так нужно молчать и слушаться». Праздно болтающие, ожидающие подачек саговые пальмы, пузатые кактусы, растолстевшие цикады. И над всем этим устремившаяся к солнцу гордая пальма. «Я умру или освобожусь!» — провозглашает она. «Свобода или смерть» — кому не был знаком тогда этот девиз беззаветных борцов. Аллегория была слишком ясной.

Инженер-хищник Кудряшов построил свой аквариум, чтобы заявить: «Так устроен мир. Так должно быть. Это незыблемо». Писатель Гаршин создал свою оранжерею, чтобы сказать: «Так устроен мир. Так не должно быть. Тюрьму нужно сломать».

Звонкий удар — словно взрыв террористской бомбы. Лопнуло железо. Посыпались осколки толстых стекол. И один из них ударил по голове «ученого директора». Над стеклянным сводом гордо высилась выпрямившаяся зеленая корона пальмы.

...9 февраля 1879 года выстрелом из револьвера был убит харьковский губернатор князь Кропоткин. 12 марта состоялось покушение на нового (назначенного после Мезенцева) шефа жандармов Дрентельна, 2 апреля Александр Соловьев стрелял в царя.

Гаршин принес Салтыкову-Щедрину «Attalea princeps» 11 марта 1879 года.

Почти полгода Щедрин не давал ответа. Через полгода отказал. Он не считал себя вправе принять печальный финал гаршинской сказки. «Отечественные записки» не вступали в спор с мужественными героями революционного подполья.

...«Только-то?» — подумала пальма, вырвавшись на свободу. Была глубокая осень. Российская осень. Моросил мелкий дождик пополам со снегом. Низко над землей ползли серые клочковатые тучи. «И этого-то достигнуть было для меня высочайшей целью?»

В этом горестном «Только-то?» — поражение победившей пальмы. Она сделала все, что могла. Она могла слишком мало.

«Они проявили величайшее самопожертвование и своим героическим террористическим методом борьбы вызвали удивление всего мира, — писал Ленин о героях того времени. — Несомненно, эти жертвы пали не напрасно, несомненно, они способствовали — прямо или косвенно — последующему революционному воспитанию русского народа. Но своей непосредственной цели, пробуждения народной революции, они не достигли и не могли достигнуть» *.

Герои были рядом. Гаршин преклонялся перед ними. Он всегда верил, что нужно уметь страдать, жертвовать во имя общего дела. Но он видел, как скудна жатва. Жизнь говорила героям: «Не так». «Странные собратья», темно-зеленые сосны и ели, крепко стоявшие под порывами ветра, угрюмо смотрели на пальму. «Замерзнешь!.. Ты не знаешь, что такое мороз. Ты не умеешь терпеть».

Гаршин сложил гимн подвигу во имя свободы, гимн героям-борцам, которые мечтали о солнце и небе, жертвуя собой, ломали железные рамы тюрьмы. «Он не одобрял их методов, — писал Степняк-Кравчинский. — Но какой иной путь мог подсказать он им в борьбе с темною силой, подавляющей жизнь целой страны? Если они и не были правы, то разве не в десять тысяч раз более были не правы те, кто, не пошевельнув и пальцем, чтобы не скомпрометировать себя, наблюдал за их отчаянной борьбой».

Гаршин был убежден — нужно бороться. Гаршин чувствовал — нужен иной путь борьбы. Этого пути он не знал.

---

* *В. И. Ленин.* Сочинения, т. 23, стр. 235.



Подвиг Рябинина

«Убей их спокойствие..»

В. Гаршин

ХАРЬКОВ. 1879 ГОД. ВЕСНА

огода стояла великолепная. Чуть свет Гаршин был уже на улице. Быстро, почти бегом, обходил знакомых — стучал в окна, приотворял скрипучие двери, будил, тормошил, звал: «Пора, пора, рога трубят!» Потом мчался обратно домой, еще раз внимательно просматривал разложенный по сумкам, мешкам, корзинкам провиант (Всеволод был и организатором экскурсий, и кассиром, и интендантом), затягиваясь папиросой, нетерпеливо ходил из угла в угол, ожидая участников поездки. К пяти утра обычно все уже собирались. Отправлялись в Куряжский монастырь. Целый день бродили по лесу, катались на лодках, изобретали всевозможные игры, пели хором; в конце концов опаздывали на последний поезд и поздней ночью плелись в город пешком. Девять верст по плохой дороге. Уставали до изнеможения, клялись неделю не выходить из дому — отдыхать. Но проходил день, другой — Гаршин опять обегал многочисленных знакомых: студентов, офицеров, учителей, курсисток, раскрывал планы новых заманчивых экскурсий, собирал полтинники «на харчи». И снова стучал в двери, в оконные ставни, настойчиво звал: «Пора, пора, рога трубят!» Разбуженные суетливо одевались и шли следом за Гаршиным.

Прикатили в Харьков на этюды Миша Малышев и пейзажист Иосиф Крачковский. Привезли палитры,

кисти, краски — и целый короб новостей. Всеволод прямо с вокзала поехал с друзьями на Сбитневу дачу.

Заброшенный помещичий дом, снятый на лето приятелями Гаршиных, заполонила молодежь. Все чувствовали себя свободно, каждый делал, что хотел. Одни, точно древние охотники с копьями, настороженно вышагивали вокруг бильярда; другие толклись в зале — под дребезжанье старенького рояля разучивали к вечеру новые па; третьи беседовали, прохаживаясь по аллее под сенью вековых лип, — густые кроны деревьев спасали и от лучей солнца и от дождевых струй; четвертые в самодельных матросских костюмах отправлялись на реку; пятые играли в горелки или бегали взапуски; шестые сладко похрапывали на сеновале; седьмые, влюбленные, искали в парке укромные уголки — и находили их. У каждого было дело по душе!..

Художники поспели к ужину. Еще издали увидели — в темной синеве сыплет красными и золотыми искрами костер. Крачковский даже вскочил в пролетке: «Красота какая! Вот бы написать!» Всеволод шутливо толкнул его обратно на сиденье. «Здесь, брат, вдоволь попишешь. И места хороши, и бездельничать не позволим».

В большом котле, подвешенном над костром, варился ароматный кулеш. На всех! На поляне вокруг костра живописными группами расположились обитатели Сбитневой дачи. С тарелками, котелками, мисками...

Пролетка качнулась и встала.

— Гостей привез! — крикнул Гаршин, спрыгивая на землю. — Знакомьтесь, господа. Михаил Малышев. Иосиф Крачковский. Художники. Дамы могут заказывать свои портреты.

Все засмеялись, заговорили. Всеволод схватил две тарелки, наполнил дымящимся кулешом, торжественно поднес гостям:

— Так называемая «полевая каша». Единственное блюдо, изготовляемое и в несметных количествах

поедаемое на Сбитневой даче. Прошу любить и жаловать.

Художники охотно и весело схватились за ложки...

К огорчению влюбленных, Гаршин с Малышевым захватили самую потаенную скамейку в парке. Высокие кусты отгородили их от аллеи. Пахло свежей горьковатой кожицей, молодым листом.

— Всеволод Михайлович! Где вы? Пойдемте петь.

Ветви раздвинулись. Бледным пятном мелькнуло в темноте лицо Раечки Александровой.

— Увольте, Раиса Всеволодовна. Поищите уж на сегодня другого дирижера. Мне с Михаилом Егоровичем надобно поговорить...

Словно от легкого ветерка зашуршал кустарник — и все стихло.

— Вот как, — помолчав, произнес Малышев. — «Всеволод Михайлович», «Раиса Всеволодовна»... Что случилось?

— Оставь, Миша. Не хочу об этом. То и случилось, что должно было случиться... Я еще с прошлой весны чувствовал... Холод... Потом скорее понял, чем узнал, — обман!.. Для меня любовь — огромное что-то. Душевный капитал. А что я получил взамен? Обман! Да несколько хороших минут в счет процентов... И ведь просил-то немного — правды... Всего только правды.

Закончил, стараясь говорить спокойно:

— Я еще в феврале, из Петербурга, написал Раисе Всеволодовне, что дальше так нельзя. Теперь видишь — добрые приятели. Она свободна. Родители ее довольны: я сватаньем моим не угрожаю им. Другой найдется — и, конечно, не сочинитель, пишущий два рассказа в год, и к тому же особа с расстроенными нервами... Ну, будет об этом... Будет!

Снова помолчали.

— Ты говорил о «Софье», — напомнил Гаршин. — О репинской «Софье».

— Да, да, о «Софье». Стасов утверждает, что Репин не историк: напиши он хоть двадцать картин на исторические сюжеты — все, как одна, выйдут неудачными.

— Никогда не поверю! Да и «Софья», по-моему, превосходная вещь!

— Вот и напечатал бы о ней статью. Хоть маленькую. Каково сейчас Репину под критическим обстрелом!..

— Нет, Миша, не смогу. Я занят другим...

— Ярошенко «Слепцов» выставил. Хорошо. И Стасов похвалил Но после «Заключенного», после «Кочегара»...

— Я этого «Кочегара» в сердце ношу! Лучше он ничего не сделает.

— А сколько толков о Верещагине! Опять в Лондоне выставку устроил. Да огромную — чуть не двести работ. И какие-то потрясающие картины из минувшей войны.

— Я это должен видеть. Ради Верещагина стоило бы махнуть в Лондон.

— Зимой, говорят, выставка откроется в Петербурге. Ну, о ней-то придется тебе написать. Русско-турецкая война без Гаршина — парадокс!

— Напишу, Миша, напишу, если кончу другое. Я очень занят сейчас..

В тот вечер много было говорено — и все об искусстве, о дорогой сердцам живописи.

Миша не переставал сокрушаться:

— Художникам нужны твои статьи, Всеволод. А ты совсем охладел к критике.

— Я писатель. Критические статьи не мое дело. Имею ли я право судить?

— Не заставляй меня произносить хвалебные речи. Ты любишь искусство, понимаешь его. Ты обязан о нем писать!

Гаршин подумал, сказал тихо, с расстановкой:

— Я пишу, Миша. Но не статью — иное. Рассказ. Повесть. Не знаю даже, как назвать. Но там будет все, что я думаю об искусстве. И не только я. Все наши мысли, споры. Вся наша борьба...

БОЛЬШОЕ ИСКУССТВО И ГОСПОДИН С СИГАРОЙ

Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю .

Той весной Гаршин часто думал о «Пире во время чумы». Он бродил по лесу, ездил на Сбитневу дачу, катался на лодке, дирижировал хором, шутил, смешил других, смеялся сам, а потом оставался один, извлекал из небольшого портфеля густо исписанные, исчерканные листы бумаги — снова писал, перечеркивал, рвал... И спрашивал себя: «Зачем?» Зачем он пишет? Зачем пишет именно так, как пишет? Жгучий, давно наболевший вопрос!

«Вопрос «зачем» до такой степени овладел моим существом, что ни за что, не дающее непосредственных результатов, я не рискну взяться». Какие же результаты приносит его творчество? Нужно ли такое творчество? Кому? Правилен ли путь? И каким путем идти? Гаршин искал ответов. И не он один. В ту весну вместе с ним над решением «проклятых» вопросов начал биться его новый герой — художник Рябинин.

О переписке с Крамским почти никто не знал.

А было так.

В пустыне на большом камне сидел человек и думал. Долго, мучительно, напряженно. Был тот человек один — только он, его думы, его совесть. В пустыне нет проторенных дорог — каждый выбирает свой путь. Усталого, не похожего на бога человека звали Иисус Христос. Он избрал трудный путь подвига и служения людям.

У картины Крамского останавливались надолго. Часами всматривались в лицо уставшего от нелегких дум человека. И не видели бога тысячелетней легенды — видели товарища, современника, спрашивали себя: «Ну, а я? Каким путем я пойду?..»

И был день. Двое сидели друг против друга. Один — на холсте в пустыне. Другой — в переполненном людьми зале. И было что-то общее в их

позе, в лице, в грустных, внимательных глазах. Пришедший с войны Гаршин думал перед полотном Крамского о жизни. Он тоже искал свой путь.

Вернувшись домой, Гаршин написал художнику. Он рассказал Крамскому, что увидел в его Христе. Он открыл в нем человека, который решился на борьбу со злом. «Те черты, которые Вы придали своему созданию, — писал Гаршин, — по-моему, вовсе не служат к возбуждению жалости к «страдальцу»... Нет, меня они сразу поразили, как выражение громадной нравственной силы, ненависти ко злу, совершенной решимости бороться с ним. Он поглощен своею наступающею деятельностью, он перебирает в голове все, что он скажет презренному и несчастному люду, от которого он ушел в пустыню подумать на свободе; он сейчас же взял бы связку веревок и погнал из храма бесстыдных торгашей. А страдание теперь до него не касается: оно так мало, так ничтожно в сравнении с тем, что у него теперь в груди, что и мысль о нем не приходит Иисусу в голову».

Иные критики и авторы воспоминаний, которым колола глаза правда гаршинского слова, которым не по себе становилось от силы гаршинского обличения, любили сравнивать писателя с Христом — с эдаким заплаканным Христом-непротивленцем. Они передергивали. Человеколюбие Гаршина изображали как пассивное состраданьице. Обостренное чувство справедливости — как безысходную жертвенность «печальника». Сомнения и поиски — как слезливую издерганность нервнобольного. А сам Гаршин даже в мифическом Христе хотел видеть и решимость, и нравственную силу, и жажду борьбы со злом. Гаршин избрал свой путь.

Гаршин не поставил своего имени под письмом Крамскому. И все же художник ответил безыменному корреспонденту. Этот ответ Гаршин назвал «искреннею и задушевною статьею», «историческим памятником». Крамской рассказал о том, как создавалась картина. Есть два вида художников, писал он. Одни добросовестно и точно воспроизводят то,

что видят. Другие стремятся отобразить в своих творениях глубокие мысли и чувства, которые рождают в них явления жизни. «Я, вероятно, принадлежу к последним», — писал Крамской. В сердце, в голове пылал, требовал решения важный, необыкновенно важный вопрос: «Пойти ли направо или налево?» И все колебания, раздумья, симпатии и антипатии выплеснулись однажды на полотно в виде вот этого сидящего посреди бесплодной пустыни Христа. И тем была хоть отчасти удовлетворена «страшная потребность рассказать другим то, что я думаю...»

Среди бумаг в небольшом портфеле хранилось не только письмо Крамского. Всякий раз с улыбкой просматривал Гаршин давние стихи — еще гимназические — о выставке Верещагина. Не мог удержаться — кое-что подправлял карандашиком в юношеских неокрепших строчках. И удивлялся: емкие стихи. Он вспоминал их, когда писал «Четыре дня» и «Труса»; и вот теперь снова вспомнил. В них уже сидел тот образ, что не давал ему покоя все эти годы: нарядная толпа, которая ищет в искусстве «натуральных» копий и не желает замечать закованных в краске людских воплей.

Гаршин извлек из портфеля потертую на сгибах газету «Новости» от 12 марта 1877 года. В ней и была напечатана его первая рецензия. Она называлась «Вторая выставка Общества выставок художественных произведений».

Общество выставок задумали как удар по Товариществу передвижников. Обществом хотели расколоть Товарищество, опровергнуть, прибрать к рукам. Разделить и властвовать. Передвижники отказались сливаться с Обществом. Почти полтора десятилетия прошло со времени «бунта» в Академии, но борьба продолжалась. «Бунтари» победили темой, рисунком, кистью. На новый путь повернули искусство и пошли впереди. Академия втыкала в колеса палки косных установлений, хватала за ноги, пыталась не пущать. Общество выставок было детищем Академии. В ре-

чах декларировалась «свобода творчества», а в проекте устава твердо говорилось, что Академия «не допустит, чтобы общество, находящееся в связи с нею, было иного направления».

«Иное направление» — это передвижничество. Общество выставок и Товарищество — два взгляда на жизнь и искусство, два направления. В их противоположности, в их борьбе заложены были пути русского искусства. «Между ними существует известный антагонизм, — писал Стасов, — и я одного только боюсь, чтобы они как-нибудь не слились или чтобы одно не задавило другое»; ибо у них «такая разница в направлении и целях, что поглощение одного из них другим было бы сущим вредом».

...Гаршин старался ступать потише. Шаги гулко разносились по немноголюдным залам. Аккуратные картинки в аккуратных золоченых рамах скользили мимо души. Миленькие пейзажики, очаровательные портретики и добропорядочные жанрики для гостиных. Отдохновение для сытых глаз.

Чистенькие пейзажи г. Мещерского — «все точно будто вымыто: вымыты скалы, вымыто небо, вымыта вода, искусно приготовленная из цветного стекла»; выделяющиеся «редкою прилизанностью и полнейшим отсутствием правды в тонах» «виды» г. Горавского; дорогостоящая эффектная дешевка модного Клевера. Маститый Айвазовский в картине «Льдины на Неве» вдруг изобразил на одной из ледяных глыб забытый мужиками-ледоколами пустой штоф и рукавицу. Ну, чем не тема для обсуждения деятелям Энского земского собрания?! «Как обрадуются гг. Бланк, Лоде и прочие землевладельцы, полагающие причины всех зол в России в пьянстве и небрежности русского человека, видя эту картину знаменитого маэстро!..»

...Мимо души! Мимо души! Покрытые лаком картинки, осторожненькие — только бы не изумить, не вызвать ни гнева, ни слез, не поранить память. Пустые картинки, написанные ни для чего.

«Жиденькие, плохонькие, серенькие выжимки», — отозвался Стасов о первой выставке Общества.

«Грустная выставка, бедное Общество», — отозвался о второй выставке Гаршин.

Он вспоминал — на выставке передвижников картин было вчетверо меньше. Но это были «Семейный раздел» Максимова и «Сумерки» Ярошенко, «С квартиры на квартиру» Васнецова и «Получение пенсии» Владимира Маковского, портреты кисти Крамского и Ге, «Чернолесье» Шишкина и «Украинская ночь» Куинджи. Какое «свежее, отрадное впечатление произвела эта выставка, крохотная, но составленная из образцовых произведений!»

Различие идей видится подчас особенно ярко на примере отступничества. Был художник Якоби — стал один из основателей Общества выставок г. Якоби. Был «Привал арестантов» — стал «Портрет г-жи Розинской с дочерью». И этим сказано все — две выставки, два направления, два взгляда на жизнь и искусство. «Как ухитрился художник так переделать свои симпатии, свои стремления, свой внутренний склад! — писал Гаршин в статье о второй выставке Общества. — Темное, пасмурное небо, дождь, слякоть — и уютная гостиная с экзотическими растениями! Мокрый верстовой столб, мокрые повозки, с колесами, до ступиц покрытыми грязью, — и роскошное кресло, в котором так удобно расположиться покейфовать после обеда! Измученные лица арестантов, бледное и холодное лицо покойника, которому бесчувственный конвойный из какого-то странного любопытства задирает пальцем глаза, — и резкая, улыбающаяся группа изящной, или, по крайней мере, долженствующей быть такою, аристократической матери и ребенка в белом хорошеньком платьице».

Мнения и вкусы студента Всеволода Гаршина, завсегдатая «пятниц», были совершенно противоположны вкусам и мнениям господина А. Л., рецензента из «Санкт-Петербургских ведомостей». Господину А. Л. нравились «вымытые» пейзажи, его радовали «прилизанные виды», ему казалось, что «розовая водица» «не имеет себе равных». И если на студента Гаршина свежее и отрадное впечатле-

ние произвели творения Максимова, Ярошенко и Маковского, то господина А. Л. из «Санкт-Петербургских ведомостей» приятно успокоила, в свою очередь, пустота отлакированных полотен Общества выставок, ибо не нашел он в них ни сатиры, ни обличения, «бывшего в такой моде и столь оскорблявшего чувства и души зрителей».

Два направления, две армии художников, две группы критиков. Гаршин занял место в строю.

Эти люди были виновны только в том, что не признавали бога, которому поклонялся император и приближенные его, в том, что верили своему богу, хотели счастья всем и не желали свернуть с избранного пути. Эти люди были невиновны.

Невиновных казнили публично.

Прибыл цезарь — одутловатый пресыщенный безумец, сжигающий заживо людей. И с ним толпа льстецов — «разделяющая забавы этого безумца, льстивая, презренная толпа». Сенатор с пошлым жирным лицом, который «скотски равнодушно смотрит на начинающуюся казнь». Философ, прославляющий цезаря за его «мудрую предусмотрительность и строгое правосудие» (где ему, бедному, иметь свое собственное мнение, когда за это самое «собственное мнение» и попадают на эшафот).

Обыватели всех сословий — тупые, безразличные. Им не до казни. Им до угощения. Они жрут, пьют, развратничают. Они не слышат голоса страдающих. Слишком громко свистит флейта! Слишком звонко бренчит бубен!

И сочувствующие. Они сочувствуют тем, кого должны убить, но приходят на казнь — отсутствие может быть замечено. Они жалеют несчастных, но боятся выказать жалость.

Приговоренные к смерти. Старик с кротким детским выражением лица — как не похож он на поджигателя и преступника! Молоденькая девушка — как не похожа она на подрывательницу государственного строя! Одно слово отречения освободит их;

но они не отрекаются. Они умирают молча... Как герои... Быть может, хоть в минуту их смерти «дрогнут сердца бесчеловечной толпы, смутится она и только разве в пьяной и развратной оргии забудет совершенное ее повелителем и одобренное ею преступление...».

Это не подпольный памфлет, не революционная публицистика. Это сделанный Гаршиным разбор картины политически благонадежнейшего и вполне ретроградного г. Семирадского «Светочи христианства».

Семирадского, о котором художник-передвижник Максимов говорил: «Красивые краски, ловкое умение держать кисть и мазать ею — вот и все его достоинства». Семирадского, творчество которого критик Прахов охарактеризовал: «внутренняя пустота и холодность». Да еще разбор картины, которая, по словам Крамского, «не трогает сердца».

Можно представить себе, как широко раскрыл от изумления серые холодные глаза г. Семирадский, читая в «Новостях» от 16 марта 1877 года статью Гаршина. Надо же! Вместо привычного разбора — целый этюд; опасный этюд — с тупым императором, придворными льстецами, героями на эшафоте. Но что всего обиднее — рецензент с охотой (и весьма вольно!) пересказывает сюжет и так мало говорит о нем, о Семирадском. Если же говорит, то все больше неприятности: «пестрая путаница», «утомительно», «ошибочность освещения», «небрежно написанное лицо», «слабость правой части картины». Что за разбор такой! Господин Семирадский впервые встречал такой разбор!

Слишком холодные, слишком далекие, слишком красивые полотна Семирадского не желали участвовать в борьбе. Но приходившие на выставку посетители «гаршинской закваски» открывали в «пестрой путанице мраморов и человеческих фигур» близкий их сердцам и современно звучавший рассказ о расправе деспотизма с борцами за справедливость.

Семирадский и не предполагал, что изобразил в своих «Светочах христианства» все то большое и значительное, что разглядел в них Гаршин. Да он

и не изображал этого. Художники живут во Времени, и Время без спроса является в их мастерские. На картине Семирадского Гаршин увидел образы, которые смелой кистью написало Время.

В сердце жил ненавистный образ: состоятельный господин, отлично пообедав, устроился поудобнее в кресле и закурил дорогую сигару. В эту минуту — между ананасом и чашечкой кофе — ему захотелось... искусства. Какого-нибудь эдакого, способствующего пищеварению. Чтобы радовало глаз и скользило мимо души. Чтобы взглянуть, помычать удовлетворенно — и отвернуться. Хороши на этот случай «премилые», невинные пейзажи — всевозможные «Зимние дни», «Весенние вечера», «Летние утра». Ничего оригинального — ни места, ни действия, ни времени. Пейзажи-космополиты.

Такие пейзажи в изобилии «работал» Клевер. «Творил» безостановочно: заказы сыпались.

Клевер был для Гаршина лицом почти нарицательным. Кудряшовым в живописи. Тем, кто в угоду неучу с мошной торговал искусством.

Наступление на Клевера Гаршин повел в первой же критической статье. Он заявил, что не может причислить модного живописца к русским художникам. Генеральный бой Клеверу он дал за неделю до того, как надел солдатскую шинель и ушел на войну. Статья «Конкурс на постоянной выставке художественных произведений» была опубликована в «Новостях» 7 апреля 1877 года. Эта статья — обвинительное слово против Клевера, против клеверов.

Написать картину, чтобы получить 250 рублей, — вот цель. Написать картину, чтобы она поскорее была куплена, — вот мысль клевероподобных художников.

Невинные пейзажи, премилые вещицы; но смотришь на эти «приятности» «с неприятным чувством». Кажется, что картина «вышла не из рук художника-поэта, каким должен быть всякий художник, а с какой-то фабрики стенных украшений». И тут решительный вопрос: для кого такое искусство? Оживает враждебный образ «господина с сигарой»: «Отлично повесить такую вещь на стену в гостиной и после обеда полюбоваться ею, сидя в креслах, куря сигару и утешая себя тем, что вот, дескать, «Клевера картина у меня висит. Было бы больше денег, купил бы еще и Айвазовского вещицу, да не хватает. Впрочем, и Клевер тоже в моде».

Саркастическое напутствие: «И пишите, г. Клевер, ваши вещи так, чтобы *они* были «миленькие». Пишите повкуснее, поярче, покрасивее, украшайте природу, как умеете. Делайте, словом, так, чтобы, останавливаясь перед вашей вещью, изящные барышни непременно произносили бы «Ah! C'est joli», — и дело в шляпе».

«Ah! C'est joli», — пришедший в статью из юношеского стихотворения ненавистный возглас нарядной толпы, искавшей в полотнах Верещагина то, что она находила у Клевера.

И убежденное предсказание: «Вы вполне обратитесь в фабриканта стенных украшений, г. Клевер!..»

Два года спустя этот сатирический образ живописно развил Стасов: «Про г. Клевера одно только можно сказать, что его талант (впрочем, небольшой) остановился на точке замерзания и работает теперь словно вал типографский с навороченным на него стереотипным набором...»

Нет, Гаршин не против пейзажа! Добро и заботливо говорит он о картине Крачковского, ибо увидел в ней горячую любовь к природе, *уважение* к природе, «которое не позволяет художнику выхватывать из нее одни эффекты для эффектных пейзажей». Такую работу не купят для украшения модной гостиной, и это хорошо — Крачковский на пути к большому искусству, искусству Шишкина, Клодта, Куинджи.

Нет, Гаршин не против пейзажа! Он против бессодержательности и в пейзаже и в жанре. Его огорчила никчемная бытовая сценка, добросовестно перенесенная на полотно талантливым художником

Кившенко. Картина поверхностна, бедна. Она не вызывает отклика в уме, в сердце зрителя.

Гаршин в тревоге: молодые художники подчас оторваны от родной почвы, мало знакомы с русской жизнью. Им трудно из-за этого «сродниться с сюжетом русским, родным, прочувствовать его». А это необходимо — сродниться, прочувствовать. Большая идея в искусстве рождается от чуткого сердца. Чуткое сердце ответит на вопрос «для кого?».

Это было позже, много позже. В ночь под Новый — тысяча восемьсот восемьдесят четвертый — год.

Антон Рубинштейн играл на вечере у поэта Полонского.

«Музыка сердца», — говорили о его игре. И сам Рубинштейн был прекрасен. Тяжелый лоб мыслителя и одухотворенные, тонкие черты артиста.

Гаршин слушал. Это были счастливейшие минуты. Минуты, когда чувствуешь, как растут крылья, — стоит только взмахнуть ими, и улетишь далеко-далеко.

Гаршин очнулся от шарканья ног. Важный чиновный старик позже других выполз из столовой и пробирался к свободному креслу, прямо напротив рояля.

Рубинштейн продолжал играть.

Старик тяжело плюхнулся в мягкие подушки. Отдуваясь, пристально уставился на пианиста. Отвисшие щеки сползали на воротник мундира. Тонкие бескровные губы были плотно сжаты. Тусклые глаза смотрели холодно, настороженно.

«Жаба!» — с неприязнью подумал Гаршин.

Рубинштейн продолжал играть.

Очарованье музыки погасло.

Ненавистный образ господина с сигарой обернулся пресыщенной жабой. Старая жаба, вдоволь насытившись червяками да мошками, уселась отдыхать. И тут ей захотелось... искусства. Жаба заметила прекрасную розу.

— Это для меня! — решила жаба. И прохрипела цветку: — Постой, я тебя слопаю!

Но роза была по-настоящему прекрасной розой — не поделкой для утоления голода безобразных пресыщенных жаб. Розу срезали, и она своею красотою, нежным запахом скрасила последние минуты умиравшего мальчика.

Так слагалась сказка.

Рубинштейн играл, играл.

И снова музыка заполнила все существо. И снова казалось, что крылья выросли. Хотелось лететь.

А сановный старикашка? Его Гаршин просто перестал замечать. Было не до него. Так девушка, пришедшая в сад, чтобы срезать прекрасную розу, отшвырнула жабу носком башмака.

В ту ночь родилась гаршинская сказка «О жабе и розе».

Маленькая сказка. Не решение проблемы. Кусочек настроения.

Печальная сказка. И все же бодрая. Жаба не слопала розу. Не для безобразных жаб расцветают сады. У прекрасных цветов иное назначение...

Один из тогдашних критиков, прочитав сказку, поморщился: «Уж нет ли тут намека на то, что поэзия должна утолять несчастных, а не пресыщенных?»

В сказке не было «намеков». Там все было прямо сказано.

Между первой статьей (об Обществе выставок) и статьей об Академии художеств лежал самый главный в жизни Гаршина 1877 год. Гаршинский отчет о выставке учеников Академии появился в конце декабря этого года. Две страстные статьи критика-передвижника. Но автор первой из них — юноша, горячий, запальчивый, иронический. Автор второй — встревоженный и возмущенный солдат, вернувшийся с войны.

Люди гибли на поле боя, корчились от чахотки в каменных мешках тюремных камер, протягивали ноги от непосильного труда, помирали с голоду.

Господа профессора Академии знать об этом не желали. Зато они хорошо помнили, что во время óно Каин убил Авеля. И программную тему сформулировали так: «Адам и Ева при виде убитого Авеля». Другая тема тоже не дышала злободневностью: навязший в зубах «Брак в Канне Галилейской».

Академик Бруни назвал репинских «Бурлаков» «величайшей профанацией искусства». «Вы, небось, думаете, — писал Репину Крамской, — что Бруни это Федор Антоныч, старец? Как бы не так, он из всех щелей вылезает, он превращается в ребенка, в юношу, в Семирадского..., ему имя легион! Что нужно делать? Его еще нужно молотом! Он опять за свое... Еще нужно картину, только еще более глубокой профанации... И так, без конца, борьба!»

Набросанные с одних и тех же манекенов или натурщиков, наспех и с отвращением «скомпонованные» апостолы, Каины, пастухи, египетские придворные, Вероники, русские бояре («весь программный штат Академии художеств»!) да небрежно замазанные фоны — вот характерный облик «казенных академических работ». Обрушиваясь на них, Гаршин винит за неудачи не учеников-конкурентов, а «почтенных профессоров». Это они измышляют и навязывают молодым художникам далекие от жизни, не трогающие ни ума, ни сердца темы. Это они стремятся обезличить каждого художника, лишить его свободы творчества. Это они мешают развиваться искусству.

Гаршин рассмотрел также работы архитектурного класса Академии. О, в отличие от своих коллег-живописцев господа профессора архитектуры задали ученикам тему «самую современную» — «Проект увеселительного заведения близ столицы» с рестораном, бильярдными, зимним садом и отдельными «номерами». На редкость своеобразно понятая «современность»!

— Здание для народных аудиторий, приют для искалеченных в настоящую войну, здание для всемирной выставки — разве это не темы? И вместо того — увеселительное заведение!

«Время ли веселиться, господа!» — бросает «почтенным» профессорам раненый солдат Гаршин.

Человек забрался в котел, вставил стержень заклепки в отверстие, головку крепко зажал клещами и изо всех сил навалился на них грудью. Другой человек — снаружи — взмахнул тяжелым пудовым молотом и принялся колотить им по заклепке. Так клепали котлы.

Однажды Гаршин читал об этом в «Отечественных записках». В действительности все было куда страшнее, чем в книге.

Человек в котле корчился, извивался в поисках опоры. Искаженное от неимоверного напряжения лицо, вытаращенные глаза, судорожно раскрытый рот. Таких рабочих называли глухарями: они глохли в котлах.

«Бамм! Бамм! Бамм!» — глухо раскатывались удары. Гаршину казалось, он слышит, как трещит человеческая грудь.

...Кочегар стоял у печи в темной, мрачной котельной. Печь дышала тяжелым жаром. В красных отблесках пламени кочегар казался выкованным из раскаленного металла.

Гаршин был один в ярошенковской мастерской. Стоял против «Кочегара», слегка облокотясь на спинку кресла-качалки. В это кресло никто не садился. В этом кресле провел последние годы и умер Некрасов.

У Гаршина голова гудела. В ушах гулко раскатывались удары молота. И все время перед глазами — тот, скрюченный в котле. Глухарь...

Гаршин как-то попросил Ярошенко: «Теперь напишите Глухаря. Согнутого в три погибели, подставляющего грудь под удары». Ярошенко отказался деликатно. Он не хочет писать согнутого. Его Кочегар прям и монументален. Рабочий — не только жертва и страдание. Рабочий — это труд: жажда труда

и умение трудиться. Рабочий — это сила великая. У Кочегара раздавленная тяжкой работой грудь, голова, вбитая в плечи, а попробуй согни его!

Да, такого Кочегара в русской живописи еще не было. Он тревожил, приковывал к себе, хватал зрителя за грудки мощными жилистыми руками.

Но существовал и Глухарь. Он корчился в котле, умирал под ударами. Он ужасал, бил по сердцу, преследовал. И надо было написать Глухаря. Очень надо!

Это стало ясной уверенностью. Только кто-то, копошащийся в мозгу, все покалывал острой иголочкой: «Зачем?»

Люди обязаны отдавать долги. Господину с сигарой никто не должен. Все должны тем,

Чьи работают грубые руки,
Предоставив почтительно нам
Погружаться в искусства,
в науки,
Предаваться мечтам и страстям.

Очень трудно отдать этот долг. Но отдавать его необходимо. Поэтому Ярошенко написал своего «Кочегара». И стоящего рядом «Заключенного», удивительно похожего на Глеба Ивановича Успенского. Поэтому и сам Глеб Иванович создает свои потрясающие очерки — «исследованиями» называет их Гаршин. Поэтому и он, Гаршин, не может молчать.

Стемнело. Гаршин тихо вышел из мастерской. Некрасовское кресло покачивалось, словно поэт только что поднялся с него.

БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Борцы были в жизни, борцы были в литературе. Едва ли не самый идеальный литературный герой-борец — Рахметов Чернышевского. Рядом с ним, сразу же следом за ним Горький поставил гаршинского Рябинина.

...Спорили два человека. Да нет, не спорили — боролись. Они писали картины.

«Художники» — рассказ-полемика. Это два образа мыслей, мыслей о жизни вообще и о жизни в искусстве, об искусстве. Выбор темы, ее воплощение, назначение искусства — вот предмет полемики. Два человека, связанных внешними обстоятельствами и разделенных непроходимой пропастью мировоззрения, рассказывают о себе и друг о друге. «Художники» — это столкновение двух исповедей.

Но и Гаршин не стоит созерцателем в сторонке: пусть-де герои все выскажут сами. Он не умел не вмешиваться в борьбу. Он открыто говорит «ДА» одному герою и «НЕТ» другому.

Никакой предыстории. Никакой подготовки. Оба героя сразу даются «в деле».

Дедов пишет яличника на Неве. Пишет потому, что «солнце так эффектно играло на его лице и на красной рубахе». Яличник мешает Дедову: он без устали работает веслами. Дедов не хочет писать работу. Пропадают эффекты. Он требует.

— Перестань грести. Сядь так, *будто* весла заносишь.

Яличник «замер в прекрасной позе». Но ему трудно *будто работать*. Без дела он устает. Так же, как изнемогал от безделья денщик Никита. Яличник зевает и утирает рукавом лицо. В итоге пропадают эффектные складки рубахи.

Дедов злится:

— Сиди, братец, смирнее! Терпеть не могу, когда натура шевелится...

Рябинин пишет натурщика в классе. Ему скучно «мазать» стоящего в натянутой, «очень классической позе» натурщика. Он сам устает от этой бесцельно и машинально переносимой на холст неподвижности.

Момент убивания жизни, превращения куска жизни в неподвижную эффектную «натуру» — вот творческий толчок для Дедова. Для Рябинина в этом крушение творчества. Ибо искусство для него — оживление куска жизни, оплодотворение его своими мыслями, чувствами, ответ на вопрос «Зачем?».

Есть два типа художников, говорил Крамской. Одни добросовестно воспроизводят явления жизни;

другие «формулируют свои симпатии и антипатии, крепко осевшие на дно человеческого сердца, под впечатлениями жизни и опыта».

Из яличника вышел «прекрасный этюд» («очень красивы эти горячие тоны освещенного заходящим солнцем кумача»), и Дедов «возвратился домой совершенно счастливым».

Рябинин несчастен, когда пишет натурщика. Ему мало сделать «лучший этюд». Ему необходимо уверовать в «хорошее влияние хорошей картины на человека». Он ищет общественного воздействия искусства.

Дедов тоже решает вопрос «Зачем?» Но для него это не вопрос, а вопросик — ясный, не жгучий. «Удивительными мне кажутся эти люди, не могущие найти полного удовлетворения в искусстве», — говорит Дедов. На вопрос «Зачем?» он отвечает: «Чтобы удовлетворить себя».

Поэтому для Дедова искусство — «любимое занятие». Для Рябинина — «деятельность».

Для Дедова «любимое занятие» — это работа на благо себе. Для Рябинина «деятельность» — работа на благо другим.

И снова вопрос «Зачем?» сплетается с вопросом «Для кого?».

— Зачем картины? — спрашивает Дедова яличник.

«Конечно, я не стал читать ему лекции о значении искусства, а только сказал, что за эти картины платят хорошие деньги», — сообщает Дедов. Он проговорился. Ему казалось, что высоких слов об искусстве народ не поймет, и он выболтал то, что сам пытался прикрыть высокими словами.

Дедов находил *«полное* удовлетворение» в искусстве. Удовлетворение, между прочим, выражалось и в рублях. «Дешевле 300 не отдам. Давали уже 250. Я такого мнения, что никогда не следует отступать от раз назначенной цены. Это доставляет уважение. А теперь тем более не уступлю, что картина, наверно, продастся; сюжет — из ходких и симпатичный: зима, закат; черные стволы на первом плане резко выделяются на красном зареве. Так пишет К., и как они

идут у него! В одну эту зиму, говорят, до двадцати тысяч заработал. Недурно! Жить можно. Не понимаю, как это ухитряются бедствовать некоторые художники. Вот у К. ни один холстик даром не пропадает: все продается. Нужно только прямее относиться к делу: пока ты пишешь картину — ты художник, творец; написана она — ты торгаш; и чем ловче ты будешь вести дело, тем лучше. Публика часто тоже норовит надуть нашего брата». Художник кончился. Заговорил купец. Лексику «жреца искусства» сменила лексика лавочника. Да и был ли художник-то?!

По профессии Дедов — инженер. Но на этом поприще не преуспел. «Не преуспел», то есть не выбился в кудряшовы. В живописи Дедов наверстывает упущенное: не сегодня-завтра он «инженер первой категории» в искусстве.

И над Рябининым вопрос: «Для кого?». Но не сиянием золотого тельца. Стальным сверканием топора. Страшным призраком появляется образ «господина с сигарой» — «разбогатевшего желудка на ногах, который не спеша подойдет к моей пережитой, выстраданной, дорогой картине, писанной не кистью и красками, а нервами и кровью, пробурчит: «Мм... ничего себе», сунет руку в оттопырившийся карман, бросит мне несколько сот рублей и унесет ее от меня. Унесет вместе с волнением, с бессонными ночами, с огорчениями и радостями, с обольщениями и разочарованиями».

Два направления в искусстве — два ответа на жгучий вопрос.

Дедов создает искусство для «господина с сигарой». У Рябинина «господин с сигарой» отбирает его искусство.

Два направления — два выбора тем.

Дедов осуждает Рябинина за «его пристрастие к так называемым реальным сюжетам: пишет лапти, онучи и полушубки, как будто бы мы не довольно насмотрелись на них в натуре».

Рябинин с усмешкой говорит о «творчестве» Дедова: «...Он пишет и пишет... без устали компонует

закаты, восходы, полдни, начала и концы дождя, зимы, весны и прочее».

«Мужичья полоса в искусстве» с репинскими «Бурлаками» во главе — вот где сам Дедов отводит место Рябинину.

И сам же определяет свой идеал: «Так пишет К.». «Клевер!» — расшифровывает далее Гаршин. И даже «ходкий и симпатичный» дедовский сюжет — «зима, закат; черные стволы на первом плане резко выделяются на красном зареве» — точно взят с того самого клеверовского «вала типографского с навороченным на него стереотипным набором», о котором Стасов писал: «все одно и то же, черное дерево без листьев, растопырившее голые сучья, из-за него красный, как кастрюля, горизонт...»

Репин и Клевер! Два направления — два вождя.

И два ведущих критика. Они, как Репин и Клевер, тоже названы открыто.

Один — В. С., Владимир Стасов, — тот, что угадывает в Рябинине будущего «нашего корифея». Другой — А. Л., Александр Л. — ну, конечно же, Александр Ледаков из «Санкт-Петербургских ведомостей», который не терпит, чтобы искусство служило «низким идеям», и так «тонко понимает» не содержащие мыслей пейзажики Дедова *.

Ярый враг передвижников А. Л. именовал Стасова «вождем вреднейшего направления в искусстве».

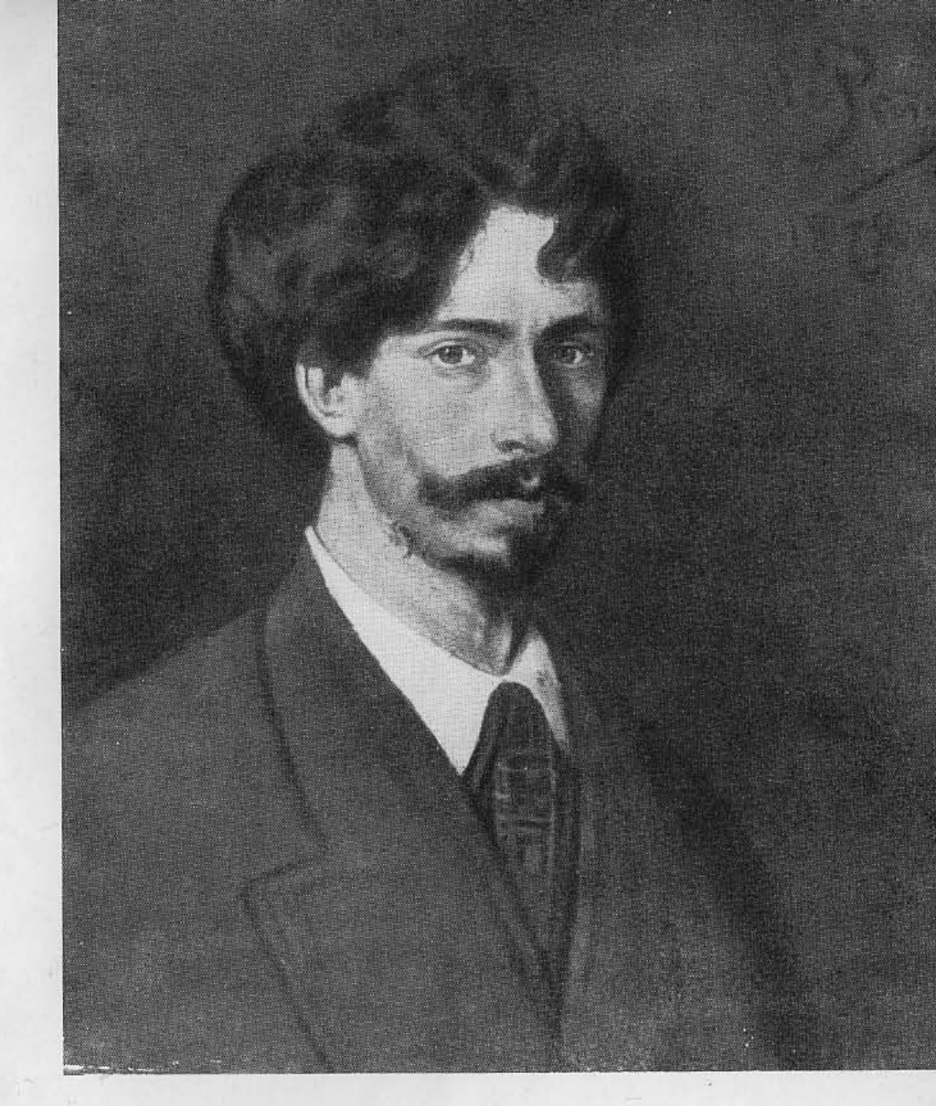
И это говорилось в те дни, когда на славной ше-

* Литературовед В. С. Белькинд предполагает, что фамилия Дедов произведена по созвучию с одним из псевдонимов Ледакова — «Ле-дов» (см. «Ученые записки Великолукского госпединститута», 1954, ч. 1).

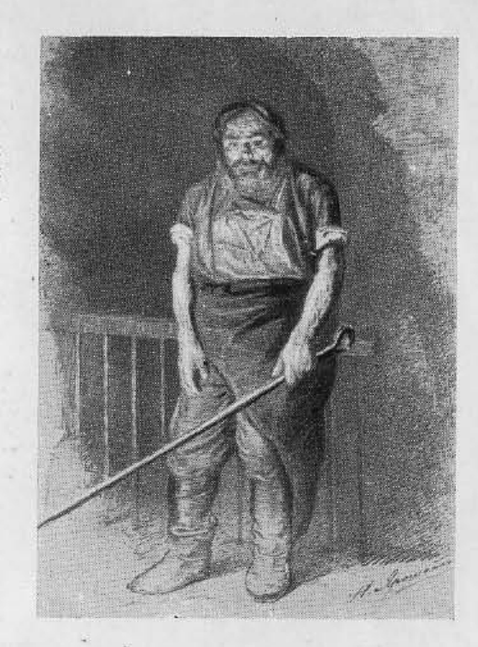
Фамилия другого героя также наводит на любопытные размышления. Во второй половине 1878 — начале 1879 года в Петербург приехал харьковский революционер Федор Алексеевич Рябинин. Он был близок с П. М. Новиковым, хорошим знакомым Гаршина, также прибывшим из Харькова в столицу и поселившимся у писателя.

25 февраля 1879 года Рябинин был арестован в Петербурге. Вскоре за связь с ним арестовали и Новикова.

Революционер Федор Алексеевич Рябинин и художник Василий Алексеевич Рябинин — совпадение слишком очевидное!



И. Е. Репин. Автопортрет. *1878 г.*



Н. А. Ярошенко. «Кочегар». *Рисунок сделан художником с картины для сборника «Памяти Гаршина».*



И. Е. Репин. «Рябинин и Дедов». *Рисунок к рассказу.*

стой передвижной выставке предстали перед зрителями «Протодиакон» Репина, «Встреча иконы» Савицкого, «Кочегар» Ярошенко.

Стасов считал Ледакова тормозом нового русского искусства, который «посредственные картинки» ценил выше «совершеннейших и глубочайших созданий» Репина, Крамского, Ярошенко, Васнецова; господином, который «с унизительным, рабским почтением указывал на Европу и ее художественные мнения «на общечеловеческом рынке, вдали от наших кислых щей».

Репин и Клевер, Стасов и Ледаков, коверкающий русский язык почтенный академический профессор Н. (фон Нефф, еще в статьях высмеянный Гаршиным), натурщик Тарас, упоминаемый в репинском «Далеком близком», — все эти реальные, насыщенные для нас, а тем более для современников большим жизненным содержанием имена смело вписаны в рассказ, придают ему вескую, убедительную документальность. Тому же служат размышления, суждения, оценки, взятые прямо из гаршинских статей о живописи или перекликающиеся с полемикой в тогдашней критике.

От этого «Художники» не стали «документальным рассказом». Но сделались художественным документом эпохи. Эпохи, когда в борьбе крепло и утверждало себя великое русское искусство.

...Два полюса, лед и пламень, черное и белое — вот Дедов и Рябинин.

Тонкий, тактичный Гаршин в борьбе не хочет примирения, не ищет компромиссов, оттенков, полутонов.

Рябинин — человек «гаршинской закваски», человек чуткой совести и высокой справедливости, для которого творить — значит создать целый мир и отдать его людям.

Дедов — эгоист, торгаш, лицемер, предатель (он пьет с Рябининым на брудершафт и просит А. Л. «прокатить» в статейке рябининскую картину), клевероподобный фабрикант стенных украшений. Творить для него — значит выхватить из мира и взять себе.

Два полюса. Два антагониста. Но Рябинин и Дедов не исключительны. Они типичны. Типичны именно потому, что «Художники» — рассказ-документ. Рядом с Рябининым — Репин и Стасов. Рядом с Дедовым — Ледаков и Клевер. Две армии — два направления в искусстве. Борьба идет по всему фронту. «Художники» — лишь один участок фронта. На нем два солдата — Рябинин и Дедов. Уже закончена разведка, все известно друг о друге. Уже заряжены ружья. Уже палец положен на курок.

И выстрел грянул — Глухарь!..

Человек забрался в котел, зажал заклепку клещами и навалился на них грудью. Другой человек — снаружи — принялся колотить по заклепке пудовым молотом. Так клепали котлы.

Они увидели Глухаря одновременно. Но инженер Дедов знал о нем и прежде. Убежав в искусство, он радовался, что разделался навсегда с тяжелыми впечатлениями от «всех этих заводов». Укрывшись в искусстве, он запер накрепко все двери, чтобы не впустить Глухаря, чтобы «грязной рожей» не омрачить взора, чтобы безмятежно любоваться сероватым, «тонко́м» тихого облачка. Создать из искусства узкий мирок, отгородиться от большого мира с его бедами, радостями, тревогами, мирок, где даже работа с ее тяжелым дыханием и соленым по́том превращается в «будто работу», мертвую «прекрасную позу», — вот ради чего боролся Дедов. По-своему боролся: обличал («дикий сюжет», «глупость», «низость», «грязь»), подличал («нужно поговорить об этом с Л., он напишет статейку»), подкупал («нужно бы написать маленькую вещицу, так что-нибудь á la Клевер, и подарить ему» — Ледакову).

Рябинин же, впервые увидев Глухаря, сразу почувствовал, как зреет решение открыть ворота в искусство вот такому, страшному, словно воплотившему в себе страдания трудящегося человека. Ради этого стоило бороться. И Рябинин боролся. По-своему.

Он смотрел на него полчаса; в эти полчаса молот поднялся и опустился сотни раз.

И решение вырвалось, грянуло, как выстрел, как удар молота:

— Глухарь корчился. Я его напишу.

...Снова оба в «деле». Снова у мольбертов. Дедов мажет тихое «Майское утро», Рябинин трудится над страшным «Глухарем». И снова каждый должен ответить на вопрос «Зачем?».

Зачем?

Чтобы настроить человека на тихую, кроткую задумчивость, смягчить душу, лицемерит Дедов, в уме подсчитывая барыши, предчувствуя поездку за границу на казенный счет и звание профессора впереди.

Зачем?

Да потому, что нельзя молчать, нельзя спокойно ходить по земле, когда видишь такое. Когда узнаешь, что человек ежедневно, ежечасно подставляет грудь под удары, чтобы ты мог погружаться в искусства, в науки, предаваться мечтам и страстям.

«Я вызвал тебя, — обращается Рябинин к своему Глухарю, — ...из душного, темного котла, чтобы ты ужаснул своим видом эту чистую, прилизанную, ненавистную толпу. Приди, силою моей власти прикованный к полотну, смотри с него на эти фраки и трены, крикни им: я — язва растущая! Ударь их в сердце, лиши их сна, стань перед их глазами призраком! Убей их спокойствие, как ты убил мое...»

И Глухарь убивает спокойствие. Не только зрителей рябининской картины, но и читателей гаршинского рассказа. Он оживает. Он перестает быть лишь прикованным к полотну творением Рябинина, становится творением Гаршина. Третьим самостоятельным героем «Художников». Он тот самый скверно устроенный мир, который необходимо раскрыть в искусстве, чтобы убить спокойствие тех, кто такой мир создает, принимает и признает.

Герой Рябинина не мог не быть и героем Гаршина. Слишком много общего у писателя с тем, кого сотворил он по своему образу и подобию. В подходе к жизни, в поисках темы, в ее воплощении.

Так же как Гаршин, Рябинин пишет «нервами и кровью». Как для Гаршина, произведение для него «созревшая болезнь», «мир, в котором живешь и перед которым отвечаешь». Как и Гаршину, не дает ему уснуть вечный вопрос «Зачем?». И так же как Гаршин, Рябинин стремится и умеет увидеть, раскрыть за частным фактом большое общее. Бред больного Рябинина — это и есть определение места Глухаря в большом мире.

Огромный завод... Черные, прокопченные стены. Гигантские, изрыгающие пламя печи. «Странное, безобразное существо корчится на земле от ударов, сыплющихся на него со всех сторон. Целая толпа бьет, кто чем попало. Тут все мои знакомые с остервенелыми лицами колотят молотами, ломами, палками, кулаками это существо, которому я не прибрал названия. Я знаю, что это — все он же... Я кидаюсь вперед, хочу крикнуть: «Перестаньте! За что?» — и вдруг вижу бледное, искаженное, необыкновенно страшное лицо, страшное потому, что это — мое собственное лицо. Я вижу, как я сам, другой я сам, замахивается молотом, чтобы нанести неистовый удар...»

Не то страшно, что где-то кто-то варварским способом клепает котлы, а то, что все «чистое общество» живет за счет бесконечного избиения несчастного Глухаря. И помог ли Рябинин, крикнув своей картиной «перестаньте! за что?», если и он, чтобы «предаваться искусствам», *должен* нанести Глухарю удар?

Через несколько лет, беседуя о «Художниках» с писательницей В. Микулич, Гаршин сказал:

— Если я люблю Глухаря, как могу я любить тех, кто упрятал его в этот страшный котел?..

И добавил по-рябинински беспощадно к себе:

— Мы поддерживаем зло тем, что терпим его.

...Картина окончена, выставлена.

Рассказ окончен, напечатан.

Ну и что же дальше?..

Глухари не ходят на выставки, не читают журналов.

«Господин с сигарой» помычит недовольно и пройдет в другой зал смотреть «Майское утро». Или отбросит «Отечественные записки», где напечатаны «Художники», и возьмет «Стрекозу».

Что же дальше? Что же изменится?

По-прежнему одни будут страдать сами и страдать за людей, а другие — бить людей тяжелым молотом, курить дорогие сигары и любоваться Клевером.

Проклятый вопрос, при встрече с которым разлетается на куски острый, нацеленный штык.

— Я не видел хорошего влияния хорошей картины на человека, — горько признается Рябинин.

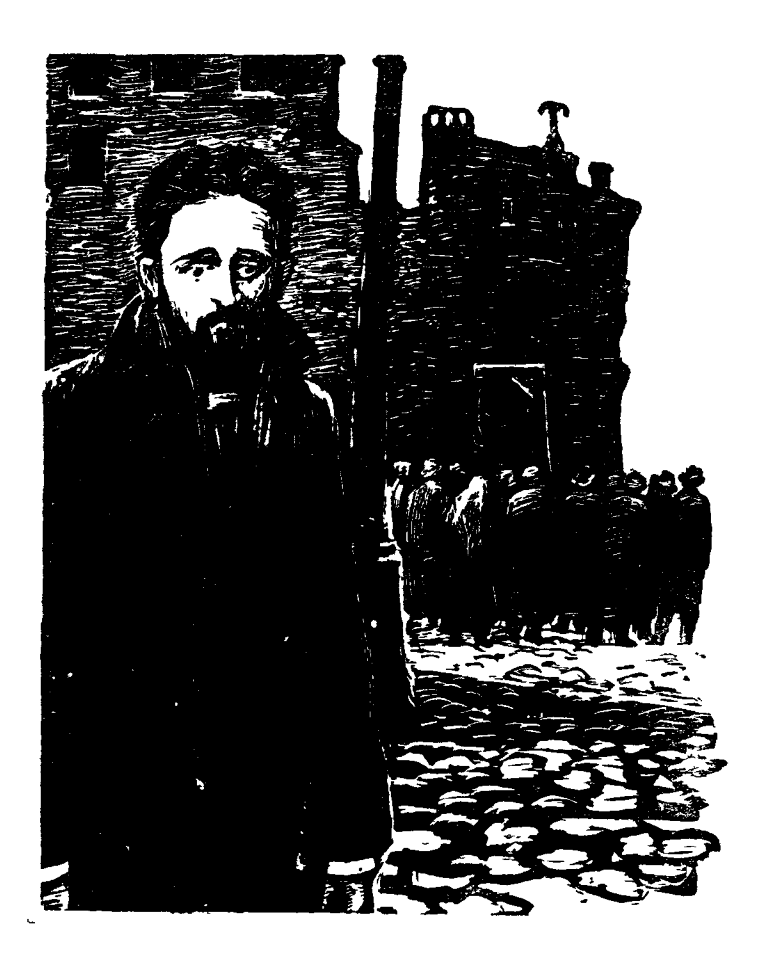
И он ищет иных путей.

...*Последняя* сцена «Художников». Последняя встреча героев. Два отъезда. Дедов спешит «совершенствоваться» за границу. И не зря. «Не могу причислить его к русским художникам», — говорит Гаршин о Клевере. Рябинину — в другую сторону. По грязной, в ухабах и рытвинах российской дороге. Он собирается учителем в деревню. Там Рябинин «не преуспел» — коротко замечает Гаршин. На его глазах многие шли в деревню, «в народ» — и не преуспевали...

Было у Рябинина самое дорогое, самое любимое в жизни — искусство. Но если оно не может служить народу — Рябинину не нужно такое искусство. Это ошибка. Это великая жертва. И это подвиг.

Знакомые гаршинские сомнения! Вот так же, стремясь сполна отдать долги, Гаршин собирался и в «глухую армию», и писарем в деревню — туда, где на нем лежали бы *обязанности,* где он мог бы увидеть *непосредственные* результаты своей деятельности. Но Гаршин продолжал писать. И это тоже был подвиг.

...Вскоре после смерти Гаршина Репин, потрясенный гибелью друга, сделал рисунок к «Художникам». В Рябинине он еще раз запечатлел Гаршина, Дедову придал некоторые свои черты. Репин — Дедов! Ну, конечно, это преувеличение, порыв. Но если сам Репин рядом с Гаршиным чувствовал себя немножко Дедовым, то каким же Рябининым был Гаршин!

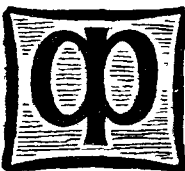


Казнь

«Сидеть у себя в комнате сложа руки... и знать, что возле льется кровь, режутся, колют, что возле умирают, — от этого можно умереть, сойти с ума».

А. Герцен

ПЕТЕРБУРГ. 1880 ГОД. ФЕВРАЛЬ



Февраль начался событием невиданным. «5-го сего февраля, в седьмом часу пополудни, в подвальном этаже Зимнего дворца, под помещением Главного караула произошел взрыв... Попорчены: пол в караульном помещении и несколько газовых труб».

«...Во втором же этаже, в столовой комнате, приподнят паркет... и треснула стена. Значительное число стекол в здании дворца оказалось разбитым.

Взрыв, по мнению экспертов, произведен динамитом, количество которого предполагается до двух пудов...

Из бывших в караульной комнате нижних чинов лейб-гвардии Финляндского полка 10 человек убито и 44 ранено, в том числе 8 тяжело...»

Нет ничего тяжелее сознания того, что святое, великое дело, задуманное на благо людям, не только не удалось, но еще и обернулось людям во вред. Плохо было Халтурину. Месяцы напряженнейшего риска, месяцы кропотливой подготовки, бессонные ночи на подушке, начиненной динамитом, — все пошло прахом. Снова деспот и самодержец остался в живых. И снова расплатились за него кровью неповинные мужики-солдаты.

...Плохо было Гаршину. Погибли солдаты. По-

гибли, никого и ничего не защищая, в столице, средь бела дня. И без того хлебнули, наверно, бедняги го́ря на службе. Может, уже домой собирались. Сидели, беседовали хозяйственно о коровенках да лошаденках, о севе да покосах — и вдруг взрыв, и ни за что отдали жизнь. Такое трудно было вынести. Еще труднее было поверить, что погибли они по вине героев, по вине тех, кто, как гордая пальма, рвал железные путы темницы.

...Царю было страшно. Озираясь, бродил он по дворцовым покоям. Воспетое борзописцами «доброе», «милостивое», «открытое» государево сердце сдавил спазм тревожного ожидания. Царь горбился. Он физически ощущал пулю, дробящую затылок, удар кинжала между лопатками. Боже праведный! Что за судьба выпала ему — императору, самодержцу! Выстрел проклятого Каракозова словно знамение всего царствования. Испытания же последнего года ни с чем не сравнимы! Краснея, Александр вспоминал, как затравленным зайцем несся по площади от стрелявшего Соловьева. А через полгода едва-едва не взлетел на воздух вместе с собственным поездом. Но нынешний взрыв — самое страшное. Крамола уже в Зимнем дворце, в цитадели самодержавия российского. Страшное и позорное! Перед всеми монархами позор! Ну какой же он государь «всея Руси», когда в его собственной спальне хозяйничают бунтари...

Тяжелый звон грянул, сорвался с колоколен. Царь вздрогнул от неожиданности — рука дернулась к отвисшему карману,— но опомнился, благочестиво сложил персты, перекрестился. Сие в Исаакиевском соборе митрополитом Исидором в сослужении с митрополитами московским и киевским, четырьмя архиереями, восемью архимандритами и духовенством столичных церквей совершалось торжественное благодарственное молебствие по поводу спасения священной жизни государя императора и всего царского семейства от злодейского покушения. Государевы уста зашевелились — Александр привычно, не вдумываясь в слова, забормотал молитву. Поистине чудесно всякий раз избавлял его от смерти господь. Однако же, полагаясь на мудрость творца, и сам он обязан не плошать.

Ветер швырял в окна крупные серые хлопья мокрого снега. Сейчас бы пробраться, избегнув по пути мин и подкопов, в Крым, в Ливадию, окружить себя наинадежнейшими гвардейскими полками и там, не принимая никого, никому не показываясь, переждать, пересидеть смуту. Но — нельзя! Через две недели торжества — четверть века его царствования. Придется «являться народу», стоять над толпой на балконе, махать рукой, улыбаться, кланяться — и сдерживать дрожь в ногах, косить глазом, ждать замирая: «Вот сейчас конец!» Это ужасно! Ужасно! Он обязан принять меры. Покарать и успокоить. Успокоить и покарать. Нужен помощник, тонкий, наипреданнейший. Умный и опытный. Улыбчивый и жестокий. Умеющий мало дать и много приобрести. В памяти, уже который раз за эти дни, возник образ тщедушного носатого человека. Царю захотелось заглянуть в умные и выразительные черные глазки его. Может быть, этот и впрямь спасет?..

...«Указ правительствующему сенату.

В твердом решении положить предел беспрерывно повторяющимся в последнее время покушениям дерзких злоумышленников поколебать в России государственный и общественный порядок, мы признали за благо

Учредить в Санкт-Петербурге Верховную распорядительную комиссию по охранению государственного порядка и общественного спокойствия...»

Полномочия комиссии даны были такие, что всякий понял: тот, кто ее возглавит, — диктатор.

«...Главным начальником Верховной распорядительной комиссии быть временному харьковскому генерал-губернатору, нашему генерал-адъютанту, члену Государственного совета, генералу-от-кавалерии графу Лорис-Меликову...»

— Вашим величеством мудро указано: успокоить и покарать. В том и вижу свою цель. Не ожесточить общество, а умиротворить. Но и показать

притом, что злоумышленникам и иже с ними пощады не будет.

Михаил Тариелович Лорис-Меликов говорил спокойно, уверенно. Царь согласно кивал головой.

Лорис-Меликов держался отлично. Не всемогущий диктатор — этакий старый вояка-генерал, слуга царю, отец солдатам. С первого дня сумел вселить надежды. Собрал в комиссии представителей от столицы — побеседовал. Одного похвалил, другого пожурил отечески, третьему, отставному полковнику, сказал «ты», четвертого выслушал со вниманием — и всем сумел понравиться. Потом пригласил журналистов. Говорил с ними не свысока — на равной ноге. Доверительно. Можно даже сказать — интимно. И снова сумел всем понравиться. Многого Михаил Тариелович не обещал, но немногое обещал так, что казалось оно первой ласточкой огромных перемен. Многого Михаил Тариелович и не совершал, но каждому мановению перста его услужливые языки и перья придавали такое значение, что казалось, Россия уже стояла на пороге золотого века. Кто-то пустил благодушное, румяное определеньице: «диктатура сердца». И Михаил Тариелович улыбнулся удовлетворенно — этого он и хотел.

В листке «Народной воли» предупреждали: у графа есть не только лисий хвост, но и волчья пасть. Не давайте себя околдовать плавным золотистым взмахом: зазеваетесь — цапнет!

— Нет, нет, — говорил Гаршин друзьям, — я от него многого жду. Он честен, он с молодых лет в армии, в сражениях. Он знает цену жизни. О нем солдаты хорошо говорили. И если дана ему правая рука — карать, а левая — «облегчать бразды», я верю в левую его руку...

...Утром 19 февраля густой колокольный звон плыл над Петербургом. Порывистый ветер трепал флаги, полотнища трещали, хлопали, словно аплодируя юбиляру. Буква «А» на вензелях глядела подбоченившимся, широко расставившим ноги казаком. С газетных страниц маслянисто стекал елей. В гигантских аляповатых панегириках и бездарных кособоких одах подводились итоги двадцатипятилетнего царствования государя-«освободителя». Но и в панегириках и в одах чувствовалось знамение времени: публицисты и поэты твердили о «крамоле», благословляли господа, отвратившего от государя «преступную руку», на чем свет стоит ругали «слуг сатаны». Страх прокрался даже в бодренькие финалы:

> А ты, надежа-царь, наш вождь и наш
> хранитель,
> Народ твой радостно приветствует тебя,
> Гласит во всей Руси тебе он многа
> лета
> И молит об одном: Боже, спаси
> царя!

Густой звон плыл над столицей. Митрополиты, архимандриты, архиереи и прочие священнослужители, закатывая глаза, воспевали в молебнах государевы заслуги и милости. На чрезвычайном собрании Государственный совет составил адрес с выражением «одушевляющих совет благоговейных чувств признательности и преданности» и положил представиться государю императору в полном составе для «принесения верноподданнического поздравления». Придя к столь мудрому решению, члены совета торжественно отправились в приемные покои его величества. Кареты одна за другой подъезжали ко дворцу. Золотые эполеты, золотые аксельбанты, золотые кресты, золотые позументы — все слилось, и казалось, длинная золотая змея вползает, шурша, в растворенные двери Зимнего. Солдатские ряды выстроились вдоль и поперек улиц, разделили заполненную людьми площадь на квадраты и прямоугольники, рассекли, стиснули толпу, стеною штыков отгородили дворец от народа.

Часы на Адмиралтействе пробили десять. Колокола утихли. Выстроившиеся на Дворцовой площади военные хоры запели гимн. На балконе дворца, окруженный многочисленным семейством, появился царь. Он был в белом мундире и каске кирасирского полка. Народ обнажил головы. Войска закричали «ура». Царь изобразил улыбку, поднял руку, напря-

женно пошевелил негнущимися пальцами. Потом сказал что-то стоявшему рядом грузному наследнику, вздохнул, снял каску и низко поклонился. Войска снова закричали «ура». В толпе стали кидать вверх шапки. Царь уставил на толпу неподвижный взгляд. В черных птицах взлетающих шапок мерещились ему мячики бомб.

Часы пробили четверть одиннадцатого. «Явление народу» можно было считать оконченным. Царь еще раз поднял руку и пошевелил пальцами. Стараясь не торопиться, стал отступать к двери.

В покоях у балконной двери государя встречал Лорис-Меликов. Он не мог сказать Александру:

— Я безгранично счастлив, Ваше величество, что вас не убили.

Он не мог сказать даже что-нибудь более деликатное, например:

— Душевно рад, что все обошлось благополучно.

Это было бы неприлично. Но сказать хотелось. Поэтому он молча улыбнулся, преданно и нежно, прикрыл глаза и понимающе склонил голову.

Царь тоже не мог сказать Лорис-Меликову что-нибудь вроде:

— Я, брат, и сам доволен, что в живых остался.

Это было бы тоже неприлично. Но сказать хотелось. Поэтому он кивнул молча и закованными в белую перчатку пальцами легонько потрепал по плечу своего Михаила Тариеловича.

Золотая змея ткнулась носом в двери государевых покоев. Двери растворились. Один за другим пошли сановники, представители. Кланялись. Складывали на столики адреса и подарки. С этими было не страшно.

...Все это выглядело позорно и фальшиво. Улицы, сдавленные рядами войск, — по ним шли как сквозь строй. Стена штыков, отделившая площадь от дворца, и в просветах между штыками — балкон с государем, неестественно делающим ручкой. Народная любовь, зажатая полковым каре. Бездушные торжественные церемонии. Медоточивые, твердящие одно и то же на один лад статьи — неужели сам государь

не видит бьющие в глаза ложь, пресмыкательство? И дрянные стишки о том, что

Меж русских не найдется
Преступная рука:
Любовь к тебе в их сердце,
Как море, глубока! —

через две недели после того, как взрыв чуть не расколол Зимний дворец.

Гаршин вспоминал... Раскаленное от зноя шоссе неподалеку от Плоешти. Шли рядом с железной дорогой. Смотрели с завистью на обгонявшие колонну поезда. Долгожданный привал. И неожиданно команда: «Подъем!» Бригаду выстроили в две шеренги вдоль полотна. Объявили: «Проедет государь». Полтора часа стояли на солнцепеке. Сначала прошел состав с прислугою и кухнею. Повара и поваренки, смеясь, выглядывали из окон. Потом прогромыхал мимо и царский поезд. На окнах были опущены шторки. Государь не показался. Ряды проводили поезд глазами. На площадке заднего вагона, широко расставив ноги, стоял казак, похожий на букву «А» с царского вензеля.

Это было обидно, но естественно: не захотел и не показался! Сегодняшнее «явление государя» было фальшиво. Казалось, что-то поворачивается, меняется. Хотелось слова искреннего, правдивого. А взамен — помпезная, пустая церемония; не слово — «словесность», солдатская наука, подменяющая выражение чувств мудреными и зазубренными формулами.

Гаршину давно хотелось написать сказку о фиалке. Он уже несколько раз принимался за нее.

...Однажды Екатерина Великая, раннею весною гуляя в саду, увидела нераспустившуюся фиалку. Не желая сорвать цветок и боясь забыть, где он растет, Екатерина приказала поставить подле фиалки часового, а сама занялась делами и позабыла о ней. Прошли годы. Давно уже отцвела фиалка. И матушка императрица отцвела и покинула свой трон ради лучшего мира. Десять лет прошло. Пятьдесят лет прошло. Сто лет прошло. Все переменилось. Но порядок есть порядок. И по-прежнему в зной и стужу,

сменяя друг друга, приходят на пост часовые и охраняют *ничего.* Суть исчезла, порядок сторожит форму.

...Нынешний праздник был делом правой руки диктатора.

Больше всего были довольны праздником в Третьем отделении. Две недели дрожали в неустанном бдении, выслеживали, обшаривали, глаз не спускали — и слава богу, все прошло тихо, спокойно. Даже не ожидали такого после проклятого взрыва.

Были, правда, незначительные эпизоды: незадолго до праздника, например, пристав задержал поздно вечером молодого человека, который заглядывал в окна Зимнего дворца. Подозрительный, назвавшийся Молодцовым, был допрошен и признан безопасным. Его выпустили, но предложили в двадцать четыре часа покинуть столицу. Молодцов, однако, не уехал: во время торжества его видели в толпе на площади. Ну, да черт с ним! — ничего ведь не случилось.

ОДНА НОЧЬ В ЖИЗНИ АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА

Зима 1880 года проходила в хлопотах. Были хлопоты приятные: в конце января Надежда Михайловна Золотилова, та самая курсистка-медичка, что навещала Гаршина в госпитале, стала его невестой. Окрепла мысль — уехать с женою, молодым врачом, в деревню, чем можно помогать крестьянам и работать, работать...

Были хлопоты ненужные: Глеб Иванович Успенский упросил Гаршина написать для «Русских ведомостей» несколько статей о живописи. После «Художников» садиться за статьи не хотелось, да пришлось — денег не хватало. И еще: в конце февраля в Петербурге ожидали выставку Верещагина, а о ней Гаршин непременно должен был написать.

Кроме хлопот, была работа. Много работы. Каждый день. Каждый час. Облекался в плоть горемычный мужик Никита, герой первого отрывка из задуманной эпопеи «Люди и война». Новые происшествия выпали на долю Надежды Николаевны — ей предстояло стать героиней еще одного большого произведения.

В начале февраля был отнесен Салтыкову-Щедрину «сумбурный» и «смутный», по выражению самого Гаршина, рассказ «Ночь». Строгий судия отозвался о «Ночи» по-иному.

«Многоуважаемый Всеволод Михайлович. Прочитав ваш рассказ, я нахожу его весьма хорошим и думаю в мартовской книжке его поместить. Искренно вам преданный М. Салтыков. 16 февраля».

...«Ночь» — это исповедь и одновременно полемика — герой спорит с собой, отвергает себя. Герой «Ночи» — уже не Кудряшов и еще не вольноопределяющийся Иванов. Он на переломе: «инженер первой категории» хочет стать человеком «гаршинской закваски». Для этого не нужно, жертвуя собой, ломать прочные решетки тюрьмы, но нужно разорвать железные сети лжи, которыми опутало мир «чистое общество». Нужно из мира частных фактов, где господствует «я», суметь шагнуть в мир большого общего, в большую жизнь.

У Алексея Петровича, героя «Ночи», не было неожиданных, особых стимулов для прозрения. Происшествий с ним не произошло. Его не гнали на войну. Не ранили в густом кустарнике на поле боя. Он не увидел подставляющего грудь под удары, корчащегося Глухаря.

Но он видел, как гнали на войну других. Он знал, что других ранят и убивают под Есерджи и Плевной. Не ведая о Глухаре, он то и дело наносил ему удары молотом. Он был Кудряшовым, «господином с сигарой», лицемером, приходившим в публичный дом с томиком Гейне под мышкой.

Алексей Петрович жил так, потому что так жили все в его «чистом обществе»: каждый во имя собственного благополучия обманывал остальных. Он жил среди людей, «ненавидящих и притворяющихся добрыми и простыми, людей, которых видишь насквозь и презираешь и перед которыми все-таки притворяешься любящим и желающим добра». Жил и не ду-

мал, что придет пора отдавать долги. Когда же впервые подумал об этом, понял, что, обманывая других, лгал себе, что, насыщая свое «я», обкрадывал и опровергал его. «Грязь» и «ложь» — вот две линии креста, которыми Алексей Петрович перечеркнул свое прошлое.

Он сидел у стола, перед ним лежал револьвер системы «Смита и Вессона», и Алексей Петрович видел дерево ручки с кольцом для шнура, кусок барабана со взведенным курком да кончик ствола, глядевший в стену. Чтобы отдать долги, необходимо было подвести итоги. В итоге оказался нуль. Жизнь кончилась. Жизнь не начиналась. Алексей Петрович понял, как нельзя, как не надо жить. Жить иначе он не умел. Он решил умереть.

И тогда ударил колокол. Удары колокола означали перелом — ночь обращалась в утро. В звонких ударах ковались воспоминания. Сперва воспоминания связаны только внешне: колокол — это церковь, в церковь он ходил в детстве, в церкви была толпа — «человеческая масса». Потом отдельные нити воспоминаний сплетаются, скручиваются все туже, туже, превращаются в прочный канат. Радужная картина детства вдруг омрачается своеобразным Глухарем — в памяти Алексея Петровича воскресает забытый эпизод: дядя ударил слугу по лицу, а сам Алексей Петрович, тогда еще мальчик Алеша, заплакал от жалости. Он был ребенком. Он учил евангелие. «Если не обратитесь и не будете, как дети...» — сказано в евангелии. Сделаться, как дитя, — значит суметь заплакать, когда при тебе бьют человека. Значит уметь любить. Алексей Петрович слишком долго не думал об этом. Он слишком долго жил в «чистом обществе» — обществе «кровожадных, кривляющихся обезьян». Там не было настоящих радостей и настоящего горя. Там некого было любить. Теперь Алексей Петрович вспомнил, что, кроме «чистого общества» — узкого мирка для насыщения своего «я», — есть еще толпа, «огромная человеческая масса», есть настоящая жизнь. Так из обрывочных нитей воспоминаний сплетался прочный

канат идеи, ухватившись за который Алексей Петрович мог выбраться из грязи и лжи.

«Вырвать из сердца этого скверного божка, уродца с огромным брюхом, это отвратительное «я», которое, как глист, сосет душу и требует себе все новой пищи», убить свое «я», опровергнуть себя, уйти в настоящую жизнь — вот цель. Не выхватывать из мира и брать себе, а создавать мир и отдавать его людям. И взамен взвалить на свои плечи частицу большого человеческого горя, чтобы остальным было легче нести его. Пришла пора отдавать долги.

«...Не могу я больше жить за свой собственный страх и счет; нужно, непременно нужно связать себя с общей жизнью, мучиться и радоваться, ненавидеть и любить не ради своего «я», все пожирающего и ничего взамен не дающего, а ради общей людям правды, которая есть в мире, что бы я там ни кричал, и которая говорит душе, несмотря на все старания заглушить ее...»

В финале рассказа — заряженное оружие на столе и мертвый Алексей Петрович на полу посреди комнаты. Он умер, как объяснил однажды Гаршин, «от бурного прилива нового чувства, физически выразившегося разрывом сердца». Алексей Петрович разломал решетки своей темницы, но его победа закончилась смертью. Цель ясна, но путь к ней неведом. Идея озарила мозг, но не материализовалась в действие. «Чистое общество» не научило Алексея Петровича жить иначе, чем раньше.

Человек и общество. «Палец от ноги» (быть может, самая несамостоятельная и беспомощная часть тела) — шекспировский образ из «Труса». «Клапан общественных страстей» — образ из «Происшествия». Маленькая собачка, раздавленная вагоном конки, — образ из «Четырех дней». Так неужели для того и писал Гаршин свои рассказы, чтобы доказать, что человек — бессильная жертва неумолимого и безжалостного общественного механизма? Нет! Гаршин многого не знал, на многие вопросы не мог найти ответа. Он не знал, как остановить «вагон конки»,

как преградить дорогу войне, как заставить «чистое общество» поклониться Надежде Николаевне, как донести до Глухарей рябининские полотна. Но он знал, он проверил на собственном опыте, что человек перестает чувствовать себя «пальцем от ноги» и начинает чувствовать себя Человеком, когда сливает свою жизнь с настоящей жизнью огромной человеческой массы, с жизнью простых людей, когда взваливает на себя часть их горя, жертвует собой ради их счастья, когда любит и ненавидит вместе с ними. Поэтому отправились на войну «Трус» и «барин Иванов». Поэтому Рябинин написал «Глухаря» и уехал потом в деревню. Поэтому сам Гаршин прожил жизнь так, как он ее прожил.

ОДНА НОЧЬ В ЖИЗНИ ВСЕВОЛОДА ГАРШИНА

Назвавший себя Молодцовым подозрительный молодой человек, которого задержали незадолго до царского юбилея и выпустили, не признав опасным, в самом деле не уехал из Петербурга и был во время торжеств на Дворцовой площади. Он пробрался в толпе поближе ко дворцу, приподымаясь на носки, всматривался в лица стоявших на балконе. Правую руку он не вынимал из глубокого кармана пальто — там лежал небольшой одноствольный револьвер. Молодой человек мог каждую минуту выхватить его и попытаться убить царя. Но Александр уже был приговорен к смерти Исполнительным комитетом «Народной воли», и молодой человек знал, что приговор будет приведен в исполнение. Днем раньше или днем позже. У молодого человека была своя цель.

Молодой человек не увидел того, кого искал. Балкон опустел, и собравшиеся на площади стали расходиться. Молодой человек задержался около дворцового подъезда, но долго стоять здесь было опасно — могли заметить. А он хотел выполнить то, что задумал, ради чего приехал в столицу.

Молодой человек еще долго бродил по городу и только к вечеру возвратился на Галерную, в комнатенку, которую снимал. Он сунул револьвер под подушку, скинул пальто и повалился на кровать. До поздней ночи лежал, не зажигая света. Хозяйка несколько раз стучала в дверь, предлагала чаю; он не откликался.

Молодой человек был раздражен. Он не сумел испортить царский праздник. Продуманный до мелочей план рушился. И все оттого, что приходилось действовать одному. Те, на кого он рассчитывал, его не поддержали. Он вспомнил, как ехал из Минска в Петербург. Окрыленный. Думал, встретят радостно, ухватятся за его план. С великим трудом, преодолевая прочные заслоны конспирации, добрался он до тех людей, которых считал своими руководителями, учителями, и натолкнулся на отказ. «Несвоевременно», — сказали ему. Он горячо доказывал, убеждал, но не так-то легко было поколебать этих людей, заставить изменить свое мнение. «Я не прошу помощи, — голос его дрожал от обиды. — Я прошу только санкционировать мое предложение». Но ему ответили: «Нет. Рано». И он ушел. Раздраженный и все же уверенный в своей правоте. Его тоже трудно было заставить изменить свое мнение.

Молодой человек проснулся посреди ночи от холода. Он встал с кровати, несколько раз прошелся по темной комнате. Тусклая луна висела за окном. Молодой человек вынул из-под подушки револьвер, у окна внимательно осмотрел его. Револьвер был заряжен. Молодой человек вытянул руку, сосредоточенно прицелился в желтый лунный диск. Ему показалось, он видит крупный, мясистый нос, внимательные, острые глазки.

— Ничего, — прошептал он. — Завтра. Завтра...

Назавтра, 20 февраля, в два часа дня главный начальник Верховной распорядительной комиссии генерал-адъютант граф Лорис-Меликов, сопровождаемый двумя верховыми казаками, подъехал к своему дому на углу Большой Морской и Почтамтской улиц. Карета остановилась у подъезда. Городо-

вой, дежуривший в швейцарской, побежал отворять дверцу. Граф вылез из кареты, крикнул кучеру:

— Отложить лошадей! — и направился к подъезду.

И тут где-то совсем рядом грохнул выстрел. Граф оглянулся: из подворотни выскочил какой-то человек, на мгновение остановился, озираясь, потом побежал по улице. За ним бросились городовые, казаки, дворники. Смяли. Свалили с ног. Стала собираться толпа. Адъютант, без шинели, без каски, выскочил из подъезда:

— Вы ранены, ваше сиятельство?.. Я сейчас... За доктором...

Нужно было показать всем, что он, Лорис-Меликов, ничуть не испуган. Граф деланно улыбнулся адъютанту:

— Не нужно. Я человек опытный на этот счет. Знаю, что не ранен.

Подвели преступника. Граф поднялся на ступеньки подъезда. Хотелось произнести такое, что потом повторяли бы. Он сверкнул очами, воскликнул громко, чтобы все слышали:

— Негодяй! Неужели ты думал, что я, старый солдат, мог погибнуть от подобной пули!

Преступник, не взглянув на графа, спокойно сказал казакам, скрутившим ему руки:

— Застегните мне пальто, так можно простудиться...

Того же дня в четыре часа пополудни следователь по особо важным делам в присутствии самого градоначальника начал допрос преступника.

— Имя?

— Ипполит Маевский.

— Когда вас задержали на Дворцовой площади, вы назвались Молодцовым.

— Ну, значит Молодцов.

— Так Молодцов или Маевский?

Преступник задумался. Что ж, пожалуй, пусть все узнают, кто он такой. Ответил четко:

— Млодецкий. Ипполит Осипов Млодецкий.

— Какую цель вы имели, пытаясь лишить жизни главного начальника Верховной распорядительной комиссии?

— Комиссия создана для борьбы с партией.

— Ваш выстрел санкционировала партия?

— Нет.

— Кто знал о покушении?

— Никто. Послушайте, мне уже надоело отвечать на вопросы. Ну какая вам разница? Не я, так другой. Не другой, так третий. Все равно Лорис-Меликов будет убит. И не только он...

Градоначальник вздрогнул...

До позднего вечера у дома на углу Большой Морской и Почтамтской теснились экипажи. Сиятельства и высокопревосходительства приезжали поздравить диктатора по случаю избавления от гибели. Лорис-Меликов держался отлично. Добродушно посмеиваясь, демонстрировал гостям несколько испорченный пулей мундир. Гости ахали. Около десяти прибыл прокурор судебной палаты Плеве — привез дело Млодецкого и уже утвержденный обвинительный акт. Проводив последнего гостя, Лорис-Меликов вызвал адъютанта:

— Отправьте дело в Санкт-Петербургский военно-окружной суд. Усильте охрану. Выставьте часовых. И не пускайте сюда никого. Никого!..

В девять часов утра 21 февраля адъютант положил на серебряный поднос большую пачку телеграмм, писем и записок с выражениями сочувствия по поводу случившегося и отправился в кабинет к Лорис-Меликову.

В девять часов утра Млодецкого привезли из Петропавловской крепости в военно-окружной суд. Он сидел на простой деревянной скамье в небольшой камере, дверь из которой вела в зал судебных засе-

даний. Он думал с горечью о том, как нелепо все вышло. Разработанный с блеском план рухнул. Двадцать четыре года прожиты на свете впустую. Приговор Млодецкий знал заранее. Убит диктатор или уцелел, приговор мог быть только один. Но смерть диктатора окупила бы жизнь Млодецкого.

В половине одиннадцатого Млодецкого ввели в зал. Он зажмурился от яркого света, бившего в окна. Его посадили за невысокой деревянной загородкой. Судебное заседание началось.

Подсудимого спросили, признает ли он себя виновным. Млодецкий молчал. Он решил не отвечать на вопросы. «Подсудимый, встаньте!» — приказали ему. Млодецкий остался сидеть.

Люди с золотыми эполетами и звездами посовещались, затем было объявлено, что за неуважение к суду подсудимый Млодецкий удаляется из зала, причем нет никаких препятствий вести судебное следствие в его отсутствие.

В час дня был оглашен приговор, согласно которому государственный преступник Млодецкий присуждался к смертной казни через повешение. Приговор надлежало привести в исполнение на следующий день, в одиннадцать часов утра, на Семеновском плацу.

Есть, спать, гулять, работать, когда где-то рядом готовились убить человека, было невозможно. Смерть! Снова смерть! Только неделю назад Гаршину казалось, что с этим покончено, что рассудительность и великодушие победили. И опять ненужный выстрел. И опять петля вместо великодушия. Неужели же диктатор так и будет действовать одною правою рукою? Неужели не поймет, что не примером жестокости, а примером человеколюбия можно остановить террор? Нужно крикнуть ему об этом!.. Задержать поднятую руку палача!..

Два вложенных один в другой листка почтовой бумаги. Гаршин писал стремительно, огромными буквами. Это была мольба. Он умолял диктатора отказаться от казни и тем казнить идею террора.

«Ваше сиятельство, простите преступника!

В Вашей власти не убить его, не убить человеческую жизнь (о, как мало ценится она человечеством всех партий!) — и в то же время *казнить* идею, наделавшую уже столько горя, пролившую столько крови и слез виновных и невиновных. Кто знает, быть может, в недалеком будущем она прольет их еще больше».

Только бы он не решил, чего доброго, что в этих словах новая угроза, новый выстрел. Пусть знает, как много надежд связано с ним, как ждут от него слова добра и правды.

«Пишу Вам это, не грозя Вам: чем *я* могу грозить *Вам?* Но любя Вас, как честного человека и единственного *могущего* и *мощного* слугу правды в России, правды, думаю, вечной.

Вы — сила, Ваше сиятельство, *сила,* которая не должна вступать в союз с насилием, не должна действовать одним оружием с убийцами и взрывателями невинной молодежи. Помните растерзанные трупы пятого февраля, помните их!»

И пусть он поймет наконец, что именно в ответ на эшафоты и кандалы родились кинжал Кравчинского, револьвер Соловьева, динамит, взорванный в Зимнем.

«Но помните также, что не виселицами и не каторгами, не кинжалами, революверами и динамитом изменяются идеи, ложные и истинные, но примерами нравственного самоотречения».

И еще раз, нужно еще раз повторить о самом главном. Чтобы это стало не случаем, не благим порывом, а переломом, новой эрой в политике.

«Простите человека, убивавшего Вас! Этим Вы казните, вернее скажу, положите начало казни *идеи,* его пославшей на смерть и убийство, этим же Вы совершенно убьете нравственную силу *людей,* вложивших в его руку револьвер, направленный вчера против Вашей честной груди.

Ваше сиятельство! В наше время, знаю я, трудно поверить, что могут быть люди, действующие без корыстных целей. Не верьте *мне* — этого мне и не нуж-

но, — но поверьте правде, которую Вы найдете в моем письме, и позвольте принести Вам глубокое и искреннее уважение

Всеволода Гаршина.

Подписываюсь во избежание предположения о мистификации».

Гаршин спохватился — у него не оказалось клея. Наспех одевшись, не застегивая пальто, он бросился на улицу. В лавке судачили о выстреле Млодецкого, о приговоре.

— Завтра утром и повесят, — рассудительно говорил кто-то. — Вздернут за милую душу. И поделом.

Не переводя дыхания, Гаршин взлетел по лестнице. «Заутра казнь. Заутра казнь», — повторял он, сам того не замечая, привычное сочетание слов. Он снова схватил перо и приписал:

«Сейчас услышал я, что завтра казнь. Неужели? Человек власти и чести! умоляю Вас, умиротворите страсти, умоляю Вас ради преступника, ради меня, ради Вас, ради Государя, ради Родины и всего мира, ради бога».

Уже запечатывая письмо, понял — не успеет! Не придет вовремя! Нужно срочно предпринять что-то!

Стук молотка гулко разносился по лестнице: в одной из квартир забивали гвоздь. Гаршину чудилось, будто где-то совсем рядом сооружают эшафот. Он сунул письмо в карман и выбежал из дома.

Был день как день. Серые сумерки. Люди шли по улице. Проезжали экипажи. Попались навстречу две дамы. Дамы громко смеялись. За окном магазина улыбающийся приказчик помогал разряженной девочке выбрать шоколадку. За девочкой, улыбаясь, наблюдал ее отец — солидный господин. Словно и не случилось ничего! Словно завтра на глазах у всех не будут убивать человека! Словно в полуверсте отсюда не сколачивают эшафот!

Вечером адъютант положил на поднос очередную пачку выражавших сочувствие телеграмм, писем, записок и отправился в кабинет к Лорис-Меликову. Граф только что утвердил приговор по делу Млодецкого.

— Охрана усилена? — спросил он у адъютанта.

— Так точно, ваше сиятельство.

— Не пускать сюда никого. Никого!

Упрямца никак не могли вытеснить из передней.

— Мне необходимо видеть графа, — повторял он.

Адъютант вошел в переднюю, недовольно посмотрел на жандармского офицера. Тот бессильно развел руками.

— Что вам угодно, милостивый государь? — поджав губы, спросил адъютант.

— Мне необходимо сейчас же видеть графа.

— Уже поздно. Его сиятельство отдыхает.

— Речь идет о жизни человека. Я не могу уйти.

Адъютант пожал плечами.

— Кто вы такой?

— Гаршин. Писатель Гаршин...

Его долго обыскивали. Раздели донага и разглядывали каждую складку одежды. Рассматривали в увеличительное стекло его ногти — нет ли под ними яда. Он стоял голый, содрогаясь от грубых прикосновений холодных жандармских рук. Наконец ему разрешили одеться. Адъютант небрежно кивнул головой на стоявший в углу стул:

— Ждите...

Большие часы в футляре из потемневшего дуба пробили десять, одиннадцать, полночь.

Он все ждал...

Из ворот тюрьмы вышла небольшая партия заключенных. Их повели на Семеновский плац. Сзади громыхала по булыжнику телега, груженная бревнами и досками.

Часы пробили два. Появился недовольный адъютант.

— Прошу следовать за мной.

Главный начальник Верховной распорядительной комиссии граф Лорис-Меликов встал из-за стола.

— Рад познакомиться, господин Гаршин. Читал. Читал.

Граф улыбался. Эта улыбка стоила долгих часов ожидания.

Крупный, ладно скроенный, русобородый мужик в добротном синем кафтане и смушковой шапке ехал в купе первого класса. Он по-хозяйски развалился на удобном диванчике, рассказывал что-то смешное и сам же хохотал громко. Его спутники — два жандармских офицера — улыбались и по очереди подливали в бокал русобородого дорогой французский коньячок. Русобородый был лицом значительным. Немало «политических» перевешал он в разных городах империи. Года не прошло с тех пор, как затянул он петлю на шее Александра Соловьева. Это был известный палач Фролов. В перерывах между казнями он занимался грабежами на московских окраинах. На этот раз его отыскали и спешно везли в Петербург, чтобы казнить Млодецкого.

— Пощадите, пощадите его!

— Вы, молодой человек, возбуждены и, видно, нездоровы. Я многое могу. Но не могу преступать закон. Я призван охранять его.

— Кто сильнее, тот должен первым бросить меч!

Надо было поскорее отделаться от надоедливого посетителя. Но осторожно — вряд ли стоит ссориться с литераторами. Граф дернул ленту звонка. Встал.

— Хорошо. Я обещаю вам... Но пока только отложить казнь. С тем чтобы пересмотреть дело...

Млодецкого разбудили. Помогли надеть неуклюжие ватные штаны, бесформенную куртку. Поставили на стол кружку с чаем. Млодецкий с наслаждением сделал несколько больших глотков. Больше никогда не будет его мучить жажда.

Спасен! Спасен! Почему так пустынны ночные улицы! Как хочется крикнуть улыбающемуся господину, веселым дамам, девочке с шоколадкой, всем, всем:

— Смейтесь же! Теперь смейтесь радостно! Человек будет жить!..

Млодецкого привели в тюремную канцелярию, вычеркнули из списков заключенных. Он был еще жив. Но согласно документам в живых его уже не было...

— Спасен! Спасен!

Гаршин ворвался к себе в комнату, бросился в объятия поджидавшего его встревоженного Малышева.

— Великие дела ожидают Россию!

— Где ты был, Всеволод! О тебе ночью приходили из полиции справляться. Я бог знает что думал!..

— Я у *него* был, Миша. И он обещал... Он переломит меч!..

Арестанты закончили эшафот. Поеживаясь, сидели на ступеньках и ждали, пока их отведут обратно в тюрьму. Они замерзли.

— Дело, конечно, будет пересмотрено, Миша. Иначе зачем откладывать казнь? Новая заря встает над Россией!

— Рассвело уже. Тебе надо заснуть, Всеволод.

— Да, спать, спать! Сегодня — чудесный день!..

...Палач подвел Млодецкого к позорному столбу и снял с него шапку. Ветер сразу растрепал густые черные волосы. Поручик лейб-гвардии Измайловского полка Ильин выступил вперед и торжественно прочитал приговор. Млодецкий неловко поклонился в разные стороны. Потом выпрямился. И улыбнулся.

Толпа зашумела. «Казнями не испугаете!» — крикнул кто-то. Палач, придерживая осужденного за спину, помог ему взобраться на стоявшую под виселицей лесенку. Не спеша натянул на Млодецкого холщовый балахон, тщательно оправил. Затем, также неторопливо, стал прилаживать ему на шею петлю...

Гаршин вышел на улицу. День выдался солнечный. Дышалось легко. По улице шло слишком много народу. Все были возбуждены, громко разговаривали.

— Долго дергался бедняга, — говорил мужчина в черном полушубке. — Все никак не хотел помирать.

— Помирать кому охота, — отозвался другой.

— Везут!

Мимо проехали дроги, на них стоял черный гроб.

Гаршин не потерял сознания. Не закричал от ужаса. Повернулся круто, сгорбился — и пошел. Сперва медленно. Потом быстрее. Еще быстрее. Черный галстук душил, как петля. Гаршин на ходу сорвал его, сунул в карман.

«Берегись!» — раздалось над самой его головой. Гаршин отскочил в сторону. Кучер громко щелкнул бичом. Карета помчалась дальше.

— За что кучер ударил лошадь? Сам же придержал ее, чтобы меня не раздавить, а потом ударил. Когда мир будет хорошо устроен, никто не посмеет мучить лошадей!

Гаршин вдруг почувствовал, что плачет.

«Несколько писателей собрались где-то в Дмитровском переулке, в только что нанятой квартирке, не имевшей еще мебели, пустой и холодной, чтобы переговорить о возобновлении старого «Русского богатства», — вспоминал Глеб Успенский. — В числе прочих был и Всеволод Михайлович. Его ненормальное, возбужденное состояние сразу обратило на себя всеобщее внимание. Никто не видал Гаршина в таком виде, в каком он явился в этот раз. Охрипший, с глазами, налитыми кровью и постоянно затопляемыми слезами, он рассказывал какую-то ужасную историю, но не договаривал, прерывал, плакал и бегал в кухню под кран пить воду и мочить голову».

Его отвезли домой.

Он сел за стол. Написал записку:

«Надежда Михайловна, приезжайте, пожалуйста, мне не совсем здоровится».

Сжал руками голову. Нет, он не выдержит, заболеет, снова сойдет с ума. Нужно уехать. В Москву, в Харьков, в деревню — только уехать! И заставить себя работать. Писать!..

Главный начальник Верховной распорядительной комиссии граф Лорис-Меликов через газеты поблагодарил за сочувствие всех приславших ему телеграммы и письма. Михаил Тариелович отлично умел держаться!..

ОДНА НОЧЬ В ЖИЗНИ ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА ТОЛСТОГО

Это случилось в шестом часу вечера. В Ясной Поляне обедали. Подавая третье блюдо, лакей доложил, что Льва Николаевича дожидается внизу какой-то мужчина.

— Что ему надо?

— Ничего не сказал. Хочет вас видеть.

— Хорошо, я сейчас приду.

Лев Николаевич встал из-за стола. Дети тоже повскакали со своих мест.

Бедно одетый молодой человек ждал в передней. По всему видно было, что пришел он издалека.

— Что вам угодно? — спросил Толстой.

— Прежде всего мне угодно рюмку водки и хвост селедки, — ответил незнакомец, глядя прямо в глаза Толстому смелым лучистым взглядом.

Лев Николаевич опешил, внимательно всмотрелся в лицо пришельца — и улыбнулся. Человек тоже улыбнулся. Доброй, открытой улыбкой.

...Это были изнурявшие ум и тело недели скитаний

В Москве Гаршин решил преподать урок добра и правды обер-полицмейстеру Козлову. Он явился в публичный дом, щедро угостил подруг своей Надежды Николаевны и отказался платить. В участке он потребовал свидания с обер-полицмейстером, так же как Лорис-Меликова, уговаривал его «бросить меч».

Потом отправился из Москвы в Рыбинск, где стоял Болховский полк, получил там сто рублей подъемных, которые ему причитались, купил себе новый костюм, а старый подарил коридорному в гостинице.

Из Рыбинска Гаршин возвратился в Москву, затосковал, собрался ехать в Болгарию — за материалом для романа, обдумывал планы издания своих рассказов под общим названием «Страдания человечества», в конце концов решил ехать в Харьков — лечиться, продал обручальное кольцо, взял билет, но доехал до Тулы.

И вдруг все стало на свое место. Появилось только одно огромное желание — работать. Гаршин засел за эпопею «Люди и война». Он быстро закончил первый отрывок — о денщике Никите и тут же принялся писать дальше. Он писал и писал.

«Я никогда за 20 лет не чувствовал себя так хорошо, как теперь.

Работа кипит свободно, легко, без напряжения, без утомления. Я могу всегда начать, всегда остановиться. Это для меня просто новость... Вы увидите по первому отрывку в $1^1/_2$ печатных листа, что это только начало. Написано у меня (вполне) их уже 6—7, а заготовлено на клочках всего с написанным до 15, и книга все еще не кончена...» *

Гаршин вспоминал ужасный петербургский февраль, крушение надежд, московские метания. Его никто не захотел понять.

Он бросился остановить убийство — это сочли безумным порывом.

Он тяжело переживал обман — в этом увидели болезненную впечатлительность. Он думал в Москве добиться того, чего не смог в Петербурге, — и это расценили как поступок сумасшедшего. Ему нужен материал для эпопеи; он съездил в полк, собирался в Болгарию — к этому также отнеслись подозрительно.

Он не желал иметь лишнего, он отдал лишнее тому, кто был беднее его. Как! Отдать старый костюм коридорному! Такое было выше понимания! Такое только безумец мог сделать!

А он вовсе не чувствовал, что сходит с ума!

«Господи! Да поймут ли, наконец, люди, что *все* болезни происходят от одной и той же причины, которая будет существовать всегда, пока существует невежество! Причина эта — неудовлетворенная потребность. Потребность умственной работы, потребность чувства, физической любви, потребность претерпеть, потребность спать, пить, есть и так далее. *Все болезни*.., решительно все, и «социализм» в том числе, и гнет в том числе, и кровавый бунт вроде пугачевщины в том числе».

Лорис-Меликов не просто обманул Гаршина, не просто разрушил надежду. Гаршин понял, что его потребность — потребность в гармонично устроенном мире добра и правды — неудовлетворима.

И, страдая от этого, он писал свою эпопею — книгу, разоблачающую войну и военщину, книгу о людях труда, о несчастьях и бедах мужика, сеятеля и хранителя родной земли, в этом скверно устроенном мире. «Люди и война» должны были стать его «Войной и миром».

А неподалеку от Тулы жил создатель «Войны и мира», любимый писатель, властитель дум, который тоже страдал, тоже искал пути ко всеобщей правде, добру, справедливости, который тоже переживал в то время нелегкий душевный кризис.

* Все, что написал Гаршин во время болезни, пропало.

...— Прежде всего мне угодно рюмку водки и хвост селедки, — сказал незнакомец.

Лев Николаевич внимательно посмотрел на него — и улыбнулся. Неизвестный человек тоже улыбнулся. Доброй, открытой улыбкой.

Толстой пригласил гостя в кабинет.

— Вы, верно, озябли и голодны, — ласково сказал он. — Я попрошу подать водки и какой-нибудь закуски.

Человек пожал плечами, снова улыбнулся (словно заходящее солнце на мгновение озарило лицо):

— Я, кажется, и вправду озяб немножко. Добирался долго.

Он выпил рюмку водки, закусил.

Толстой спросил его имя.

— Гаршин.

— Чем вы занимаетесь?

Гаршин замялся.

— Пишу немножко.

— А что вы написали?

— «Четыре дня». Этот рассказ был напечатан в «Отечественных записках». Вы, верно, не обратили на него внимания.

— Как же, помню, помню! Так это вы написали? Прекрасный рассказ! Как же, я даже очень обратил на него внимание. Там психология человека, отражающего ужас войны. Война — ужасное дело среди людей, и в рассказе чувствуется этот ужас. Вы, стало быть, были на войне?

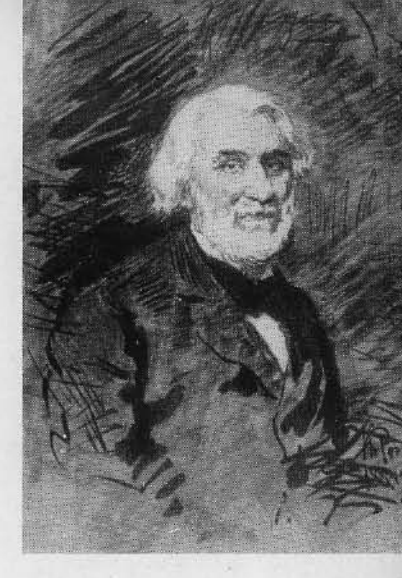
— Да, на Балканах.

— Воображаю, сколько вы видели интересного! Ну, расскажите, расскажите!..

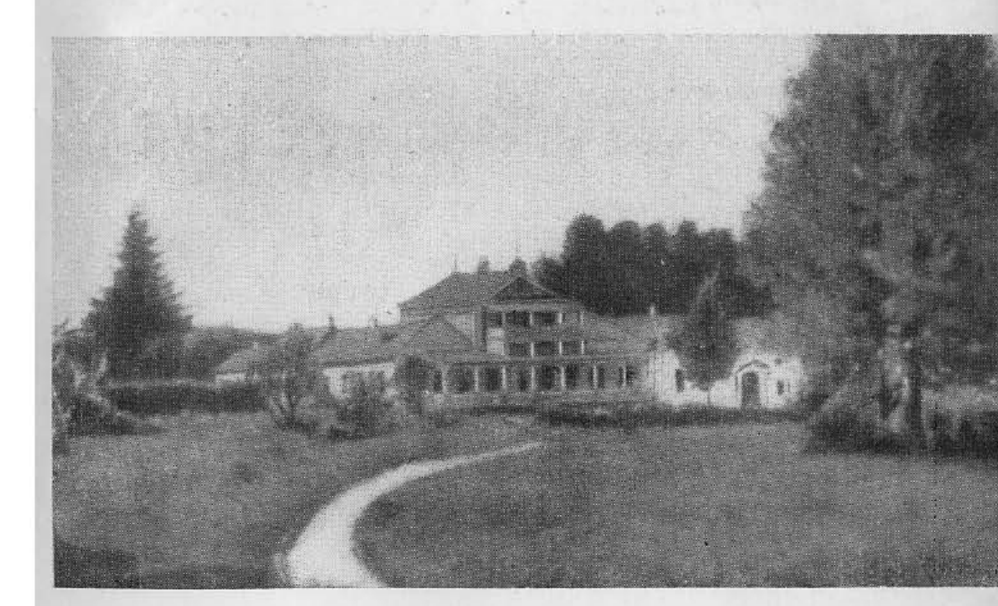
Толстой сидел рядом с Гаршиным на кожаном диване. Вокруг расположились дети. И недавний странный незнакомец, ставший вдруг близким и своим, горячо, вдохновенно рассказывал. О тяжелом, сквозь зной и дожди, походе. О Федорове Степане, убитом на Аясларских высотах. О страшных четырех днях рядового Арсеньева в кустарнике под Есерджи. О неизвестном солдате, что принес «барину Михайлычу» котелок с супом. О неубранном хлебе и горящих болгар-



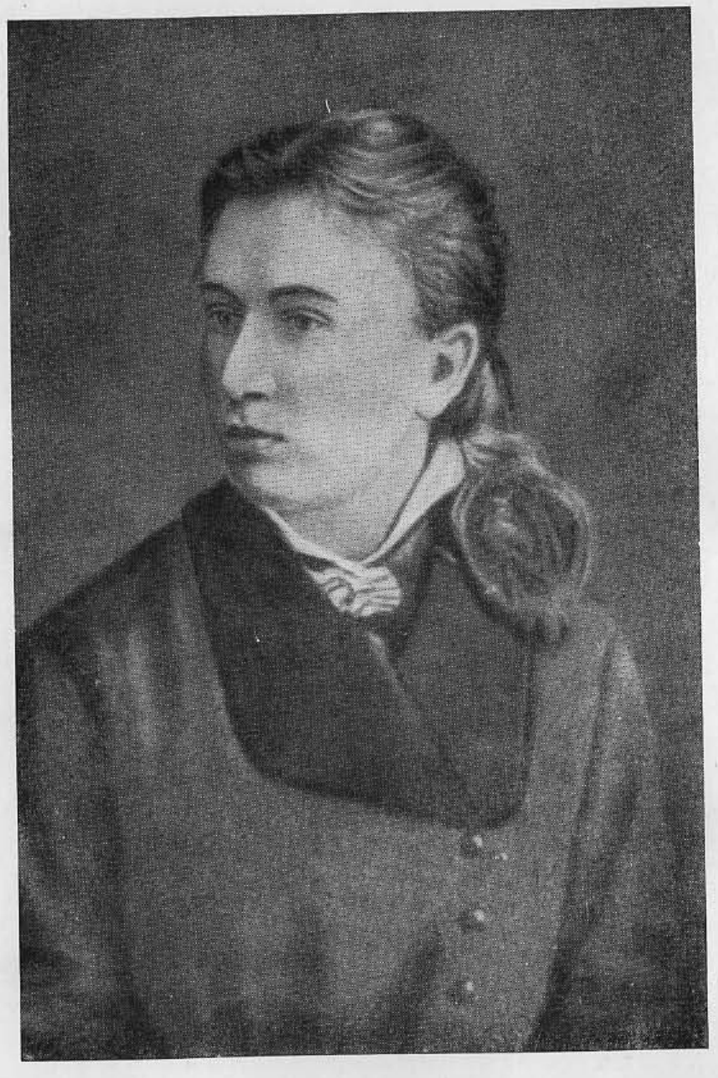
Аллея в Спасском-Лутовинове.



И. С. Тургенев. *Рисунок тушью работы И. Е. Репина.*



Дом И. С. Тургенева в Спасском-Лутовинове. *С картины Я. П. Полонского.*



Н. М. Золотилова. *Фото. 1880 г.*

ских селениях. О пьяных генералах, отплясывавших канкан на фоне пылающих деревень. О том, какие чувства и мысли рождала в нем, вольноопределяющемся Гаршине, война...

А потом настала ночь. Детей увели спать. Толстой и Гаршин остались вдвоем. Гаршин заговорил о главном.

Он говорил о том, как трудно жить, когда вся жизнь построена на насилии и несправедливости, когда один человек попирает и топчет другого, когда закон охраняет угнетение и ложь, когда самое ужасное — война и казни — признано естественным и необходимым делом. Он говорил о том, что нужно противопоставить насилию любовь, лжи — правду, войнам — всеобщее примирение, казням — всепрощение. Каждый должен сам выбросить насилие из своей жизни. И тогда станет возможным всеобщее счастье.

— Это была вода на мою мельницу, — сказал впоследствии Толстой, вспоминая ночную беседу с Гаршиным.

Для Толстого то был период напряженной душевной работы, поисков новых путей. Рядом с ним на кожаном диване сидел писатель, автор «Труса», который бесстрашно требовал милосердия, светлый и грустный юноша, страдавший оттого, что жизнь пронизана насилием, что кровь людская пропитала поля сражений и землю под эшафотами. А на рабочем столе лежали рукописные страницы «Исповеди».

«В это время случилась война в России. И русские стали во имя христианской любви убивать своих братьев. Не думать об этом нельзя было. Не видеть, что убийство есть зло, противное самым первым основам всякой веры, нельзя было. А вместе с тем в церквах молились об успехе нашего оружия, и учители веры признавали это убийство делом, вытекающим из веры. И не только эти убийства на войне, но во время тех смут, которые последовали за войной, я видел членов церкви, учителей ее, монахов, схимников, которые одобряли убийство заблудших беспомощных юношей. И я обратил внимание на все то, что делает-

ся людьми, исповедующими христианство, и ужаснулся».

Каждый из них шел своим путем к прозрению и поискам, но оба ужаснулись, взглянув окрест себя глазами совести. И теперь казалось им, выход найден и путь открыт: любовью, нравственным усовершенствованием нужно искоренять зло.

«Простите человека, убивавшего Вас!.. Не виселицами и не каторгами, не кинжалами, револьверами и динамитом изменяются идеи... но примерами нравственного самоотречения». Толстой ничего не знал о письме Гаршина к Лорис-Меликову. Но ровно через год Толстой почти повторил это письмо, умоляя Александра III пощадить убийц его венценосного отца.

«Простите, воздайте добром за зло, — писал он. — Убивая, уничтожая их, нельзя бороться с ними... Есть только один идеал, который можно противопоставить им... — идеал любви, прощения и воздаяния добра за зло...»

...Гаршин ушел рано утром. Толстой провожал его. «Какой открытый, светлый человек!» — думал Толстой. Долго стоял на обочине, смотрел, как ночной гость уходил по грязной от весенней распутицы дороге вдаль — к пламенеющему горизонту.

УТРА НЕ БЫЛО

Это было труднопередаваемое и неприятное чувство. Словно два человека жили в нем. Один — больной — совершал странные поступки. Другой — здоровый — наблюдал их, запоминал, но не в силах был помешать первому делать то, что он делал.

Один из ближайших друзей Гаршина, профессор-зоолог В. Фаусек, сообщает: «Он помнил все, что с ним было, все свои похождения, безумные поступки, и эти воспоминания остались для него навсегда мучительными. Иногда ночью, проснувшись на несколько минут, он вспоминал что-либо из времени своего безумия, и не было у него мыслей тяжелее. Он мучился совестью; по его словам, самые тяжелые угрызения

(а я, зная близко жизнь этого чистого человека, думаю, что и единственные) для его совести — это было сожаление о вещах, совершенных в безумии. Сознание невиновности, невменяемости не облегчало его души...»

Такое состояние научно обосновывает психиатр И. Сиккорский, посвятивший большую статью специальному анализу гаршинского «Красного цветка».

«В особенности рельефно представлено совместное существование двух сознаний — *нормального и патологического»,* — пишет он.

Два человека жили в нем — здоровый и больной, и подчас здоровый понимал, чем вызваны поступки больного, а больной по-своему странно и со стороны труднообъяснимо выполнял то, что задумал здоровый.

Здоровый Гаршин понимал, что мало самому уверовать в силу добра — идею надо пропагандировать, нести людям. Больной Гаршин выпряг лошадь у тульского извозчика, через несколько дней после первого визита вернулся в Ясную Поляну, не застав Льва Николаевича, потребовал у его детей атлас и отправился верхом по деревням Тульской и Орловской губерний проповедовать крестьянам борьбу с насилием.

Здоровый Гаршин был уверен, что, идя к цели, нельзя сворачивать с пути. Больной Гаршин, скитаясь по деревням, переплыл реку во время ледохода.

Здоровый Гаршин глубоко уважал деятелей революционной демократии. Больной Гаршин как снег на голову свалился в имение Грунец, чтобы засвидетельствовать это уважение Варваре Дмитриевне Писаревой, матери замечательного критика.

Здоровый Гаршин считал, что человек должен все делать для себя сам. Больной Гаршин, претворяя эту идею в жизнь, устроил у себя на балконе фантастическую мастерскую, где предполагал изготовлять из глины цветочные горшки.

Здоровый Гаршин всегда любил ботанику. Больной...

Весной 1880 года Виктор Андреевич Фаусек приехал в Харьков, чтобы повидаться с Гаршиным. Незадолго перед тем младший брат писателя, Евгений,

нашел Гаршина около Орла и привез домой. Темная, пасмурная весенняя ночь опустилась на город. У Гаршиных было тревожно. Еще до полудня Всеволод отправился погулять и не возвращался. Вдруг резкий и быстрый стук в окно. Тут же распахнулась дверь. Гаршин, худой, загорелый, в пальто и черной шляпе с широкими полями, вбежал в комнату. Одежда на нем была мокрая. Оказывается, он весь день бродил по окрестным лугам, собирая ранние весенние цветы. Цветы лежали в папке между листами газетной бумаги. Он наткнулся на речку и перешел ее вброд: очень важно было собрать цветы. «Это для Герда гербарий, — повторял он. — Ему это очень нужно».

Характерны побудительные мотивы странных поступков Гаршина. Доктор Сиккорский писал: «Благородные черты индивидуальности не уничтожаются, а только направляются в иную сторону».

Болезнь Гаршина носила наследственный характер. Она могла усиливаться от постоянной напряженной, нередко изнурительной умственной работы. Но причины обострений болезни лежали не только в нем самом. Главная причина гаршинской беды была в тех впечатлениях, которые он получал «извне». Стремление к правде, справедливости, подлинно человеческим отношениям между людьми постоянно наталкивалось на чудовищные, жгучие факты лжи, угнетения, бесчеловечности — ими слишком богат был скверно устроенный мир, в котором жил Гаршин. Он не только нервами и кровью обличал этот мир, не только мучительно искал пути его изменения — он здоровьем и душевным состоянием расплачивался за страдания вольноопределяющегося Иванова и денщика Никиты, проститутки Евгении и художника Рябинина, гордой пальмы и рабочего-глухаря.

Каждому ясно, что непосредственным толчком для наиболее тяжелого приступа болезни Гаршина в 1880 году было жестокое крушение его надежд в связи с делом Млодецкого. Но трижды прав Глеб Иванович Успенский, когда в статье «Смерть В. М. Гаршина» говорит не об исключительности, а о *типичности* этого факта, ставит его в ряд со множеством других

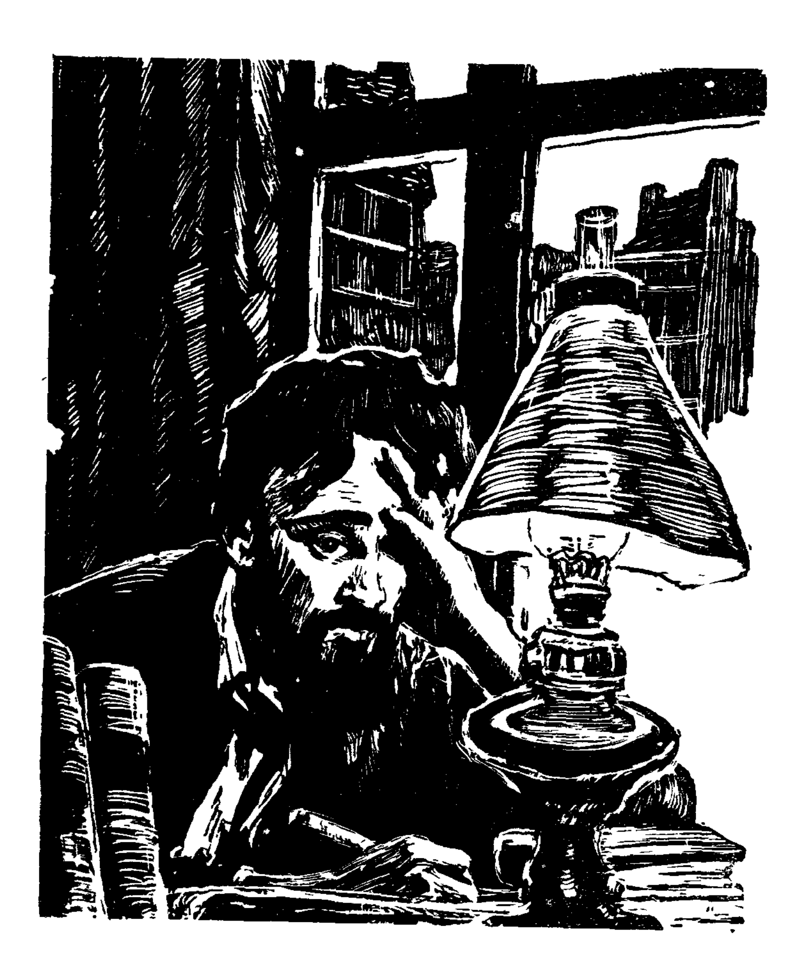
«обыденных» фактов, которые погубили жизнь Гаршина.

«Какие же именно и какого качества впечатления давала жизнь уму и совести В. М.? — спрашивает Г. Успенский. — Два маленьких томика рассказов Гаршина весьма точно ответят нам на эти вопросы, так как в его маленьких рассказах и сказках, иногда в несколько страничек, положительно исчерпано *все содержание* нашей жизни, *в условиях которой пришлось жить и Гаршину и всем его читателям.*

..Соберите все эти обыкновеннейшие «сюжеты»: война, самоубийство, каторжный труд неведомому богу, невольный разврат, невольное убийство ближнего, — и вы увидите, что вся совокупность этих обыденных явлений есть именно существеннейшие язвы современного строя жизни, что за ними не видно хорошего, что времени, возможности даже нет выделить это хорошее из неотразимо действующих фактов зла.

...В двух маленьких книжках Гаршин пережил *все* окружающее нас зло».

Гаршин прожил в Харькове три недели и снова исчез. Снова скитался он верхом по деревням — убеждал крестьян изменить мир насилия. Кто-то доставил его в орловскую больницу. Оттуда Гаршина забрал брат, чтобы поместить в харьковскую психиатрическую лечебницу, известную под названием «Сабурова дача».



Возрождение

«Чувства, которые вы мне описываете — именно те, которые предшествуют появлению или возобновлению творческой деятельности. — Да не пугает вас излишек мыслей, образов, сюжетов... начинайте большую ли, маленькую вещь — это все равно: дуб и цветок зарождаются одинаково».

И. Тургенев.
Из письма к Гаршину

ПЕТЕРБУРГ. 1881 ГОД. МАРТ — АПРЕЛЬ



ет надежды. Никакой. Так Сергей Петрович Боткин сказал. А он знает.

Цесаревич со страхом смотрел на изуродованное, окровавленное тело.

Вот тебе и оды — «Меж русских не найдется преступная рука...».

...Сыны порабощенной России упорно охотились за государем-«освободителем». Три раза в него стреляли. Два раза его пытались взорвать. И каждый раз он упрямо избегал смерти. Это было похоже на чудо.

1 марта 1881 года в него кинули бомбу. На мостовой корчились в бурой грязи два сопровождавших казака. Царь, наверное, опять уцелел бы, если бы не минутная уверенность, что он уже уцелел. Надо было гнать в Зимний, а он соскочил с саней — взглянуть на раненых. Бомб оказалось две. Вторая упала прямо под ноги царю. И чуда не произошло.

— Никакой надежды, — сказал Боткин.

Цесаревич покорно кивнул головой. Камердинер вынул из-под царской спины подушки. И государь

император Александр II умер. Цесаревич проглотил слюну. Так началось царствование.

...Ночь настала глухая, тяжелая. Душная, без ветерка, навалилась, пригнула, прижала все живое к земле. Со злобным криком закружили над головами совы — ночные хищники. Зажглись в темноте их ржавые, ненавистью горящие глаза.

В те годы дальние, глухие,
В сердцах царили сон и мгла:
Победоносцев над Россией
Простер совиные крыла.

Победоносцев простер крыла бесшумно, неторопливо и быстро. По-совиному.

...Царский прах лежал еще непогребенный в Петропавловском соборе. Обер-прокурор синода Победоносцев писал новому царю Александру III, своему воспитаннику: «...Час страшный и время не терпит. Или теперь спасать Россию и себя, или никогда! Если будут вам петь прежние песни сирены о том, что надо успокоиться, надо продолжать в либеральном направлении, надобно уступать так называемому общественному мнению, — о, ради бога, не верьте, ваше величество, не слушайте. Это будет гибель России и ваша... Злое семя можно вырвать только борьбой с ними на живот и на смерть, железом и кровью».

Непогребенный царский прах лежал еще в Петропавловском соборе. 8 марта заседал Совет министров. Александр III с неприязнью смотрел в умные глазки Лорис-Меликова. Михаил Тариелович докладывал о своем проекте реформ. Проект был уже утвержден покойным государем. Утром 1 марта.

Лорис-Меликову было трудно. В проекте содержались уступки. Пустые, видимые. Но теперь всякая уступка выглядела как отступление. Отложить проект в сторонку и взять другой курс Михаил Тариелович уже не мог. Надо было утверждать, что волчья пасть плюс лисий хвост лучше всего. Потому что это его, Лорис-Меликова, политика. Отказаться от нее — значило уходить. И Михаил Тариелович говорил как всегда — негромко, убедительно.

Царь смотрел на него с неприязнью: «Сирена! Не уберег отца!..»

Белый палец Победоносцева указывал на окно. Там в Петропавловском соборе лежал еще непогребенный царский прах. От речи Константина Петровича становилось холодно и страшно. «Конец России», «клеймо позора», «генеральные штаты». И еще страшное слово — «конституция». Первым, пенясь от негодования, прошипел это слово граф Строганов, престарелый и заслуженный вельможный ретроград. Потом в течение заседания министры пугали друг друга «конституцией». Обер-прокурор синода приподнял забрало. Вздрагивающий от ярости белый палец указывал на окно. Вот они, уступки, реформы, либеральные улыбочки. Хватит! Россию — спасать! Избавить от депутатов, представителей, речей — от общественного мнения избавить. Не ограничивать самодержавие — утверждать!

Государь-самодержец Александр III то и дело поддакивал дорогому своему учителю Константину Петровичу. Победоносцев простирал крыла.

В низеньких тесных комнатах было сумеречно. Двигаясь, рослый, грузный царь задевал боками мебель. Он боялся просторных палат. Сбежал сюда, в Гатчину, из ненадежного Зимнего. Победоносцев пугал, требовал, чтобы и здесь государь самолично запирал перед сном все двери, проверял звонки, заглядывал под мебель и следил за лакеями. И он запирал, заглядывал, следил.

Приезжал Лорис-Меликов и опять твердил свое об уступках и земских представителях. Никому-де от этого ни горячо, ни холодно, но кость бросить надо.

Царь сердито сопел, уставясь в широкое лорис-меликово переносье. В памяти толклись злые, мрачные Константин-Петровичевы речи («Натверженное, лживое и проклятое слово: конституция», — убеждал учитель).

Слушать Лорис-Меликова не хотелось. Царь отпускал его и, поглядев вслед, садился писать Победоносцеву: «...Лорис, Милютин и Абаза положитель-

но продолжают ту же политику и хотят так или иначе довести нас до представительного правительства, но пока я не буду убежден, что для счастья России это необходимо, конечно, этого не будет, я не допущу. Вряд ли, впрочем, я когда-нибудь убежусь в пользе подобной меры, слишком я уверен в ее вреде».

...3 апреля на Семеновском плацу казнили тех, кто освободил Россию от «освободителя». Царствование Александра III, как некогда царствование деда его Николая, началось пятью повешенными.

Приговоренные к смерти царю не страшны. Страшны живые. Как не дать живым голову поднять? Лучше прижать всех, чем одного упустить.

Либералы паршивые («исковерканные обезьяны», по слову учителя Константина Петровича) жужжат, пророчат: надо-де цареубийц простить.

Вон Лев Толстой прислал письмо — прямо пишет: «Простите всех...»

Сцепив до боли белые ледяные пальцы, умолял Победоносцев:

— Люди так развратились в мыслях, что иные считают возможным избавление осужденных преступников от смертной казни... Может ли это случиться? Нет, нет и тысячу раз нет — этого быть не может...

Лорис-Меликов пообещал отложить казнь Млодецкого — и не сдержал слово, казнил. Золотым пушистым дымом хвоста заволок глаза и тотчас волчьей хваткой впился в горло. Победоносцев не обещал, не успокаивал. Победоносцев торопил с виселицами. Из фальшивого определеньица «диктатура сердца» вычеркнули за ненадобностью второе слово. Совы — ночные хищники — взмахивали крылами, словно сгущая тьму.

29 апреля был напечатан царский манифест. Царь его не писал — только подписал. Писал Победоносцев.

«Посреди великой нашей скорби глас божий повелевает нам стать бодро на дело правления, в уповании на божественный промысел, с верою в силу и истину самодержавной власти, которую мы призваны

утверждать и охранять для блага народного от всяких на нее поползновений».

Власть самодержавная утверждалась. Победоносцев даже с министрами не согласовал манифест. Лорис-Меликов подал в отставку. Его отпустили. Лисий хвост больше не был нужен. Его отрубили. Осталась только волчья пасть.

3 апреля на широкой площади убили «Народную волю».

Той, грозной, «Народной воли» уже не было. Александр III читал к нему адресованное открытое письмо народовольцев. Они еще ставили условия — требовали политической амнистии и созыва народных представителей, но обещали за это отдать все — они обещали прекратить революционную борьбу.

За «Народной волей» не пошли. 1 марта оказалось концом.

«...Революционеры исчерпали себя 1-ым марта, в рабочем классе не было ни широкого движения, ни твердой организации, либеральное общество оказалось и на этот раз настолько еще политически неразвитым, что оно ограничилось и после убийства Александра II одними ходатайствами» *.

Волна революционного прибоя была отбита. Наступила реакция.

...Ночь навалилась тяжелая, душная. Пригнула все живое к земле.

> Бывают времена постыдного разврата,
> Победы дерзкой зла над правдой и добром;
> Все честное молчит, как будто бы объято
> Тупым, тяжелым сном...

Так писали доживающие свой блестящий и мятежный век «Отечественные записки». Стихи кончались пророчеством:

> Такие времена позорные не вечны.
> Проходит ночь... Встает заря на небесах...

«Ночь» — «день», «мрак» — «свет», пророческие строчки о «рассвете», «заре», «пробуждении ото

---

* *В. И. Ленин.* Сочинения, т. 5, стр 40.

сна» — незамысловатые, из стихотворения в стихотворение переходившие поэтические символы того времени. Порой они звучали печально, порой были проникнуты верой в завтра, порой прямо звали к борьбе.

День враждует с ночью. Сам увидишь:
Не вмешаться в бой их вряд ли станет в мочь;
Будешь ночью — день возненавидишь,
Будешь днем — возненавидишь ночь.

...В девяностые годы Репин писал «Дуэль». Юноша-офицер умирает на руках секундантов. Убийца, отвернувшись от жертвы, закуривает папироску. У него вытаращенные глаза, ужасная гримаса на сведенном судорогой лице. Голова маячит над круглым черным галстуком, словно покоится на блюде. Небольшая картина кричит. Репин выразил главное: тупую дикость, вопиющую нелепость и ненужность узаконенного убийства.

Правила о поединках были введены незадолго до смерти Александра III. Он царствовал тринадцать лет. Тринадцать лет не по прихоти, а из страха бродил, толкая боками мебель, по тесным и сумеречным комнатам, «...содержащийся в Гатчине военнопленный революции» — так саркастически метко назвали Александра III К. Маркс и Ф. Энгельс*. Тринадцать лет волею и именем его вводились законы, с помощью которых хотели согнуть в бараний рог, придавить жизнь. Убийственные законы достойно увенчались узаконенным убийством.

Итоги тринадцатилетнего царствования подвел Лев Толстой. Он составил горестный и уничтожающий, как обвинительный акт, список «деяний» правительства: «изменило, ограничило суд присяжных, уничтожило мировой суд, уничтожило университетские права, изменило всю систему преподавания в гимназиях, возобновило кадетские корпуса, даже казенную продажу вина, установило земских начальников, узаконило розги, уничтожило почти земство, дало бесконтрольную власть губернаторам, поощряло экзекуции, усилило административные ссылки и заключения в тюрьмах и казни политических, ввело новые гонения за веру, довело одурачение народа дикими суевериями православия до последней степени, узаконило убийство на дуэлях, установило беззаконие в виде охраны с смертной казнью, как нормальный порядок вещей».

* *К. Маркс и Ф. Энгельс.* Сочинения. Издание второе, т. 19, стр. 305.

Совы широко простерли крыла и заслонили солнце. Но яркие лучи прорывались, вспарывали тьму, напоминали о пламенных рассветных зорях. Последним всплеском героизма «Народной воли» было смело задуманное покушение на царя 1 марта 1887 года — новое «первое марта», но неудачное. И снова пятеро поднялись на эшафот, и среди них чудесный юноша, мудрый и храбрый беззаветно, — Александр Ульянов. В Женеве плехановская группа «Освобождение труда» открывала для России марксизм, и сам Энгельс писал членам группы: «...Я горжусь тем, что среди русской молодежи существует партия, которая искренне и без оговорок приняла великие экономические и исторические теории Маркса...»* А в Орехово-Зуеве на «Саввы Морозова сына и К°» Никольской мануфактуре ткач Петр Моисеенко, сподвижник Плеханова и Халтурина, поднял против хозяев восемь тысяч рабочих — и правительство дрогнуло, уступило. В 1886 году появился новый закон о штрафах. За первое пятилетие после 1881 года восемьдесят тысяч рабочих участвовали в стачках. Рабочие стачки были пророчеством более грозным и верным, чем стихотворные строчки.

«...Мы, революционеры, далеки от мысли отрицать революционную роль реакционных периодов. Мы знаем, что форма общественного движения меняется, что периоды непосредственного политического творчества народных масс сменяются в истории периодами, когда царит внешнее спокойствие, когда молчат или спят (повидимому, спят) забитые и задавленные каторжной работой и нуждой массы, когда революционизируются особенно быстро способы произ-

* *К. Маркс и Ф. Энгельс.* Сочинения, т. XXVII, стр. 461

водства, когда мысль передовых представителей человеческого разума подводит итоги прошлому, строит новые системы и новые методы исследования».

Так писал Ленин *.

Темной ночью нужно уметь видеть алый размах и золотые россыпи рассвета.

ВО ГЛУБИНЕ РОССИИ

В столицах шум, гремят витии,
Кипит словесная война,
А там, во глубине России —
Там вековая тишина...

Гаршин видел себя в прошлом и не видел в будущем. Настоящего почти не осталось. То, что осталось, он знал наизусть.

Пять верст туда, пять — обратно. Коньки с веселым, легким треском резали лед. Поворот — у святотроицкого маяка. Уже здесь, в пяти верстах от дома, Гаршин знал, что будет дальше. Обед, чтение газет и журналов, вечерняя партия в шахматы с дядей Владимиром Степановичем. Дни были размеренны и заранее известны. Гаршин писал: «Внешних фактов — никаких». Дни были одинаковы. Вчерашний день заканчивался, чтобы повториться сегодня и завтра. Время крутилось вхолостую. Оно двигалось вокруг и не двигалось вперед. Вертелось как белка в колесе — колесо вертится, белка стоит на месте. Лед плавно плыл под ногами.

— Мат! — Дядюшка передвинул ладью и потирал руки, довольный.

А Всеволод только рад был, что партия закончилась, — тотчас удрал наверх, в свою комнату.

От зажженной лампы тьма за окном еще чернее, еще гуще. Гаршин уселся поудобнее в кресле, раскрыл книгу. Начался его, не размеренный заботливым дядюшкой час. Этот час не был известен зара-

* *В. И. Ленин.* Сочинения, т. 10, стр. 230.

нее. Книги прокладывали тропинки мыслям. Мысли двигались вольно и рождали неожиданное.

Гаршин раскрыл Гюго. Он изучал французскую поэзию. Стихотворение называлось «Джинны». Это была ловкая штука. Воистину турдефорс стихоплетства. Стая духов стремительно проносилась над головой. В стихах слышался страшный вой, метались черные тени. Строчки — то длинные, то короткие, в одно слово, — стремительно сближались и вдруг, оттолкнувшись друг от друга, разлетались в разные стороны.

О боже! Голос гроба!
То джинны!.. Адский вой!
Бежим скорее оба
По лестнице крутой!
Фонарь мой загасило,
И тень через перила
Метнулась и застыла
На потолке змеей...

Поэт пугал себя и делал вид, что пугается, — он изображал вопль испуганного безумца. Гюго изображал. Он не знал, что ужас безумия не в красивой путанице воя и черных теней. Ужас безумия — в ясности. Вот Пушкин — тот понимал это. «Не дай мне бог сойти с ума». Если бы можно было бродить в пламенном бреду по темному лесу, забыться в нестройных грезах! А то ведь посадят на цепь дурака. И

...ночью слышать буду я
Не голос яркий соловья,
Не шум глухой дубров —
А крик товарищей моих
Да брань смотрителей ночных,
Да визг, да звон оков.

Тропинка от стихотворения вела в прошлое.

...Гаршин видел себя в прошлом.

Там была дача, похожая на мрачную каменную казарму, — Сабурова дача! И звон оков: Гаршин помнил, как долгие часы тряс решетку на окне. И дикое, непонятное озлобление смотрителей. (Вода, недовольно урча, падала в ванну. Он стоял раздетый. Задумался. Пробегали в голове затуманенные и от-

того еще более милые картины далекого детства. Вдруг страшный удар в грудь. Он упал. Так смотритель объявил ему, что пора залезать в ванну. «За что ты меня ударил?.. За что?..» За что?! Людей били и за стенами сумасшедшего дома и тоже не объясняли за что.)

Воспоминания сплетали прошлое с настоящим, омрачали настоящее.

«...Помимо воли голова перебирает всевозможные воспоминания и все-то такое неприглядное, постыдное». Ужас безумия — в ясности.

...Лед плыл из-под ног. Ветер хлестал по щекам. Морозный воздух властно врывался в легкие.

С каждой верстой все дальше позади оставалась болезнь.

В дядюшкином селе Ефимовке, на Днепровско-Бугском лимане, Гаршин лечился покоем. Покой начался сразу — в вагоне, куда погрузил его Владимир Степанович. Всеволод с интересом разглядывал купленные детям механические игрушки. Веселый игрушечный медведь с ревом ходил по вагону. Гаршин смеялся.

Из лечебницы Гаршина взяли домой, дядя увез его из дома. Одиночество бывает разным. В больнице Гаршина делала мучительно одиноким болезнь. Дома — раздражающее ощущение, что он лишний. В Ефимовке он был одиноким от покоя. Он словно висел, не всплывая и не погружаясь на дно, в наполненной густым, как мед, покоем банке. Строгий корабельный распорядок рассекал дни (мужчины в акимовском роду были моряками). Дядя отнял у Гаршина «внешние факты». Как нагретая солнцем земля отдает ночью накопленное за день тепло, так и Гаршин успокаивался, теряя понемногу кипевшие внутри впечатления. Покой лечил, как мед. Время и пространство замкнулись вокруг. Их пробивала только мысль.

...Пять верст до маяка и пять — обратно. Обед. Журнал. «Мат!..» — дядя торжественно поставил ферзя на последнюю горизонталь. Зажженная лампа. Раскрытая книга. Гаршин изучал французскую поэзию. Он читал Мюссе. Мюссе ему не нравился: «тужится быть умным и изящным».

Когда в тоске немых страданий
    Нет упований
    И жизнь пуста,
Целение — душе печальной —
    Звук музыкальный
    И красота!

От стихотворения вела тропинка в будущее.

...В будущем Гаршин себя не видел: «Ничего нет впереди...»

Покой лечил, но не исцелял. Врет Мюссе! Не исцелит звук музыкальный печальную душу! Исцеление — в деле.

Мысль о деле прорывала густой мед покоя. Он жил без дела и не знал, как будет жить дальше. «...Делать, т. е. писать что-нибудь — не могу, хоть убейте». А если не писать?

«...Кроме этого — на что я способен!.. Что я знаю, что я умею? Писарем даже быть не могу — видите, какой почерк. В работники не гожусь; кто возьмет такого барчука?»

«...Дядя сказал мне, что он приказал посеять «для меня» 10 десятин ячменя, что я должен буду заботиться о его уборке и выручка достанется мне. Право, ничего не понимаю. Я не только не участвовал ничем в посеве этого ячменя, но даже не знал о нем. Убирать его я тоже не могу: убирать будут рабочие, которыми будет распоряжаться тот же дядя, потому что я ведь ничего не понимаю. Как же это ячмень будет мой? Дядя очень добр, вот и все. Воспользоваться этим ячменем было бы ни на что не похоже».

Гаршин рвался к любой работе. Он был счастлив, когда хоть ненадолго находил себя в труде. Дядя строил длинную пристань на сваях. Гаршин неотлучно находился на работе — промерял глубину, участвовал в забивке свай, а в свободную минуту по старой армейской памяти писал рабочим письма. Он, как прежде, искал ежедневного, будничного

труда. Владимир Степанович был мировым судьей. Гаршин, точно на службу, являлся в определенный час к нему в камеру — вел протоколы, записывал показания.

Мысли о будущем были мыслями о деле. Гаршин рвался к любой работе. Он умел только писать. Писать он не мог. «Мое уменье писать унесла болезнь безвозвратно. Я уже никогда ничего не напишу».

Едва он вырывался из шестерен дядиного корабельного распорядка, мысли о будущем, о неспособности к труду начинали жечь его сердце.

«Господи, неужели же я никогда не буду способен работать!»

«Нужно приниматься хоть за какую-нибудь работу».

«...Я нисколько не обольщаюсь какими-нибудь надеждами. Хотелось бы мне, оправившись, зарабатывать где-нибудь кусок хлеба, да и об этом я теперь могу только мечтать. И на что только я годен, господи мой боже?»

«Пора бы уже и убираться отсюда подобру-поздорову да куда-нибудь приткнуться. Но куда? — решительно не знаю».

Покой лечил Гаршина, но исцелить его мог только труд. В недрах покоя рождался самый страшный разлад — с собой, разлад между настоящим и будущим.

Гаршин не видел себя в будущем: «О будущем думать боюсь». «И загадывать страшно». Будущее надо было лепить заново. Из чего? Гаршин искал материал — мысли метались. Он снова оглядывал и взвешивал старые помыслы.

Болховский полк. Ныне он не сфера приложения сил, а спасительная соломинка: «...Я думаю поступить в полк. Куда-нибудь же нужно деваться. Доживать все равно как». Но мысли об офицерстве, однажды уже отвергнутые, отвергаются вновь: «Мне очень тяжело решаться поступить в полк». «Полк — чудище обло».

Герд обещал ему место городского учителя в Петербурге. Гаршин колеблется и отказывается. Мотивы отказа — чисто гаршинские. Во-первых, «я считаю себя совершенно негодным для такого дела». «Все мои знания... ограничиваются тем, что я умею правильно писать по-русски, а затем *ничего*». «...Вырос никуда не годной вещью, которой хоть забор подпирай». Так характеризует себя известный писатель, человек, удивлявший окружающих разносторонней эрудицией, познаниями в литературе и ботанике, технике и орнитологии. Во-вторых, место обещал Герд. А «прибегать к помощи протекции, чтобы мне оттереть действительно годного человека, как-то погано». И опять: «отогнать от места какого-нибудь действительно нужного человека только потому, что у меня есть «протектор»... мне кажется чем-то не совсем опрятным».

Оставался один путь в будущее — писать. «...Ну, на какого черта я гожусь, если не писать», — и печально: «а писать я, право, кажется, не буду никогда».

Он набрел на компромисс — переводы. Гаршин перевел «Коломбу» Мериме. Сперва боялся — сумеет ли работать («перевод должен быть такой книги, печатание которой можно отложить на неопределенное время»). Но работал легко и радостно — за первые же десять дней перевел более двух листов; всю повесть (полтораста журнальных страниц) закончил за полтора месяца.

...Голоса из жизни все решительнее прорывались сквозь кольцо времени. Это были голоса будущего.

Они звучали в «Отечественных записках», которые приносили в Ефимовку слово Щедрина и Успенского. Гаршин восхищался Глеб-Ивановичевой «Властью земли»: «Я давно ничего не читал с таким наслаждением». Впечатления от прочитанного дополнялись впечатлениями от увиденного. И здесь, в Ефимовке, на маленьком кусочке земли (пять верст туда, пять — обратно), жизнь текла по общим законам. Гаршин внимательно рассматривал все вокруг: беседовал с крестьянами и дядиными рабочими, записывал показания в судебной камере и заглядывал в кабаки.

Он смотрел вокруг, делал выводы, но не писал о том, что видит. Он объяснил: «во всяком случае не начал бы писать о «херсонском народе», не потому, что он «херсонский» и неинтересный, а потому, что ни уха, ни рыла в нем не смыслю... Да по правде сказать, интересен «народ» только как материал для исследований вроде Гл. Ивановичевых. А я этого не умел никогда и не умею».

«Не смыслю ни уха, ни рыла...» И тут Гаршин был слишком скромен. Он очень даже смыслил. И на ефимовском «пятачке» он сумел неплохо разобраться в том, что происходит вокруг. Многие писатели-народники вполне могли бы ему позавидовать. Гаршин писал: «Вот насчет социальных стремлений, так скажу, что не знаю, как в других местах, а здесь в Херсонском уезде Херсонской губ. с «Черным переделом» очень туго. Всякий норовит набить себе в карман «капытул» и на этот капытул купить земли... Все держится на отношениях хозяина и батрака».

...Был конец января 1882 года. Почти два года назад исчез Гаршин из Петербурга. Он считал, что о нем забыли. О нем помнили.

Лев Николаевич Толстой собирался в Харьков, между прочим, и затем, чтобы навестить Гаршина в лечебнице.

Салтыков-Щедрин справлялся о его здоровье.

Тургенев настойчиво приглашал к себе в Спасское-Лутовиново.

27 января 1882 года в харьковской газете «Южный край» появилось сообщение: «Всеволод Гаршин, молодой писатель, находящийся в доме умалишенных в Харькове, ныне, как передают, совершенно выздоровел и готовит продолжение прелестных своих этюдов «Люди и война».

Это тоже были голоса будущего. Помнили и ждали не только Гаршина. Ждали Гаршина-писателя. Новых вещей его. Каких?..

Вот заметка из «Петербургского листка» от 29 января 1882 года: «На молодого писателя В. Гаршина, недавно только оправившегося от душевного расстройства и вышедшего из дома умалишенных,

где он находился на излечении почти целый год, знаменитая статья графа Л. Н. Толстого имела такое неотразимо тяжелое впечатление, что страстный до безумия поклонник автора «Войны и мира» опять, говорят, близок к сумасшествию».

Речь идет о статье Толстого «О переписи в Москве». Заметка наглая, все в ней ложь. Гаршин прочитал ее раньше, чем статью Толстого. Но заметка была по-своему проницательной. В ней было точно подмечено, отчего мог сойти с ума Гаршин, и хоть косвенно, но точно указано, каких тем ждали от писателя.

В толстовской статье говорилось:

«Что такое для нас, москвичей, не людей науки, совершающаяся перепись? Это две вещи. Во-первых, то, что мы наверно узнаем, что среди нас, среди десятков тысяч, проживающих десятки тысяч, живут десятки тысяч людей без хлеба, одежи и приюта; во-вторых, то, что наши братья, сыновья будут ходить смотреть это и спокойно заносить по графам, сколько умирающих с голода и холода».

И дальше:

«Будем записывать, считать, но не будем забывать, что если нам встретится человек раздетый и голодный, то помочь ему важнее всех возможных исследований, открытий всех возможных наук; что если бы был вопрос в том, заняться ли старухой, которая второй день не ела, или погубить всю работу переписи, — пропадай вся перепись, только бы накормить старуху!..»

Да ведь это совсем гаршинское! Графы переписи, спокойно отмечающие количество умирающих с голода и холода, сродни холодным военным реляциям: «Потери незначительны: убито 50, ранено 100». И заполнять равнодушно списки возле голодной старухи так же невозможно, как есть, пить, спать, когда для кого-то готовят виселицу.

Гаршинские темы ждали Гаршина. Голоса из будущего звали к возрождению.

Но... Он боялся отчалить от берега покоя. Ему нужен был капитан осторожный и чуткий. Та-

ким несколько месяцев спустя стал Тургенев. Пока же на капитанский мостик пытался взобраться человек, который готов был поднять паруса, не проверяя оснастки, — мать, Екатерина Степановна.

Она хочет, чтобы Всеволод писал. Она не желает понять, что писать он не может. Она говорит с ним, как с ленивым гимназистом: нет слова «не могу», есть слово «не хочу». Она бьет его по самому больному месту. Из письма в письмо он вынужден упрямо оправдываться, в одних и тех же выражениях объяснять, что писать он не то чтобы не хочет, а действительно не может. Осенью 1881 года, за полгода до того, как Гаршин почувствовал в себе силы покинуть Ефимовку, мать требует его в Петербург, «в самую центру» — и обижается, что он не едет, и сердится на него. Оправдания его, и без того считавшего себя неспособным ни к какому делу «приживальщиком», льются плачем: «Простите, голубушка моя, что, несмотря на ваши усиленные требования, я не исполняю вашего желания. Имейте еще снисхождение ко мне... Если бы я стал делать то, что мне *хочется,* то, конечно, я сейчас же бы и в Петербург приехал, и работы бы какой-нибудь стал добиваться, и работал бы. Но как подумаешь о своей искалеченной голове, то так и станет страшно: а вдруг опять то же? Ведь это хуже смерти».

Не дай мне бог сойти с ума.
Нет, легче посох и сума...

Екатерина Степановна знать этого не хотела — все взбиралась на капитанский мостик. Всеволод отстранил ее, сдерживая раздражение:

«Вы опять пишете мне «если бы ты захотел писать» и «а сможешь-то очень» и т. п. Раз навсегда я скажу вам, что *если бы я мог писать, то я бы и писал.* Ведь это бессмысленно было бы, мама, не хотеть делать того, что представляется единственным светлым местом жизни».

Слышно, как скрипят зубы. Гаршин рубил канат вежливо и решительно.

«Отдавай шварто-о-ов!» Дядя рассказывал: ночь, корабль в сверкающих черных волнах; матрос, облокотившийся на борт, тихо мурлычет одно и то же: «Отдай швартов!» Это можно было написать: мужика забрали в моряки; остались на берегу молодая жена, ребенок; четверть века службы, четверть века волны бросают его по белу свету; и, наконец, «Отдай швартов!» — согнутый ветрами старик спускается на родимый берег.

Гаршину хотелось писать. Он боялся писать. Он не мог писать. Но не писать тоже не мог.

И однажды он написал.

«ЖЕМЧУЖИНА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕССИМИЗМА»

Гаршин написал сказку. Затащил дядюшку к себе в комнату, затворяя по дороге все двери. Читал недолго — четверть часа: сказочка была крохотная.

На лице милого дядюшки застыло недоумение. Удивительная сказка!.. Что за герои? Улитка, навозный жук, ящерица, кузнечик, муравей. И еще ни с того ни с сего старый гнедой. А разговоры? Совершенно непонятные разговоры...

Ну, к примеру. «Герои» вполне серьезно рассуждают о том, «что есть мир?». Причем у каждого из собравшихся «господ» своя точка зрения. И вместе с тем все «точки зрения» в конечном счете одинаковы. Потому что все упомянутые господа только шагали, прыгали, ползали по земле, но не росли ввысь, чтобы видеть дальше. Поэтому мир для каждого из них ограничен своим, известным ему «пятачком». «Пятачки» разные, но не более чем «пятачки». Почти весь мир гнедого — это двадцать восемь верст от имения до города. Значимость отдельных пунктов «большого мира» (Лупаревки, Богоявленска, Николаева) определяется качеством имеющегося там сена. Кузнечик судит о просторах вселенной с высоты своего прыжка («я иногда вспрыгиваю, как только могу, вверх и, уверяю вас, достигаю

огромной высоты»). Улитке довольно и лопуха: «Я четыре дня ползу, а он все еще не кончается», — чем не веское свидетельство бесконечности мироздания?

Еще велись серьезные разговоры о смысле жизни. В чем он? Катать навозный шар для жученят? Таскать бревна для муравьиной казны? С мистическим спокойствием дожидаться смерти, чтобы стать после нее бабочкой с разноцветными крыльями?

...Недоуменное дядюшкино лицо.

Что же это такое? К чему все это? Да в том-то и дело, что ни к чему. Но в чем же суть нелепых, пустых разговоров? В том и суть, что они пустые. Праздная болтовня. Ведь кузнечик и сам признается: «...Потрещать очень приятно, особенно о таких хороших предметах, как бесконечность и прочее такое».

Ну, а как же с вопросом: «Что есть мир?» Мир собравшихся «господ» — полузаброшенная полянка в саду; с визгом зевающая от тоски собака; зарывшаяся в жирную грязь свинья с детками; петух, кричащий над этим сонным царством: «Какой скандал!» Это пространство. А время — ненавистные Гаршину часы послеобеденного ничегонеделания, кейфа, часы праздных размышлений на сытый желудок. Никчемное время тоскливого, душного сна — безвременье. Никчемное «общество неспавших господ» болтливых обывателей, играющих в принципиальность и смелость. «К твердым убеждениям нужно относиться с уважением», — упоенно трещит кузнечик, вступая в беседу с мухами, которые с воплем «Мы довольны» обсасывают свою дохлую, увязшую в варенье маменьку. «Мне оторвали его за то, что я решилась высказать свои убеждения», — твердит ящерица с поврежденным хвостом, только успевшая сказать: «Господа, я думаю, что все вы совершенно правы! Но с другой стороны...»

Заброшенная полянка — пустой, ничтожный мирок. Словно оранжерея, из которой уже вырубили гордую пальму. Остались гусеницы да улитки. Остались пузатые кактусы и всем довольные корицы. Тяжелое безвременье — как душный сон. Болтуны играют в героев.

Проснулся кучер Антон, пришел за гнедым и нечаянно придавил компанию своим сапожищем. Вот и все.

...Недоуменное дядюшкино лицо.

Не тревожьтесь, дядюшка. Ведь это всего-навсего сказка. Для детей господина Герда. И мыслей-то в ней никаких. Просто до ребячества нравится это звукоподражание: «Какой скандал!» и выражение «хвостяка». Если б не это, не стоило бы вообще писать этот вздор. Как мило, дядюшка, что вы смеетесь. Сразу видно, человек без предвзятых мнений!.. Может, написать еще несколько сказок и издать с посвящением любимому Андерсену, а?..

Надо же! Не писал, боялся взяться за перо, сочинил крохотную сказочку — и на тебе! Угодил «в самую центру», как любит поговаривать мамаша, Екатерина Степановна. Пуще всего ценил покой и здоровье, думать ничего не думал — и вот пожалуйста! Весь Петербург стремится проникнуть в «тайный смысл» пустяковой сказки, так и названной: «То, чего не было». Гадают: кто выведен под видом Антона, раздавившего компанию, — правительство? народ? призрак смерти? Ну, улитка — сытый обыватель, это еще понятно, а, к примеру, гнедой? Или мухи, обсасывающие дохлую маменьку? Странные люди! Ну, неужели нельзя вот так, как дядюшка, без предвзятых мнений?..

«...Мне и в голову не приходило, что за этими Антонами и мухами можно угадывать что-нибудь, кроме мух и Антонов. Как хорошо прежде было: сиди себе и бряцай «рукой рассеянной», а теперь только начнешь бряцать — думаешь: просто струну невинную зацепил, ан, оказывается, что NN за нос задел...»

Но люди не были странными. Они уже привыкли расшифровывать сказки Андерсена. Они уже читали о делах российских в сказках Салтыкова-Щедрина. Им было безразлично, что хотел сказать своей вещицей *лично* Гаршин. Им было тем более безразлично, что он ничего не хотел ею сказать. Отрицая «тайный смысл» сказки, Гаршин не захотел вспомнить о том,

что порой Время водит рукой художника. Время пишет между строк, и люди читают начертанное Временем. Читают по-разному — каждый со своей точки зрения.

Не мог такой художник, как Гаршин, хотел он того или нет, обойти сторонкой Время. Не мог он невинно цеплять струны, не вкладывая в музыку частицы своей души. Он сам «нес в себе музыку своего времени», — говорил о Гаршине Мейерхольд.

Люди читали «То, чего не было» с предвзятым мнением.

Одни узнали в сказке себя и, отталкивая ее, кудахтали возмущенно: «Но что значит она? Не то ли, что придет «Антон» и все мы будем «там», откуда никто не приходит? Нет, пусть приходит Антон, а пока мы живы, будем мыслить и говорить не то, конечно, что говорят кузнечики и ящерицы; но ведь не в них и дело. Пусть мы будем ошибаться; но «ошибаться свойственно человеку», без ошибок не будет и истины, если только она возможна» (чем не трескотня либерального кузнечика!).

Другие, подобно Глебу Успенскому, брали сказку на вооружение: «В ней всего пять-шесть страниц, но попробуйте сосчитать по пальцам, каких сторон жизни хотел коснуться в ней Гаршин: всё, что составляет для всего общества насущнейшую заботу переживаемого им времени, — все стремится Гаршин затронуть, поставить на свое место, указать связь между всей цепью явлений текущей действительности».

Выразительность, сжатость и горький юмор этой аллегории тяжкого времени, периода видимого запустения, высоко оценил Короленко. Он назвал невеселую сатирическую сказку «жемчужиной художественного пессимизма».

«ПЕТЕРБУРГСКИЕ ПИСЬМА»

«Я не был в Петербурге почти три года. Странное волнение охватило меня, когда поезд, перейдя Обводный канал, стал идти тише и тише, когда замелькали красные и зеленые фонари, когда под сводом дебаркадера гулко заревел свисток. Я не петербуржец по рождению, но жил в Петербурге с раннего детства, свыкся с ним, узнал его; южанин родом, я полюбил бедную петербургскую природу... полюбил беспрерывную сутолоку на улицах, бесконечные ряды домов-дворцов, чистоту города, прекрасные городские сады, Неву... Полюбил я петербургскую жизнь, ту самую, о которой собираюсь писать теперь на родину физическую с родины духовной. Вот это-то последнее, что Петербург есть духовная родина моя.., заставляет, когда подъезжаешь к городу, волноваться...»

Фельетон назывался «Петербургские письма». В харьковской газете «Южный край» Всеволод Гаршин объяснился в любви к Петербургу.

...Поезд стал идти тише, тише, дохнул густым белым паром и, лязгнув напоследок буферами, замер у тупика. Сотни ног шаркали по доскам перрона. Люди деловито и сосредоточенно торопились к выходу, словно там, за воротами вокзала, решались их судьбы.

Будущее было неясно. Гаршин смотрел в сгрудившиеся у выхода чужие спины. Он не спешил. Хотел даже остановиться, пропустить людской поток. Но толпа подхватила его, вышвырнула на шумную площадь.

Промытый ночным дождем Невский поблескивал и сушился, потягиваясь, в янтарных лучах утреннего майского солнца. Петербург!.. Гаршин остановился и как-то сразу вобрал в себя и это неяркое небо, и строгие ряды сросшихся плечами зданий, и людей, — от весны, что ли? — показавшихся веселее и наряднее.

Он двинулся вперед — неторопливо, неуверенно, как бы пробуя и свои силы и прочность лежащей под ногами, скованной камнем земли. А Невский все разворачивал и разворачивал перед ним широкое серое полотно. Гаршин шел быстрее, легче. Потом, радостно ощутив вдруг, как уверенностью наливается тело, зашагал по-гаршински стремительно. Красавцы

дома один за другим, отразившись на мгновение, тонули в глубоких его глазах. Гаршин прибавлял ходу. И не остановись он вовремя — так, наверное, и взбежал бы по крутому адмиралтейскому шпилю и исчез в зацепившемся за иглу золотистом облачке.

...— Лестницу, лестницу ставьте! — командовала из окна молодая женщина. — Вот так! Да не взбирайтесь втроем, здесь и двоих довольно. Теперь подавайте воду!..

Внушительный брандмейстер в отливающей золотом каске злился:

— Сударыня, на пожаре я распоряжаюсь!..

Получилось удивительно нелепо: квартира пострадала от огня, вещи пришлось перетащить в соседнюю, а разобрать их даже времени не нашлось — утром надо было бежать на экзамен.

Надежда Михайловна волновалась: все-таки полночи не спала, командовала пожарными, спасала имущество — было от чего позабыть все, что учила. Но, несмотря на происшествие, экзамен сдала благополучно. А когда сдала, почувствовала себя такой усталой, что не захотела возвращаться в неубранную, заставленную прокопченными, подмокшими вещами комнату. Махнула на все рукой и отправилась ночевать к родным.

Домой приехала лишь на следующий день. Отворила тихо дверь. На краешке незастеленной, стоявшей посреди комнаты постели примостился какой-то человек. Уткнулся в поднятую, видно, с пола, растрепанную книгу без переплета. Надежда Михайловна пригляделась — перехватило дыхание. Уйти?

— Всеволод Михайлович!

— Надя, голубчик!

Взялись за руки. И словно не было этих долгих безнадежных месяцев.

— Почему ты не писал?

— Я не мог. Я хотел тебя видеть...

Она вспомнила, как примчалась из Петербурга в Харьков, вспомнила бесконечные глухие стены Сабуровой дачи, за которые ей так и не удалось проникнуть, — Всеволоду было тогда совсем плохо.

— Я хотел тебя видеть...

Они виделись позже, когда его перевели в петербургскую лечебницу доктора Фрея. Она смотрела на него и говорила ему о любви, а он грустил и плакал, точно не замечая ее. Она думала: «Не утешает его моя любовь. Значит, не любит».

— Я хотел тебя видеть...

Лил дождь. Его увозили домой. У двери вагона она сказала: «Не мучь себя никакими обязательствами. Если захочешь, напиши мне». Он кивнул.

— Почему ты не писал? Я ждала...

Он вспомнил, как боялся положить перед собой лист бумаги, взять в руки перо.

— Я ждала...

Его вопросы о ней окружающие топили в холодных вестях: говорят-де, что он ей не нужен, что даже упоминать о нем она запретила.

— Я ждала...

Ну конечно, ждала! Он смотрит ей в глаза. Ее глазам он верит во сто крат больше, чем обдуманным фразам других людей.

— Как все хорошо! Вот я и нашел тебя!

— Я уезжаю. Вот только экзамены сдам. Поеду на Волгу, в маленькую больничку — попрактиковать, поработать около больных.

— Ты останешься!

— Я поеду. Ненадолго, всего на четыре месяца.

— А я?

— Ты будешь ждать...

...Он ждал. Писал ей о своей любви. Она отвечала сдержанно: настрадалась от сомнений за время его молчания и боялась снова отдаться большому чувству.

Он ждал.

«Милая моя голубка, чем больше я о тебе думаю, тем больше чувствую себя виноватым перед тобою и тем больше люблю тебя».

«Вспомни, что я в этом большом Питере совсем, совсем один».

«...Все острее и острее делается во мне чувство скуки и пустоты без тебя».

«Голубушка моя, пожалей меня, пришли несколько слов!»

...Они обвенчались в начале следующего, 1883 года. Гаршин с любовью отмечал каждый месяц своего счастья.

«Послезавтра минет полгода, как мы обвенчались, и эти полгода — самые счастливые дни моей жизни...»

«Вот одиннадцатый месяц, как мы обвенчались Всегда буду помнить этот год с благодарностью богу и судьбе».

И еще через два месяца: «...Теперь, как никогда, вижу, как хорошо я сделал, женившись на Наде».

Гаршин был счастлив с Надеждой Михайловной пять лет. Всю жизнь.

«Я не был в Петербурге почти три года. Странное волнение охватило меня, когда поезд...»

Первый фельетон из цикла «Петербургские письма» появился в харьковской газете «Южный край» 2 июня 1882 года.

Писатель Гаршин, видно, и в самом деле сильно соскучился по Петербургу. Иначе зачем бы ему предпосылать занимательному рассказу о дачном сезоне и о «приятеле своем», вездесущем чиновнике Иване Ивановиче, нечто вроде «слова» о граде Петровом. Сделав подобное заключение, харьковский «проницательный читатель» пропускал скучное предисловие и переходил непосредственно к описанию петербургских дач и многочисленных знакомств Ивана Ивановича. И зря! В предисловии этом — вся суть!

Петербург не чопорный, равнодушный город, как это принято считать, утверждает Гаршин, а настоящая столица России. Почему? Аргумент приводится веский и своеобразный: да потому, что «удары, по всему лицу русской земли наносимые человеческому достоинству, отзываются, и больно отзываются, здесь». Сюда, в столицу, сходятся все нити «реальной и могучей связи» народа с лучшими людьми его — с теми, у кого «есть глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать», с теми, о ком Гаршин, по его словам, «говорить не будет». Все же он отмечает, что проживающие в Петербурге *люди, слышащие и видящие,* принимают в равной степени близко к сердцу интересы старобельские (столь знакомые харьковскому «проницательному читателю») и вилюйские (хорошо известные тем самым «всяким людям», о которых Гаршин «не будет говорить»). И тут же многозначительное замечание, определяющее место и точку зрения самого автора: «...Для фельетониста, пишущего петербургские письма, нелегко ограничиться чисто местными интересами... чего доброго, поинтересуешься познакомиться и с «более отдаленными местами» востока и «тундрами» севера». Так, почти в открытую, ведется разговор о Петербурге как духовном центре, связывающем тех людей, сердцу которых близки интересы всего народа, за что и уготованы им отдаленные места востока и северные тундры.

Тяжкое время. Безвременье. Совиные крыла неподвижно распростерты над головой. Только поначалу показалось, что солнечно в Петербурге, а на самом деле — зной и духота. Болтуны играют в героев. Героев не видно. «Иных уж нет, а те далече». О тех, кто «далече», Гаршин напомнил в первом фельетоне. Во втором напомнил о тех, кого уж нет. Второй фельетон из цикла «Петербургские письма» тоже состоит из двух трудносовместимых кусков. Рассказу о петергофском гулянии предшествует описание Волкова кладбища. Начинается оно сжатой до трех слов экспозицией сказки «То, чего не было»: «Лето, жара и тоска».

Сказочник Гаршин отыскал в душный и сонный полдень «компанию неспавших господ». Гаршин-фельетонист бежит от этой компании прочь: «Пойду на кладбище. Если скучно среди живых, то куда же деваться, как не к мертвым?»

Но не просто к мертвым ведет за собой читателя Гаршин. Он выбрал для прогулки именно тот уголок кладбища, где спят вечным сном Белинский, Добролюбов, Писарев. Этот и без того маленький уголок

все плотнее сжимают со всех сторон камни с выбитыми на них «темными именами». «Толпа, которую они любили и учили и которая задушила их, не оставила их и после смерти, стеснила и сдавила их маленький уголок так, что новому другу уже негде будет лечь...»

И как горький упрек: «Мы умели только брать от них, ничего не давая взамен».

Лишь немногие надписи сохранились на памятниках павших борцов, и не лежат больше венки у подножия их. Звучит скорбное «Забыли...»

На могилу Белинского наступают могилы купцов второй гильдии и надворных советников, ордена святого Владимира кавалеров.

Мельком, как бы случайно, упоминание о «большом скандале» на похоронах студента Чернышова — упоминание о минувшем недавнем времени. Петербург теперь не хоронит героев. И некому отнести цветы на их могилы. На кладбище, как и всюду, безвременье. «Иных уж нет, а те далече...»

Тяжкое время...

...Были не только мертвые. Остались и живые. Гаршин отправился в Ораниенбаум, на дачу к Салтыкову-Щедрину.

Михаил Евграфович сидел в саду с каким-то молодым поэтом, красным и взмокшим от волнения. Перелистывая толстую новенькую тетрадь, ворчал:

— И что вы так много пишете? Ужель покороче нельзя? Ну вот, к примеру. Разве это стих, голубчик? Это не стих. Это шест — голубей гонять.

Увидел Гаршина. Поздоровался приветливо. Кивнул на гамак: «Отдыхайте, я сейчас».

Гаршин прилег. Зажмурился. Солнце ласкало — не жгло. Гамак покачивался едва-едва.

Открыл глаза — Салтыков-Щедрин стоял над ним задумчиво.

Михаил Евграфович спрашивал о том, о сем. И вдруг прямо, без обиняков:

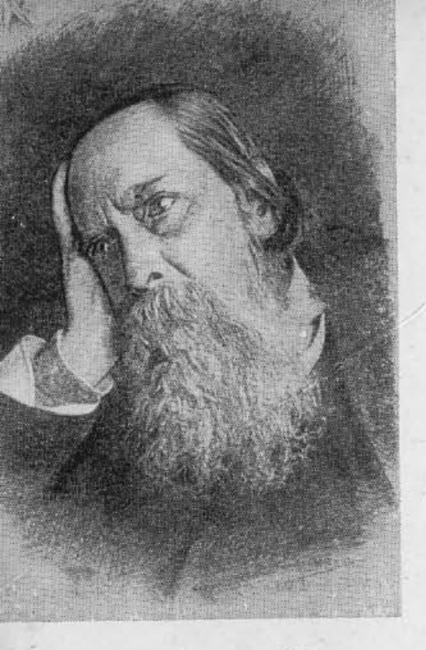
— Писать-то теперь будете?

— Буду.

— Жду.

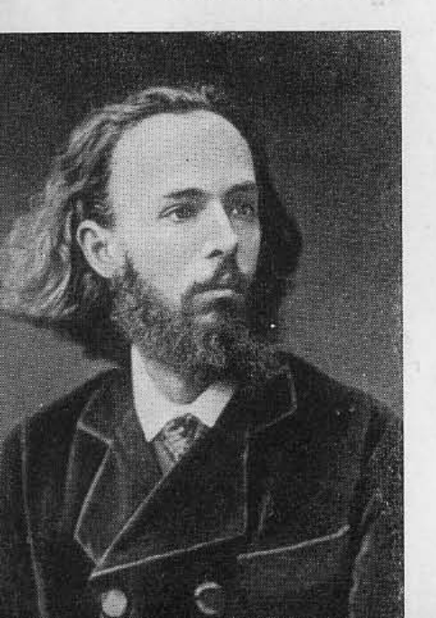


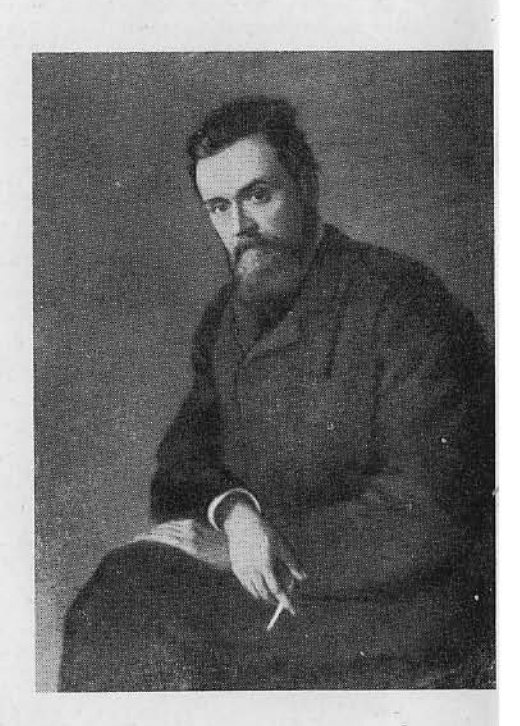
В. М. Гаршин. Фото 1884 г.



М. Е. Салтыков-Щедрин.
Офорт В. В. Матэ с фотографии.

С. Я. Надсон. *Фото.*





Г. И. Успенский. *Портрет работы Н. А. Ярошенко.*

Небольшая книжка не залеживалась на магазинных полках. За два года были распроданы два издания. Ее покупали, тотчас прочитывали и передавали друг другу. Ее горячо хвалили, от нее морщились, о ней спорили. Мало кто, перевернув последнюю страницу, оставался равнодушным. Книжка называлась: «Всеволод Гаршин. Рассказы. С.-Петербург. 1882 г.».

Первая книга гаршинских рассказов вышла через два месяца после его возвращения из Ефимовки. Гаршин мечтал о ней еще там, в деревне, когда хватала за горло тоска, рожденная одной упрямой и страшной мыслью: «Я не могу писать». Он подсчитывал количество страниц в своих немногих (и десятка не наберешь!) рассказах, он оценивал их: «Если в них нет большого уменья и блеска, то все-таки есть одно достоинство: писал я их искренно, не сочиняя, а выкладывал на бумагу то, чем действительно душа мучилась». И тут же сообщал с напускным практицизмом: «Хочу продать рассказы кому-нибудь», «сколько... может быть, за рассказы», «думаю продать рассказы». От этих слов веет рябининским ужасом!

...Гаршин нетерпеливо читал корректуры, торопил типографию, злился из-за цензурных задержек — он хотел поскорее взять в руки эту первую свою небольшую книжицу. Когда будущего не было, издание рассказов казалось необходимым итогом, памятником некоему писателю Гаршину. Но получилось не так. Книжка стала одновременно итогом и началом, не крышей — этажной площадкой: выше еще вел путь. Через несколько дней после выхода «Рассказов» Гаршин писал:

«С книжкой я все дела покончил... Послезавтра засяду писать, просто руки у меня чешутся, так хочется что-нибудь новое выдумать».

Будущее начиналось снова.

...Журналы и газеты публиковали на книгу рецензии. Называли: «молодым талантливым писателем», «талантом», «симпатичным талантом». Призна-

вали: «лиризм», «искренность и задушевность», «оригинальность, сжатость, отчетливость». И тут же иные осуждали сурово: Гаршин — «певец уныния... полного разложения веры в грядущее и в самих себя»; «его воззрения в высшей степени скептичны и неопределенны», он скептически относится «к нашей борьбе», он оставляет в стороне «общественные интересы и всякого рода злобы дня».

На первый взгляд куда как прогрессивно! Вроде бы «критика Гаршина слева». И примеры как будто убедительные (они почти во всех статьях одни и те же) Герой «Ночи» умирает, не начав борьбы? Умирает. Пальма говорит: «Только-то?» Говорит...

Но ведь вот что интересно: вся эта вроде бы «критика слева» велась совсем не слева. Не стояли на левом, самом прогрессивном фланге русской печати авторы статей, упрекавшие Гаршина за «ироническое» отношение «к общественным идеалам и задачам», объявлявшие, что талант его силен «субъективными свойствами», наконец утверждавшие, что Гаршин «вообще не является выразителем умственных и нравственных стремлений какой-либо части современного нам общества...»

И наоборот. От всей этой «критики слева» защищали писателя именно те, кто должен был бы в первую очередь обрушиться на Гаршина за антиобщественные настроения в его творчестве, если бы таковые настроения только были. Общественную значимость и силу гаршинских рассказов подчеркнул и анонимный рецензент «Отечественных записок», и революционер-народоволец П. Якубович, выступивший со статьей в «Русском богатстве».

Зачем же понадобилось благонамеренным господам при оценке гаршинского творчества вооружаться левыми лозунгами? Да потому что заявить, что Гаршин далек от злободневных общественных интересов, что общественные идеалы чужды ему, значит попытаться изолировать писателя от общества, от времени, сгладить острую критику действительности, которая заполняла его рассказы. Гаршин «не является выразителем... стремлений какой-либо части общества», он «не с явлениями жизни знакомит вас, а с чувствами, которые возбуждаются ими», он силен «субъективными свойствами». Но коли так, то, следовательно, и протест Гаршина не был протестом общественным, и «проклятые вопросы», над которыми бился писатель, интересовали лишь его самого, и жгучие чувства, мучительные думы гаршинских героев тоже их личное дело.

Благонамеренные критики твердили о пессимизме Гаршина, о мрачном взгляде на жизнь, которая-де «представляется ему в ужасающих формах». Они словно бы не замечали, что, отрицая пытку «чистым обществом», на которую обречена Надежда Николаевна, Гаршин требует чистоты и справедливости человеческих отношений; что, отрицая торгашеское искусство Дедова, Гаршин борется за идейную убежденность искусства Рябинина; что, отрицая эгоизм Алексея Петровича, Гаршин говорит о необходимости слияния с общей жизнью народа. Эти критики не пожелали увидеть за гаршинским отрицанием то, что он утверждал, за отчаянием — разглядеть протест, за мучительной болью, которой жгли сердце «проклятые вопросы», — страстное желание их решить. «Левой» фразой благонамеренные господа хотели приглушить социальное звучание гаршинских рассказов, под «левым» выкриком таились либеральные «умеренность и аккуратность».

«Гаршин сильнее всех молодых писателей будит мысль читателя; он волнует и терзает нас так же, как терзаются его герои, как, очевидно, сам он терзается. И эти терзания... знакомы всей лучшей части нашей интеллигенции...

Общественный смысл и общественное значение имеет эта маленькая книжка, рассказы Всеволода Гаршина».

Вот как характеризует Гаршина и его книгу народоволец Петр Якубович.

В его характеристике чувствуется желание ясно определить место Гаршина в обществе и своем времени. Причем писатель и его творчество рассматриваются с подлинных позиций левого фланга, которые

ничего общего не имели с фразерством тех, что играли в героев. Якубович связывает Гаршина с русским революционным движением. «Некоторые важные, специально-русские черты жизни» (имеется в виду революционное движение) сыграли огромную роль в формировании Гаршина как личности и как писателя. Они, с одной стороны, затормозили развитие «его отчаяния и скептицизма» (то есть вселили в него надежды), с другой — «увеличили его муки», «разредив окружающий мрак, сделали его, быть может, более зловещим, более способным леденить кровь и наводить трепет» (в лучах революционного подъема еще страшнее, еще неприемлемее показались «ужасающие формы» действительности).

Герой Гаршина не может «жить, как единицы» (читай: борцы-революционеры), но он и не может «жить, как все». От гаршинского пессимизма путь не к отчаянию забившегося в нору обывателя, а к протесту. Такой протест еще не выливается в революционное действие, но это беспощадный протест (недаром Якубович говорит о *ненависти* Гаршина) десятков и сотен, которых разбудила революционная волна, которые больше уже не смогут спать.

Пробуждающегося человека, ощупью, но уже настойчиво ищущего света и выхода из бездны мрака и лжи, увидел в произведениях Гаршина и анонимный рецензент из «Отечественных записок».

Гаршин пишет и о «представителях щучьих идеалов, носителях девиза «грраб!», но подлинный его герой — это «человек, задумавшийся над самим собой, над окружающим миром с его горем и страданиями, человек неудовлетворенный». Такая неудовлетворенность вовсе не ведет к отчаянию и безысходности. Гаршин утверждает: «Исход есть!», — говорит рецензент и приводит как доказательство слова из «Ночи» о необходимости жить интересами человеческой массы. «Нужно выбирать одно из двух: или жить во имя щучьих идеалов, или силою любви и страдания искупить несправедливость и зло одряхлевшего и развращенного мира».

В «Отечественных записках» была напечатана

также статья Н. Николадзе «Борцы поневоле». Она существенно отличается от анонимной рецензии. Герои Гаршина не «гиганты современности», доказывает автор. Это «смирные и добродушные» натуры, которые поставлены обстоятельствами перед необходимостью как-то участвовать в общей борьбе. Они не могут ни втянуться в нее активно, ни убежать от нее. «Судьба навязала им борьбу, требующую несравненно более пламенных чувств и сил во сто крат могущественнее тех, какими располагают эти натуры».

Но и со своей точки зрения Николадзе защищает Гаршина от обвинений в том, что он-де проповедует мрачное отчаяние и самоубийство, подрывает веру в полезность борьбы. Критик защищает Гаршина за счет его героев. У Гаршина свой герой, считает Николадзе. Писатель не касается тех, кто умеет любить и ненавидеть всеми фибрами души, да таких пока еще и мало.

Интересен финал статьи Николадзе: здесь утверждается сила и пафос «Attalea princeps» — произведения, из которого иные критики как раз и тщились вывести мрачный и антиобщественный гаршинский пессимизм. (Между прочим, сказку о гордой пальме одобрительно оценил и Якубович, увидевший в ней своеобразное отражение «общего подъема духа в нашем молодом поколении».)

Любопытное явление! Те, что совсем недавно скептически и настороженно относились к борьбе, теперь смаковали реплику пальмы — знаменитое «Только-то?», укоряли Гаршина («лучше умереть в этой борьбе, чем постыдно изнывать в рабстве»), закрывали глаза, не желали видеть героизма несмирившегося дерева, его «неудержимой жажды свободы» (слова Якубовича). А «Отечественные записки», которые из-за этого самого «Только-то?» три года назад отвергли сказку, теперь, будто не замечая пресловутой реплики, читали в образе героини пальмы воплощение призыва к борьбе.

В чем дело? Есть ли логика и последовательность в этой странной переоценке ценностей? Есть! Логика

Времени. Когда трещали решетки темницы, когда герои ходили по улицам, «Только-то?» исхода (пусть даже имевшее свой смысл) мешало борьбе. Но настало иное Время. Разорванные прутья клетки заменили новыми, прочными, ночь упала на оранжерею, растения спали, и болтуны играли в героев. О, как нужен был призывный крик боевой трубы! Зов к свободе, к свету читался теперь в сказке Гаршина, а не страшное «Только-то?», ставшее в годы безвременья обыденной жизнью.

«Если так томятся и страждут создания, которым сам бог велел расти в оранжереях, — писал Николадзе, — если и они вынуждены вступать в борьбу.., если и они одолевают, не нуждаясь в победе и не ища ее благ, то судите сами — что́ должны чувствовать дубы могучие, задыхающиеся в оранжерее и вполне способные выдержать невзгоды родной природы».

...Небольшая книжечка. Восемь маленьких рассказов. Спорили читатели. Не о сюжетах и метафорах — о своей жизни. Спорили критики. Не о литературных делах — о борьбе. Равнодушных не было. За два года — два издания. Книжку покупали, читали, передавали друг другу.

ВСПОМИНАЕТ РЯДОВОЙ ГАРШИН

«Право, мы убиваем в себе любовь к природе и поэтическое чувство, вставая в 8—10 часов». В пять утра Гаршин уже заканчивал прогулку. Из-за рощи, в которую упиралась широкая сельская улица, выползло большое мохнатое солнце. Старая лиственница легонько царапала небо порыжевшими пушистыми лапами. Береза тонко звенела. Осень... Ветер сорвал с березы несколько листков, погнал по дороге. Словно золотые динары сверкнули в пыли.

...Говорилось в каком-то предании: бедняк показал дервишу мелкую монету, и дервиш схватил монету и зажал в кулаке, а когда разжал пальцы, на ладони его блестел золотой динар; бедняк схватил

динар, но — увы! — в руке у него была снова мелкая монета.

Так и в этом плохо устроенном мире: золото оборачивалось позеленевшей медью. Величие и самопожертвование героев обернулись террором. Мимолетная надежда на великодушие властей натолкнулась на ложь и убийство. А человек искал в жизни ценность подлинную, непреходящую.

Однажды он нашел ее, теперь надо было найти снова — в себе. Все вспомнить, чтобы рассказать другим.

В последние свои часы Алексей Петрович, герой «Ночи», увидел выход из тупика: нужно отвергнуть свое «я», связать себя с общей жизнью, уйти в «огромную человеческую массу». То, что понял Алексей Петрович лишь накануне смерти, Гаршин продумал и выносил на заре большой жизни, в далеких и трудных солдатских переходах.

...Дорога упиралась в рощу. За рощей пряталась усадьба. Через пустую гостиную Гаршин прошел в кабинет, опустился в большое, удобное кресло. Над письменным столом — гравированные портреты: Белинский и Щепкин. За этим столом хозяин дома создал «Рудина» и «Дворянское гнездо», дописывал «Накануне». Лето 1882 года Гаршин провел у Тургенева, в Спасском-Лутовинове.

Еще в феврале Тургенев писал в Ефимовку:

«...С первых чисел мая я уже в деревне, в которой проведу лето. — Я и в прошлом году рассчитывал на то, что авось вы у меня погостите; а уже в нынешнем вы наверно мне не откажете. — Воздух там отличный, гулять есть где — спокойствие и тишина полные... Словом все, что нужно для того, чтобы окончательно поправиться и работать».

Поехать к Тургеневу стало желанием неотступным. Познакомиться с мастером, который открыл в нем наследника.

Тургенев был опытным капитаном. Он не требовал капризно: «Пиши!» Он верил в Гаршина. И Гаршин писал.

Дом был без хозяина. Тургенев не приехал

в Спасское-Лутовиново ни в первых числах мая, ни в первых числах июня. Он вообще больше не приезжал туда. Его письма к Гаршину мудро-спокойны, сердечны и ободряющи. С доброжелательством учителя и товарища по общему делу следил он за возрождением наследника.

«..А там в одно прекрасное утро и перо в руки возьмете». «...Ваш своеобразный талант не ослабел... вы выздоровели совершенно». «Очень бы я обрадовался извещению о возобновлении вашей деятельности: вы знаете, какое участие она во мне возбуждает...». «...Не возвращайтесь мыслью к вашему прошедшему... Отдайтесь самому делу». «...Радуюсь, что пребывание ваше в деревне... возвратило вас к литературной работе».

Тургенев писал Гаршину, что из-за «глупой болезни» вынужден отложить свой приезд. Ну, да ничего: они увидятся и познакомятся в мае... осенью... к началу зимы... В это же время Тургенев писал поэту Полонскому, что уже никогда не возвратится домой: «Когда вы будете в Спасском, поклонитесь от меня дому, саду, моему молодому дубу — родине поклонитесь, которую я уже, вероятно, никогда не увижу».

Тургенев умирал в Буживале.

...Гаршин сидел в кабинете Тургенева. За этим столом были созданы «Рудин» и «Дворянское гнездо». На старых журналах стояли метки «В.Б.» — Виссарион Белинский. Белинский внимательно и строго поглядывал со стены на пришельца, который принял ключи от опустевшего дома. Дом был без хозяина.

Кроме Гаршина, в Спасском-Лутовинове жил Яков Петрович Полонский с семьей. Гаршин шутил: «Музыка, живопись, скульптура и поэзия! Целая академия!» И в самом деле, поэт Полонский любил поработать кистью, его супруга лепила, домашняя учительница Полонских была отличной пианисткой. Гаршин ничего не сказал о прозе. А надо бы! В Спасском-Лутовинове он написал «Из воспоминаний рядового Иванова».

...Не четыре дня и даже не десять — месяцы. Не поляна в кустарнике под Есерджи, не дом-аквариум инженера Кудряшова, не скованная решетками оранжерея — версты, сотни верст. Это были новые масштабы пространства и времени, но и герой был новый — народ. Он жил не в мыслях и чувствах людей «гаршинской закваски», а сам, во плоти, ввалился на страницы гаршинского рассказа и заполнил для него уготованные месяцы и версты.

Собираясь в Спасское-Лутовиново, Гаршин писал: «Хочу продолжить «Людей и войну». Он так и не завершил эту книгу, давно задуманную и начатую некогда рассказом о денщике Никите. Но «Воспоминания рядового Иванова» — это тоже люди и война.

Офицеры Болховского полка прочитали «Воспоминания» и сказали: «Документ». Прочитал Короленко и сказал: «Симфония». Рассказ Гаршина был документально точен, но в протоколизм документа был вкован стройный и гармоничный рассказ-размышление о «человеческой массе», о ее движении, о возможности слияния с нею всегдашнего гаршинского героя, молодого интеллигентного человека мучительно пытливой мысли и мучительно чуткой совести. Как в музыке, темы звучат самостоятельно, и сливаются, и рождают новые темы.

...Поднялось, всколыхнулось, двинулось великое множество народа. От дома, от семьи пошло «куда-то под пули и ядра». Зачем? Во имя чего? Неведомо. Знают солдаты, что «не на праздник» идут — «к черту в лапы».

Идут... И вот в эту «общую жизнь», движущуюся человеческую массу включается гаршинский молодой человек — рядовой Иванов.

Не он первый. Был другой «барин Иванов», тот, что лежал четыре дня, один на один с собой, возле убитого им человека, и спрашивал исступленно: «Кто виноват?» Был «трус», которого толкнула на войну совесть, — он обязан разделить общее горе! — острое чувство ответственности перед народом. «Трус» преодолевал себя, когда пошел в поход, да так и не

преодолел: участие в войне было для него святой обязанностью, но обязанностью. Рядовой Иванов из «Воспоминаний» не преодолевал себя, а освобождал. Не решал проклятых вопросов, а избавлялся от собственного «я». Не «разделял» с народом, а стал народом. Сбросил с себя ответственность перед народом и растворился в нем.

Душе легче было в трудном походе, чем в одиноких столкновениях с жгучими фактами повседневной жизни. Иванов слился с массой и стал спокоен. «Никогда не было во мне такого полного душевного спокойствия, мира с самим собой и кроткого отношения к жизни, как тогда, когда я испытывал эти невзгоды и шел под пули убивать людей». Как на длинном марше: сперва стараешься не спутать ногу и за дорогой следить, а потом перестаешь замечать себя в общем движении: неторопливо думаешь о своем и идешь, идешь, идешь...

Пока...

«...— Вставай! Сейчас же вставай! А! Ты не хочешь? Так вот тебе, вот тебе, вот тебе!

Венцель схватил свою саблю и начал наносить ее железными ножнами удар за ударом по измученным ранцем и ружьем плечам несчастного. Я не выдержал...»

Рядовой Иванов не выдержал. Он подошел к разъяренному офицеру и схватил его за руку.

«— Слушайте, Иванов, не делайте этого никогда!.. Вы должны помнить, что вы рядовой и что вас за подобные вещи могут без дальних слов расстрелять!

— Все равно. Я не мог видеть и не вступиться».

И снова мерное покачивание солдатских рядов, версты пути, снова непрочная вера в свое кроткое отношение к жизни и в мир с собой.

Пока...

«...Сзади послышались какие-то странные мерные, плескающие звуки. Я обернулся.

...Венцель, что-то хрипло крича, бил по лицу одного солдата. У меня потемнело в глазах, я сделал движение».

Рядового Иванова спас его друг, старый солдат Житков, — силой удержал от вмешательства.

«— Кровопивец! — с ненавистью в голосе сказал Житков о Венцеле. — А ты, барин, тоже!.. Чего лезть? Под расстрел угодить хочешь? Погоди, найдут и на него управу.

— Жаловаться пойдут?.. Кому?

— Нет, не жаловаться. В действии тоже будем...

И он проворчал что-то, почти про себя. Я боялся понять его».

Так в раздумчивые воспоминания о жизни общей врезается острая, конкретная гаршинская тема. Никакого следа от кротости и спокойствия. Разве только, что Иванов спокойно, не возражая, выслушал угрозу старого солдата свести в бою счеты с кровопийцей Венцелем.

Золото подчас оборачивается медью. Как определить истинную ценность человека? Рябинин и Дедов проверяются на их отношении к искусству. Иванов и Венцель — на их отношении к человеческой массе.

Венцель умен и хорошо начитан (он, однако, подобно Дедову, презрительно отвергает «сиволапое направление» в искусстве и литературе), он интересный собеседник, примерный сын и брат, он даже заботится о быте солдат в границах, предписанных уставом. Иногда считают, что в этих штрихах и проявилось кроткое отношение к жизни либо рядового Иванова, либо самого Гаршина; считают, что в гаршинской симфонии звучат «нотки примирения», что писатель, мол, и в негодяе старался найти черты человечности, добра. Нет!

«...— Когда я... поступил в полк... я старался действовать словом, я старался приобрести нравственное влияние, — признается Венцель. — Но прошел год... Все, что осталось от так называемых хороших книжек, столкнувшись с действительностью, оказалось сентиментальным вздором. И теперь я думаю, что единственный способ быть понятым — вот!»

И он показал кулак.

В том-то и сила противопоставления, что Иванов и Венцель когда-то были одинаковыми — умными,

образованными, справедливыми молодыми людьми. Обстоятельства связали их с народом, с его общей жизнью, и здесь возник конфликт. Иванов слился с солдатами, чтобы жить с ними одной судьбой. Венцель и мыслями и кулаком отделял себя от народа, от солдат, он хотел стоять над ними, взять их судьбу в свои руки.

Нет! Гаршин не реабилитирует Венцеля, увидев в нем черты человечности и добра. Он разоблачает его. Невелико дело — отыскать в негодяе на грош хороших качеств. От этого занятия, не нового и в основном бесполезного, впрямь отдает примиренчеством. Гаршин утверждает иное! Он показывает, как хороший человек, оторвавшись от народа, презирая народ, становится подлецом и убожеством.

Образ Венцеля написан не кротким человеком, взирающим на мир со спокойствием душевным, а все тем же Гаршиным, ненавидящим зло, готовым пожертвовать собой во имя справедливости.

« — ...Вас за подобные вещи могут без дальних слов расстрелять!

— Все равно. Я не мог видеть и не вступиться».

Да, это Гаршин!

Солдаты не убили Венцеля — чувство общей жизни, общей судьбы объединило всех перед боем. Надо было выполнять свой долг. Венцель тоже выполнял свой долг. Он был с солдатами и был храбр. Он потерял половину роты и после боя рыдал в палатке. И этой финальной сценой Гаршин не реабилитировал Венцеля. В ночь банкротства Алексей Петрович, глядя на заряженный револьвер, пришел к мысли, что спасение в жизни общей. Никто не знает, понял ли это Венцель или остался прежним. Рыдания Венцеля пока означают лишь банкротство его идей и поступков.

Интеллигентный молодой человек Иванов ушел от своего прошлого. Снял с себя ответственность за народ и слился с народом. Стал рядовым Ивановым. Он спокоен и кроток, когда не сталкивается с Венцелем. Венцель возникает перед ним видением прошлого, тенью жгучих вопросов, оставшихся за пределами настоящего. В настоящем у Иванова нет жгучих вопросов. Настоящее — это война.

— Кто виноват? — кричит герой «Четырех дней». — Почему обязаны идти драться эти люди, которые охотно остались бы дома?

И не слышит ответа.

— Война решительно не дает мне покоя, — начинает свой рассказ-протест «трус», и негодует, и не может понять, почему должен он, не желая того, идти умирать и убивать.

На эти вопросы Гаршин попробовал ответить через пять лет от имени рядового Иванова.

«Нас влекла неведомая тайная сила: нет силы большей в человеческой жизни. Каждый отдельно ушел бы домой, но вся масса шла, повинуясь не дисциплине, не сознанию правоты дела, не чувству ненависти к неизвестному врагу, не страху наказания, а тому неведомому и бессознательному, что долго еще будет водить человечество на кровавую бойню — самую крупную причину всевозможных людских бед и страданий».

Вторая часть определения — «кровавая бойня» — обычная гаршинская: здесь его прежнее и неизменное отношение к войне, одной из главных причин горя человеческого. И Гаршин рассказывает в «Воспоминаниях» о загубленных жизнях, о самодурстве хмельного генерала, о походных лишениях и тяготах, о голоде и болезнях, ворвавшихся в солдатские ряды. Именно такие сцены и высказывания, подтверждавшие вторую часть гаршинского определения войны, привлекли впоследствии внимание цензуры: «...Автор рисует отталкивающие картины войны, нигде не внушая от себя читателю ни осмысленной ее цели, ни пользы».

Но у гаршинского определения есть и первая часть. Спрашивали герои «Четырех дней» и «Труса»: «Откуда она, эта кровавая бойня? Зачем?» «Откуда она?» — спрашивал и сам Гаршин. И вдруг ответ нашелся простой, честный: «Не знаю!» Ни я не знаю, никто другой. Необъятный ответ! Так родилась пер-

вая часть определения о неведомой, таинственной, бессознательной силе. Так родился рядовой Иванов— герой «гаршинской закваски», в трудном походе обретавший мир с собой и плохо устроенным миром. Иванов не принимал зверя-офицера, но принял неизбежность войны. Убежденный протест идет от понимания. Нельзя понять бессознательное и неведомое. К непонимающему приходит спокойствие. Пусть натирает плечи тяжелый ранец, зато можно сбросить с себя тяжелое бремя ответственности, освободиться от мучительных вопросов, чувствуя себя лишь частицей огромной массы, которую привела в движение эта таинственная, неведомая сила.

«Они шли на смерть, спокойные и свободные от ответственности». Общая жизнь подчиняет себе, примиряет и сглаживает тысячи жизней частных и торжествует в минуту наивысшего напряжения и единения, в минуту боя. Тут уж не думалось, что идут «к черту в лапы», — все стало неизбежным и предначертанным: «... было неотвратимое побуждение идти вперед во что бы то ни стало, и мысль о том, что нужно делать во время боя, не выразилась бы словами: нужно убить, а скорее: нужно умереть». В такую минуту и был прощен Венцель: «Известно, невтерпеж было», — сказал Житков, а потом: «Бога, что ли, в них нет? Не знают, куда идут! Может, которым сегодня господу богу ответ держать, а им об таком деле думать?»

Задолго до рядового Иванова жил умный, страдающий от неумения разрешать «проклятые вопросы» человек, который тоже хотел «солдатом быть, просто солдатом! Войти в эту общую жизнь всем существом...» И он вошел в нее и, несмотря на лишения, «именно в это-то самое время... получил то спокойствие и довольство собой, к которым он тщетно стремился прежде». Человека звали Пьер Безухов.

И был писатель, — он влил жизнь своего героя в общую, «роевую» жизнь человечества, законов которой не может постичь никто. Это слияние

произошло во время войны, которую писатель считал событием, «противным человеческому разуму и всей человеческой природе», но событием и предопределенным, неизбежным, потому что «фатализм в истории неизбежен для объяснения неразумных явлений (то есть тех, разумность которых мы не понимаем)». Писателя звали Лев Толстой.

Тень толстовских мыслей легла на гаршинские страницы.

«Таинственная неведомая сила» — объяснение удобное, только оно ничего не объясняет. Так же как объяснение толстовского мужика, который на вопрос, отчего идет паровоз, ответил что его черт движет.

Гаршин не умел решать «проклятые вопросы», но умел их ставить. Он боролся и был казнен. Он воскрес и боялся умереть снова — «не дай мне бог сойти с ума». Он хотел вывести формулу, которая помогла бы ему сделаться кротким и спокойным и при этом остаться Гаршиным. Но это было невозможно. Вдруг раздавались плескающие звуки ударов: он видел какого-нибудь «венцеля», и спокойствие вместе с формулами летело кувырком.

Тревожно спрашивал Гаршин у брата Евгения:

— До сих пор я отдавал все свое в «Отечественные записки», а пройдет ли там эта сцена, и даже больше — могу ли я, как сотрудник «Отечественных записок», выдавать в свет такие сцены?

— Но ведь ты чувствовал и чувствуешь то, что ты здесь написал?

— Да, чувствовал и чувствую...

...Царь сидел неподвижно на сером коне. В простом мундире и белой фуражке, он выделялся на золотом пятне свиты. Мимо шли, почти бежали «люди его бедной страны, бедно одетые, грубые солдаты», каждый из которых «был больше похож на простого мужика, только ружье да сумка с патронами показывали, что этот мужик собрался на войну». Царь при-

нял на себя ответственность за всю эту освободившуюся от ответственности массу; по лицу его, истомленному «сознанием тяжести взятого решения», катились светлые слезы.

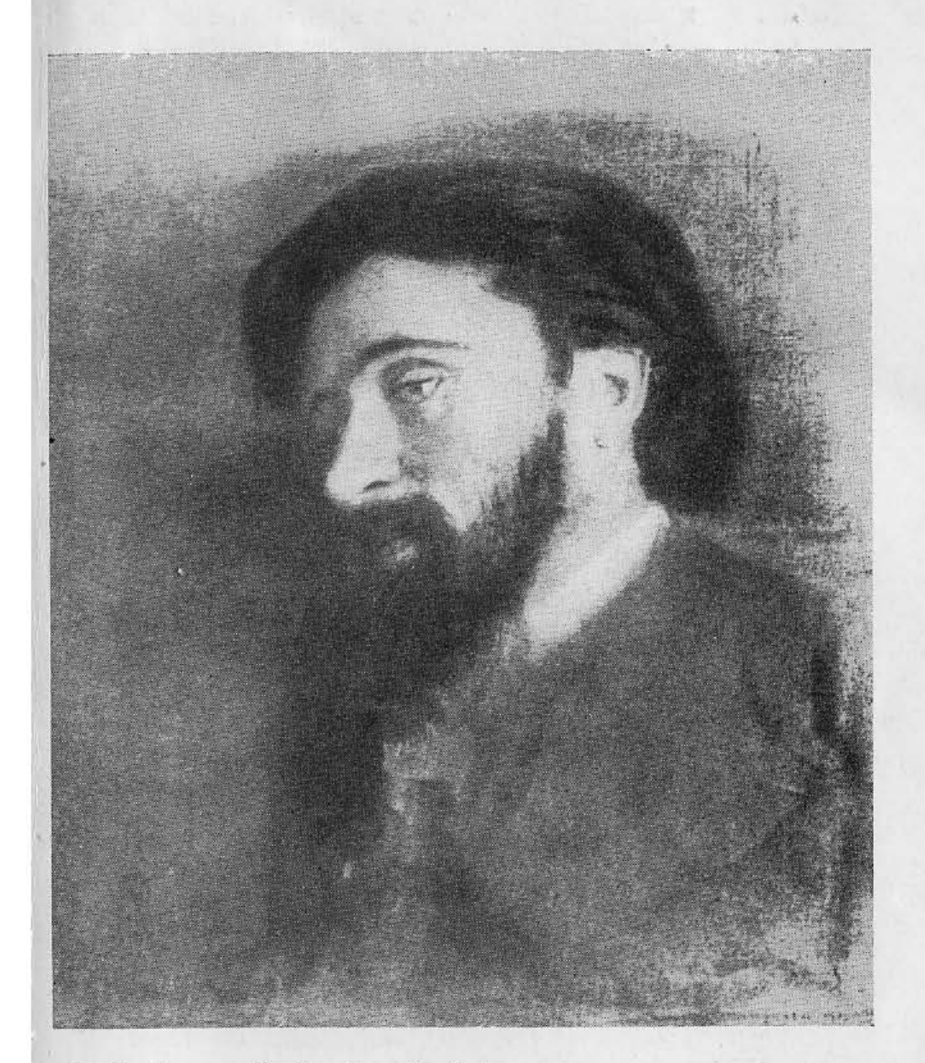
Такая сцена оказалась в «Воспоминаниях рядового Иванова», и Гаршин спрашивал себя, имел ли он право писать такую сцену. Но ведь он «это чувствовал и чувствует». А Гаршин всегда писал искренне.

Он это чувствовал. Можно было видеть несправедливость и мордобой и поддаться «общему волнению» на царском смотре. В 1877 году не могли при виде царя не воодушевиться солдатские толпы; лишь первый день русской революции 1905 года «показал агонию исконной крестьянской веры в царя-батюшку и рождение революционного народа...»*.

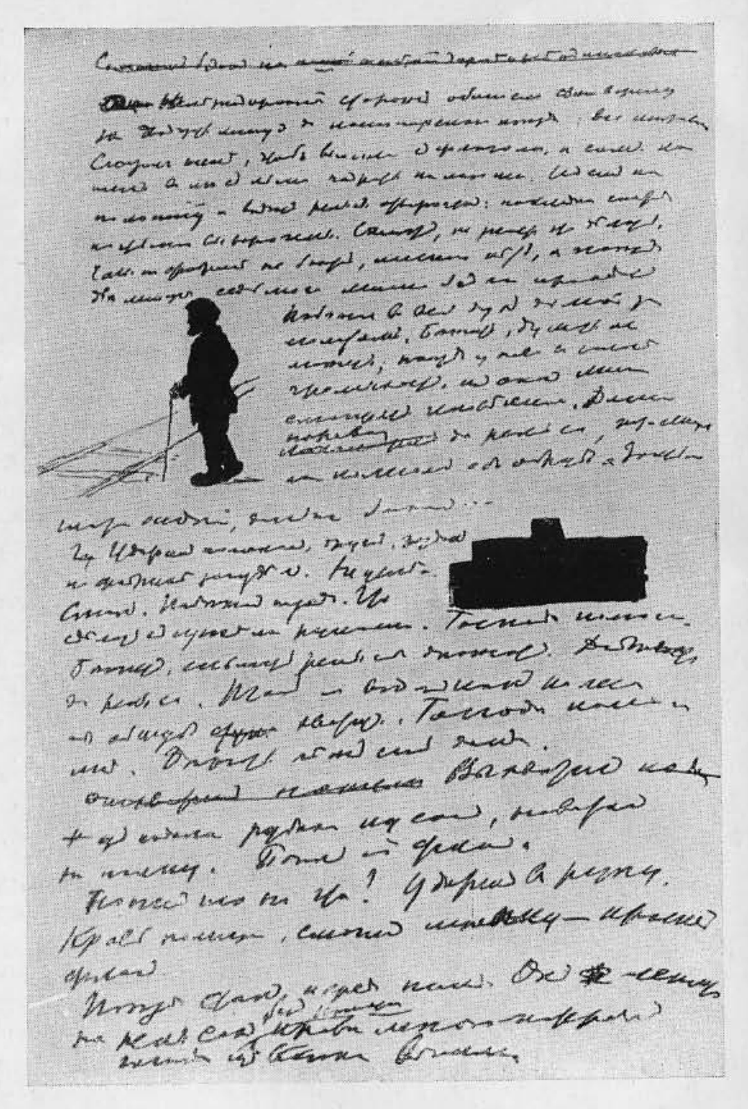
На сцене смотра лежит отпечаток мимолетности: «Все это явилось и исчезло, как освещенное на мгновение молнией». Сцена зажата между двумя другими эпизодами, которые одновременно снижают и подчеркивают ее. Перед нею рассказывается о том, как солдаты два часа ждали царского поезда, но царь не раздвинул занавесок. Только повара выглядывали из окон да скучающий казак стоял на площадке последнего вагона. И потом, после смотра, когда «все промелькнуло и исчезло», — «измученные возбуждением и почти беглым шагом на пространстве целой версты солдаты, изнемогающие от жажды; крик офицеров, требующих, чтобы все шли в строю и в ногу, — вот все, что я видел и слышал пять минут спустя». Пять минут был одухотворен Гаршин, но за это мгновение он увидел в царе того царя, какого хотел видеть.

В широком эпическом повествовании о трудном солдатском походе сцена не имела решающего характера. Гаршин, всегда безупречно честный и требовательный к себе, преувеличил ее значение (точно так же, несколько лет назад, он считал, что для «Отечественных записок» не подходит «Происшествие»).

* *В. И. Ленин.* Сочинения, т. 8, стр. 91.



В. М. Гаршин. *Этюд работы И. Е. Репина.*



«Сигнал». *Конспект с зарисовками. Автограф В. М. Гаршина. 1886 г.*

Строгий, беспощадный Салтыков-Щедрин, видимо, не нашел в «Воспоминаниях рядового Иванова» ничего, что решительно расходилось бы с направлением журнала. Рукопись была отправлена в набор без поправок.

...«Я это чувствовал и чувствую». Неудивительно, что Гаршин чувствовал «это» пять лет назад, в течение пяти минут, которые тянулся царский смотр. Гораздо интереснее иное: почему он вновь почувствовал это именно теперь, когда писал «Воспоминания рядового Иванова»?

Известно, как относился Гаршин к Александру II не в минуту угарного воодушевления, а по размышлении зрелом. «Бумажное освобождение», — заклеймил он акт, который должен был составить «славу» минувшего царствования. И даже, горя желанием идти на войну, не замедлил оговориться: «Мы не идем по прихоти владыки». А тут вдруг — смотр.

Быть может, ключом послужит такое письмо: «Ваши курсы лопнули: я давно не чувствовал себя так возмущенным и так искренно огорченным делом, казалось бы, посторонним мне... За что, в самом деле, не только надругаетесь, преследуете, бьете, но даже и совсем душите? Покойный царь никогда бы этого не сделал... Знаешь, Надик, писал я в своем теперешнем рассказе о том, как он смотрел нас в Плоешти. Писал и глубоко взволновался: вылилась довольно страшная страничка. Нет там ни хвалы, ни клеветы, но чувство выразилось оригинально и, кажется, сильно». Так сообщал Гаршин своей невесте про «высочайшее повеление» об упразднении Высших женских врачебных курсов. Велась атака на образование женское и образование вообще.

«Покойный царь никогда бы этого не сделал...» Но разве не расправлялись со студентами при покойном царе? Разве не хватали прямо в аудиториях? Не гнали по этапу? И разве, видя все это, не задыхался Гаршин от злобных, судорожных рыданий?

Ссылки на «покойного императора» не серьезное убеждение Гаршина, а рожденное временем, минутой

заблуждение. Он еще не успел оглядеться внимательно и во всем разобраться за короткие недели между Ефимовкой и Спасским-Лутовиновом. Он только услышал тяжелый шорох совиных крыльев над головой. Он только услышал грубый стук нарочито русских, смазных царских сапог. Шла в наступление реакция — разнузданная, невероятно бессмысленная и зверская. И Гаршин сердцем почувствовал это, и в сравнении с сегодняшним показался светлым вчерашний день либеральных посулов.

Заблуждение Гаршина оказалось одновременно и своего рода «уроком царю».

— Смотри, — словно говорил сценой смотра писатель, — бывают цари, которые проливают светлые слезы от сознания той ответственности, что переложил на их плечи народ. А что делаешь ты, существо преследующее и убивающее? Нет в тебе ни жалости, ни благодарности. Вот уж именно торжествующая свинья. Так и написал Гаршин в одном из писем: «торжествующая свинья».

Заблуждение было недолгим. Через год Гаршин вообще утверждал: ореол кротости несовместим с венценосною царской главой.

Тургенев умирал в Буживале.

Он прочитал первую книгу гаршинских рассказов и еще раз нашел для наследника своего теплые слова привета и напутствия:

«У Вас есть все признаки настоящего, крупного таланта: художнический темперамент, тонкое и верное понимание *характерных* черт жизни — человеческой и общей, чувство правды и меры, простота и красивость формы — и как результат всего — оригинальность. Я даже не вижу, какой бы совет Вам преподать; могу только выразить желание, чтобы жизнь Вам не помешала, а, напротив, дала бы Вашему созерцанию ширину, разнообразие — и спокойствие, без которого никакое творчество немыслимо».

Гаршин звал старого писателя в Россию: Тургенев должен стать человеком, вокруг которого объединится молодежь. Пусть растет число наследников!

Петербург встречал Тургенева через год — в конце сентября 1883 года. Над головами тысяч людей гроб с телом писателя медленно плыл к Волкову кладбищу. Тургенева похоронили — как он завещал — неподалеку от могилы Белинского.

...Гаршин писал стихи. Он хотел почтить ими память учителя. В стихах Гаршин противопоставил судьбы поэтов и царей. Кроткое сиянье чистого ореола над головой поэта противопоставил неверному блеску царского венца.

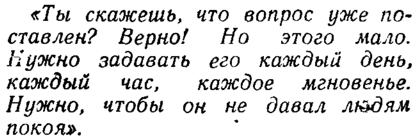
Тот свет — не блеск огней венчанья
На царство деспотов земных:
Поэта кроткое сиянье
Живет в словах его живых.

Гаршин утверждал: память о деспотах мимолетна, после них не остается ценностей непреходящих, золото венцов и престолов оборачивается позеленевшей медью; память о поэте живет в людях долгие века. Гаршин пророчил:

Исчезнут все венцы, престолы,
Порфиры всех земных царей,
Но чистые твои глаголы
Всё будут жечь сердца людей.

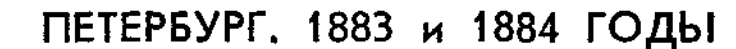


«Сколько сил мне нужно, сколько сил!»



«Ты скажешь, что вопрос уже поставлен? Верно! Но этого мало. Нужно задавать его каждый день, каждый час, каждое мгновенье. Нужно, чтобы он не давал людям покоя».

В. Гаршин.



ПЕТЕРБУРГ. 1883 и 1884 ГОДЫ



Петербург встречал Тургенева в конце сентября 1883 года. «Ясное, светлое осеннее утро; цветы, лавры, ленты и гроб писателя». Описание похорон Тургенева превратилось под пером Глеба Успенского в горестный памфлет. Повсюду замечал Успенский «непрерывную цепь самых невозможных несообразностей, волею запутавшейся жизни сделавшихся обязательными, неизбежными».

Хоронят большого писателя, человека хорошего, светлого. Вспоминаются образы «самые тихие, приятные, простые» — и тут же почему-то начинают одолевать мысли о «терне колючем». Отчего же *«надо* вспоминать колючий терн в таких обстоятельствах, которые соответствуют именно лаврам и цветам»? И многозначительный ответ: «Так вышло! Так надо!»

Путь похоронной процессии преградил взвод казаков, «молодец к молодцу». Отчего же «они, закубанские молодчинищи, *должны* были непременно присутствовать здесь»? Отчего «начальство» непременно должно было послать их сюда»? Так надо! «Нелепо, а необходимо; и вообще так вышло».

— К чему же все это нужно? — спрашивал Глеб Успенский, между казаками продираясь следом за гробом Тургенева.

— К чему? — спрашивал Гаршин, предсказывая бессмертие поэту и гибель «деспотам земным».

Салтыков-Щедрин и тот признавался печально·

«...Никогда я не испытывал такой тоски, как в настоящее время. Что-то тяжелое висит надо мною».

Победоносцев знал, что̀ «надо», и знал «к чему». Заслонить совиными крыльями солнце — так, чтобы даже тонкий лучик не прорвался в черную, холодную тень.

«Отечественные записки» слепили ко тьме привыкшие совиные глаза.

Четыре министра собрались на особое совещание, чтобы закрыть «Отечественные записки». Постановление, принятое министрами, было похоже на обвинительный акт: «Присутствие значительного числа лиц с преступными намерениями в редакции «Отечественных записок» не покажется случайным ни для кого, кто следил за направлением этого журнала, внесшего немало смуты в сознание известной части общества». 20 апреля 1884 года «Отечественные записки» были убиты. «...Точно будто любимый человек умер», — печально отозвался Гаршин.

...Глеб Иванович сидел, закинув ногу на ногу. Ссутулился. Глаза грустные. Между пальцами непременная папироска.

Прошлым летом Глеб Иванович соблазнил Гаршина отправиться в Тихвин на пятисотлетие явления иконы божьей матери. Гаршин воодушевился: «...Ведь со всей России напрет туда народа, и посмотреть такую штуку будет крайне интересно». В последнюю минуту сам Глеб Иванович в путешествие не выбрался. Гаршин перед отъездом побывал у него. Глеба Ивановича вдруг прорвало — рассказал Гаршину о великой, непроходящей и безнадежной своей бедности. О том, как он, известный писатель, сочиняет фельетоны по четыре с половиной копейки за строку. О том, как наживались на его трудах издатели, а сам он тщетно просил у них денег, доказывая, что «хоть даже в целой, неразорванной рубашке мне будет лучше». Гаршин со слезами на глазах слушал Глеба Ивановича. Забыв про свою непрактичность, бросился по издателям — уговаривал, требовал. Через неделю уже сообщал Глебу Ивановичу, что договорился с Павленковым. Той же осенью Павленков с успехом издал первые три тома сочинений Успенского.

...Глеб Иванович задумчиво тянул погасшую папироску. Вошедшего Гаршина обнял ласковым взглядом. Навстречу Гаршину бросился легкий, прозрачный Надсон. Казалось, сейчас оттолкнется от пола—и взлетит. Но не суждено взлететь милому юноше Надсону! Крылья подрезаны!.. И не только чахотка теснит грудь, душит... Некуда лететь! Рванешься ввысь — и не утонешь в глубине небес, разобьешься о каменные своды. Как он писал?

Испытывал ли ты, что значит задыхаться
И видеть над собой не глубину небес,
А звонкий свод тюрьмы...

Ладони у Надсона сухие, горячие.

В последний раз собралась вместе славная семья «Отечественных записок». Молчали. Не хотелось говорить. Невозможно было разойтись — навсегда...

«...Правительство не может допустить дальнейшее существование органа печати, который не только открывает свои страницы распространению вредных идей, но и имеет ближайшими своими сотрудниками людей, принадлежащих к составу тайных обществ».

Металлическая линейка повисла мостом между двумя чернильницами. На линейку Гаршин поставил пресс-папье, а сверху долго приспосабливал спичечный коробок с вонзенным в него пером. Глеб Иванович сидел рядом, смотрел сосредоточенно на гаршинское сооружение — рухнет или нет, — как будто от этого зависела чья-то судьба.

Подошла старуха писательница Надежда Дмитриевна Хвощинская, в длинном черном платье, как на похоронах. Поглядела на Гаршина, на Успенского. Печально затрясла головой:

— Мученики.

Глеб Иванович нервно затеребил бороду. Гаршин привстал, хотел протестовать. Надежда Дмитриевна

махнула на него рукой, повторила тихо и убежденно:

— Мученики. Счастливым пример, чтобы счастливые не деревенели.

Гаршинское сооружение на столе рухнуло с шумом. И тут же, словно разбуженный, горячо заговорил стихами Надсон:

Но молчать, когда вокруг звучат рыданья
И когда так жадно рвешься их унять, —
Под грозой борьбы и пред лицом страданья..
Брат, — я не хочу, я не могу молчать!.

И замолчал. В дверях стоял Салтыков-Щедрин. Прямой и строгий. С потемневшим, суровым лицом.

«...Статьи самого ответственного редактора, которые по цензурным условиям не могли быть напечатаны в журнале, появлялись в подпольных изданиях у нас и за границей», — говорилось в постановлении четырех министров.

Салтыков-Щедрин поклонился, внимательно оглядел всех, подошел к окну. На улице училась гвардейская артиллерия. Солдаты выкатили два орудия. Черные дула уставились прямо в окна «Отечественных записок».

У Диккенса они назывались клерками. Строили рожи и хихикали за высокой перегородкой. Гаршин любил Диккенса. Гаршин сам был клерком. Каждое утро он отправлялся за свою перегородку. Его должность именовалась так: секретарь заведующего делами канцелярии общего съезда представителей русских железных дорог. За это платили сто рублей в месяц. Дела в канцелярии было немного—Гаршин успевал даже помогать другим. Перед тем как поступить в канцелярию, он несколько месяцев работал на бумажном складе у одного купца. Там действительно было трудно. С девяти утра до девяти вечера за пятьдесят рублей.

Гаршину всегда хотелось иметь определенные обязанности. Он считал, что служба приносит ему «большую пользу со стороны, так сказать, психогигиенической». Случалось, он даже увлекался служебными делами — в нем просыпался тот многознающий мальчик, который срезал взрослых вопросом о корабельном якоре. Как-то Гаршин объяснял знакомому инженеру условия объявленного съездом конкурса на устройство особого приспособления для перевозки в вагонах хлеба. Объяснял подробно, выдвигая по ходу рассказа свои предложения. Инженер развивал их или не соглашался, спорил. Неожиданно вырисовался в беседе оригинальный проект. Решили отправить его на конкурс. И что же? Получили премию!..

Но служба — это утром, едва распишешься, отложить перо и, подняв воротник, брести под серым петербургским дождичком. Служба — это скучные споры клерков за перегородкой, как писать: «вследствие сего» или «вследствие этого»? Служба — это дерзость господина с сигарой, который может себе позволить дерзость с канцелярским секретарем. Такое не приносило «психогигиенической» пользы. И все-таки Гаршин служил. Нужно было «ежедневное хождение в определенное место». А главное, жил в сердце страх — вдруг однажды он перестанет писать.

Иногда он действительно переставал писать: «...Перо просто из рук падает. Двух слов связать не могу; как будто бы никогда и не занимался писательством. Иногда мне становится страшно: ну как я уже покончил свою литературную карьеру. А на то похоже». В такие дни служба казалась бескрайным болотом: в ушах стоял бесконечный спор за перегородкой — «вследствие сего!», «вследствие этого!» Гаршин горестно признавался: «Въелся я в это чиновничество, брат!»

...И все-таки он писал. Восемьдесят третий год оказался едва ли не самым богатым в жизни Гаршина. В восемьдесят третьем он создал «Медведей» и «Красный цветок».

Создавалось меньше, чем задумывалось. Черновики распирали портфель. Там лежали наброски повести о рвущемся к власти буржуа. «Великий человек» буржуа мечтал наступить целому свету на гор-

ло. Он должен был пройти в повести скорбный путь от ярмарочного фургонщика до директора огромного банка, от мелкого жулика до грабителя во всероссийском масштабе.

Вместе с Демчинским, инженером и литератором, Гаршин писал драму. Она осталась неоконченной: «...Из драмы ничего не вышло... Мне кажется, что писать вместе могут только близкие друзья... или братья. Нужно, чтобы в душе другого не было неизвестного уголка...»

Гаршин работал над вторым и четвертым действиями, Демчинский — над первым и третьим. Драма называлась «Деньги». Молодой техник Кудряшов борется за место под солнцем. Ради денег можно пойти на все — он торгует умом и знаниями, проституирует, развратничает с женой своего начальника и продает свою жену миллионеру, владельцу предприятий. Драма должна была показать, как, отказываясь от всего человеческого в себе, становятся инженерами первой категории.

Но жили в замыслах и герои подлинные. Долгое время занимала мысль Гаршина повесть о Радонежской. Народница Раиса Родионовна Радонежская была сельской учительницей. Она боролась за то, чтобы тьма скрылась пред солнцем бессмертным ума. Ее травили. Гаршин начал повесть, когда героиня была жива. Конец произведения подсказывала жизнь: у народной учительницы отобрали школу, и Радонежская бросилась в колодец.

Между делом Гаршин переводил. Он перевел две сказки Кармен Сильвы (под таким псевдонимом пряталась Елизавета — королева румынская) и две сказки Уйды — английской писательницы с французским именем (Луиза де ла Раме), прожившей почти всю жизнь в Италии.

Одна из переведенных Гаршиным сказок Уйды — «Честолюбивая роза» — интересна своей внутренней противопоставленностью «Attalea princeps». Прекрасная роза, украшение дикой полянки, мечтала попасть в оранжерею королевского дворца. Она хотела стать знатной. Она была счастлива, когда садовник заметил ее, когда он наносил ей раны острым садовым ножом и отрезал бутоны, которые были ее детьми. Наконец цветок перенесли в оранжерею и вывели из него редкостный сорт. Сбылась мечта розы, она уже забыла о полянке, она уже считала, что родилась знатной. Одну ночь пробыл прекрасный цветок на королевском балу во дворце, а потом погиб от холода на свалке. Но героиня переведенной Гаршиным сказки не вызывает сочувствия. Гордая пальма ломала решетки, жертвовала собой, лишь бы выбраться из оранжереи на волю. Честолюбивая роза сама променяла свободу на решетки королевской оранжереи. Рост пальмы — героизм, величие подлинное. Рост и расцвет розы, по существу, падение.

Нужно вытравить в себе все человеческое, чтобы стать инженером первой категории.

Острый посох рассек воздух. Яркая кровь хлынула на красный ковер. В тяжелую пору реакции Репин писал царя-убийцу.

Репин был единомышленником, другом. «Я рад, что живу, когда живет Илья Ефимович Репин», — говорил Гаршин.

Репин зорко всматривался в лицо друга, клал на холст мазок за мазком. Гаршин читал вслух о муках протопопа Аввакума.

«Таже послали меня в Сибирь с женою и детьми. И колико дорогою нужды бысть, тово всево много говорить, разве малая часть помянуть».

После сеанса бродили допоздна. Стояли теплые белые ночи. Но от распростертых совиных крыл было темно на душе.

И не было ни дня, ни ночи,
А только — тень огромных крыл...

«Таже послали меня в Сибирь...»

Письма Гаршина содержали своеобразный мартиролог:

«...Недавно взяли А. Ив. Эртеля».

«Станюковича тоже взяли».

«Бедного старика Шелгунова взяли и посадили».

«В Москве взяли Гольцева».

«Литераторы наши по-прежнему сидят...»

Гаршина затащили на вечеринку к старому знакомому. Собрались там люди молодые, интеллигентные. Гаршин ждал: заговорят о тяжелой жизни, о борьбе, о павших товарищах, о полоске рассвета на горизонте. Но была основательная выпивка, гнусные анекдоты, неостроумная похабщина, скучные разговоры о скучных будничных делах. «Ни одного не только разумного, а хоть сколько-нибудь интересного слова. Право, какое-то одичание...»

А за стенами серой, набитой пошлостью квартирки закрывали «Отечественные записки», сажали литераторов, выбрасывали книги с библиотечных полок. Гаршин писал в отчаянье:

«Я видел недавно список книг, которые должны быть изъяты из публичных библиотек. До 350 названий, в том числе сочинения Добролюбова, Писарева, Левитова, Златовратского, Помяловского, Спенсера... Шелгунова, Михайловского, много книг по геологии и вообще естественным наукам. Из журналов «О. Зап.»... «Знание», «Р. Мысль», «Р. Слово», «Современник»... «Дело», «Устои», «Слово»... Скоро, вероятно, вообще запретят всякую литературу. Оно бы и лучше; смерть лучше агонии».

Но не угасла вовсе жизнь за серыми стенами пошлой квартирки. Была иная молодежь. Московские студенты выпустили подпольную прокламацию. В ней говорилось об убийстве «Отечественных записок». «Преступная рука не пощадила и этого единственного органа, смелого и честного защитника прав русского человека»; в ней выражалось «сочувствие великому писателю-гражданину Салтыкову». Отправился странствовать по Руси — наблюдать жизнь, писать— неистощимый Глеб Успенский. Репин заканчивал полотно, на котором царь изображен был с обагренными кровью руками. Гаршин поехал навестить Салтыкова-Щедрина.

Салтыков жаловался: без «Отечественных записок» как-то некуда писать. Да, дико видеть свои рассказы не под привычной желтой обложкой, согласился Гаршин. Он говорил сокрушенно: тоска, хандра, страх заболеть (если бы не жена, заболел бы). Салтыков смотрел на него строго — надо быть бодрым, надо работать, надо верить в будущее. Гаршин думал — какой борец! Вспоминал: последний день «Отечественных записок». Салтыков-Щедрин у окна, прямой, суровый, и направленные на него стволы гвардейских орудий.

ЛЮДИ И ЗВЕРИ

Человек подбежал к осужденному, приложил дуло в упор к его уху и выстрелил...

«...Мне не позволяют писать о том, как вешают людей, я буду им писать, как расстреливают медведей!»

Вот что, по свидетельству мемуариста, воскликнул Гаршин, когда рассказ «Медведи» был принят к напечатанию. Иногда спорят: произнес ли Гаршин в действительности такую фразу? Важно другое: современники связывали гаршинский рассказ с разнузданным зверством царившей вокруг реакции.

Людям вольнолюбивого цыганского народа приказали убить своих медведей. Жители захолустного уездного городка Бельска с любопытством созерцают медвежью казнь. Вот и весь рассказ.

Трагическое и смешное — рядом. Изломанная судьба свободного народа, вынужденного своими руками расстрелять кормильцев своих, — и сытое любопытство обывателей. В тупом и жестоком равнодушии к трагическому смешное становится страшным.

В пошлой квартирке пьянствовали, вели скучные разговоры, рассказывали похабные анекдотики. За окнами казнили людей, топтали книги. Гаршин писал после наводящей тоску и ужас вечеринки: «Право, какое-то одичание... Как мы привыкли .. к этому све-

живанию. Толкуют, конечно, потому что любопытно и интересно, но ужаса никакого...» Для обывателей казнь — развлечение. Смешные и пошлые обыватели страшны.

Что в «Медведях» гаршинского? Нет героя, пробудившегося для мучительных дум. Нет прямо поставленного «жгучего вопроса» времени.

Но есть напоминание об этих «жгучих вопросах» — о торжествующей несправедливости, о чинимой вокруг жестокости, о бессмысленности зверства.

Для чего-то понадобилось расстреливать медведей? Несправедливость? Да. Тысячи свободных цыган останутся без своих кормильцев. Больше того, нелепость. «Были у нас медведи — жили мы смирно, никого не обижали, — говорит старый цыган. — ...Теперь же что будет? По миру должны мы идти, а не то ворами, бродягами быть... И будут наши молодцы ворами-конокрадами...» (Припоминается гаршинское письмо Лорис-Меликову: преступление порождается жестокостью.)

Нелепая несправедливость! Над рассказом веет вырвавшийся из сердца крик Глеба Успенского: «К чему же все это нужно?..» И тупой, безликий ответ: «Так надо!» Кому? Зачем? Гаршин сообщает многозначительно: «Это из Петербурга, сам министр приказал. По всем местам медведей бьют...»

Не только читатели прочитали в рассказе больше, чем было в нем написано. Не только для них стал он напоминанием о бесчинствах самодержавия. Через десять лет после выхода в свет «Медведей» «состоящий при министерстве внутренних дел Щеглов» гневался, запрещая народное издание рассказа: «...Все было сделано по распоряжению высшей, очевидно, центральной власти... Действия ее и распоряжения представляются пред читателем неразумными и несимпатичными».

И далеко идущие выводы: «Это обыкновенная тактика нашей периодической и непериодической печати беспардонно либерального направления. Правительство и его органы, высшие и низшие, почти без исключения, всегда представляются бестолковыми, бессердечными и пошлыми, а земство и интеллигенция и даже народ(!) в самом симпатичном виде...

У нас это возбуждение ненависти и презрения к правительству проглядывает в каждой статье либеральных органов печати...»

...Равнодушная толпа и «интересное зрелище» — казнь. Это перекликалось с гаршинским восприятием картины Семирадского. Быть может, внешне пародировало напыщенное полотно. В самом деле: «Светочи христианства» — и цыганские медведи, буйная оргия римлян — и гаденькое любопытство уездных обывателей, красавица гетера — и плешивая бельская «гранд-дама». Но это только внешне. Небольшой бытовой сцене Гаршин сумел придать ту трагическую напряженность, которой как раз не хватало в гигантском историческом полотне холодного Семирадского.

...Полоска травы пролегла рубежом между теми, кто убивал, и теми, кого убивали .Те, кто убивал, — это «чистое общество» от петербургской центральной власти, решившей устроить «разом большую казнь», до бельских обывателей, собравшихся полюбоваться «свежеванием». Те, кого убивали, — всего лишь медведи, кормильцы цыганской вольницы.

Полоска травы, разделившая сцену надвое, вдруг перевернула понятия. Чем напряженнее рассказ о медвежьей казни, тем явственнее очеловечиваются звери — жертвы, тем явственнее озвериваются убийцы. Для убийц Гаршин не находит даже простого слова «люди». Он говорит о них: «зрители», «пешеходы», «толпа», «преследователи», «стадо испуганных овец». Или безлико — «все»: «все бежало», «все попряталось». А безвинных медведей называет Гаршин самым в то страшное время человечным словом — «осужденные».

Старый цыган перед казнью медведей обращается с речью не к жестоким зрителям, а к человечному зверю. Он приказывает отвязать медведя: «Не хочу убивать его, как скота на привязи», «нам с ним, старикам, от смерти не бегать». Перед лицом сонных обывателей, равнодушных ко всему и чуждых один

другому, старик произносит прощальное слово о медведе-*труженике*, о медведе-*товарище:* «Твоею работою вся семья моя жива... Большая наша семья, и всех... ты в ней до сих пор кормил и берег»; «между людьми у меня друга такого, как ты, не было».

Конец речи старого цыгана — прямой укор тем, кто творит на земле несправедливость: «Пусть бог на небе рассудит нас с ними». Расстрел состоялся, но суд не кончен!

И, наконец, прямое столкновение: господа обыватели и один, дерзнувший разорвать оковы.

— Сорвался! Сорвался!

Медведь с обрывком цепи на шее бежал по городу. О, в каком паническом страхе ринулись по своим щелям все те, что жадно любовались убийством, те, что заранее поделили сало и шкуры еще живых жертв! «Ставни запирались: все живое попряталось. Все было заперто». Но когда преследователи — солдаты и полицейские — уже смертельно ранили «несчастного», как поспешно выбрались все из темных нор, с каким сладострастьицем «всякий, у кого было ружье, считал долгом всадить пулю в издыхающего зверя».

«Медведи» — рассказ об убийстве, не о борьбе. Единым фронтом — от Петербурга до Бельска — воинствующая несправедливость, «большая казнь», равнодушная пошлость, оборачивающаяся жестокостью, смешное и мелкое, оборачивающееся страшным, — все, с чем бог на небе не рассудит, а самим людям предстоит бороться на земле.

«КРАСНЫЙ ЦВЕТОК»

Гроза билась над городом. Яркие, стремительные молнии перечеркивали черное небо. Человеку казалось, что острые стрелы молний летят прямо в старинный двухэтажный дом.

Дом стонал под ударами ветра. Стекла гудели. Человек стоял у окна. Молнии сверкали уже совсем рядом — в саду; они шуршали в густой листве

старых кленов. Раскаты грома слились в сплошной гул.

Человек не мог больше терпеть. Он чувствовал: еще мгновение — и молния вонзится в дом. В доме жили люди, человек любил их. Он был обязан их спасти.

Он распахнул окно. Ветер и дождь ворвались в комнату. Сразу стало холодно. Человек разорвал на себе рубаху. Выставил в окно длинную палку. Конец палки крепко прижал к обнаженной груди. Молния должна была ударить в него, сжечь его сердце. Ценою жизни человек хотел спасти людей от гибели...

Больной сорвал цветок. «В этот яркий красный цветок собралось все зло мира... Нужно было сорвать его и убить. Но этого мало, — нужно было не дать ему при издыхании излить все свое зло в мир. Потому-то он и спрятал его у себя на груди. Он надеялся, что к утру цветок потеряет всю свою силу. Его зло перейдет в его грудь, его душу и там будет побеждено или победит — тогда сам он погибнет, умрет, но умрет как честный боец и как первый боец человечества, потому что до сих пор никто не осмеливался бороться разом со всем злом мира...»

Человеком, который подставил под удар молнии свое сердце, был Гаршин. Человеком, который жертвовал свое сердце, чтобы убить все мировое зло, был безыменный *он* — герой гаршинского «Красного цветка».

У каждого большого писателя есть произведение, без которого он немыслим. Гаршин немыслим без «Красного цветка».

О работе над «Красным цветком» Гаршин сообщал: «выходит нечто фантастическое, хотя на самом-то деле строго реальное...» На фоне строго реального описания сумасшедшего дома (рассказ «относится к временам моего сиденья на Сабуровой даче», — признавал Гаршин) развивается яркая, волнующая тема — плод гаршинской фантазии.

Но не случайно «Красный цветок» стал одним из любимейших произведений современников. Они прочли в нем не только «психиатрический этюд», как

доктор Сиккорский, и не далекий от объективности «патологический этюд», как иные критики; современники увидели в рассказе «нечто такое, в чем надо искать аллегории, подкладки, чего-то большого, общежитейского, не вмещающегося в рамки той или другой специальной науки» *(Михайловский)*.

Искать аллегории — это не значит снимать аккуратно с героев масочки и объявлять: «Под видом такого-то скрывался такой-то», «Этой сценой автор хотел сказать то-то»... Искать аллегории — значит, не расчленяя и не коверкая произведение, услышать в нем «музыку времени», почувствовать идеи и среду, в которых оно рождалось, увидеть за частным общее. Именно так прочитал, услышал, почувствовал чеховскую «Палату № 6» Владимир Ильич Ленин: «У меня было такое ощущение, точно и я заперт в палате № 6».

— Именем его императорского величества, государя императора Петра Первого, объявляю ревизию сему сумасшедшему дому!

Этими словами открывается рассказ. В них — характер героя и программа его деятельности.

Не по прихоти Гаршина, а в силу логики мышления его героя каменные стены больницы теряют свой смысл: они уже не отделяют горстку безумцев от внешнего мира. Для гаршинского героя в стенах сумасшедшего дома умещается весь мир («больница была населена людьми всех времен и всех стран»). Мир надо было ревизовать. Это значит, между прочим (заглянем в словарь Даля!), «рассмотреть, по праву, порядок и законность дел». Порядка в мире не было, беззаконие чинилось вокруг. Настала пора действовать. «Все они, его товарищи по больнице, собрались сюда затем, чтобы исполнить дело, смутно представлявшееся ему гигантским предприятием, направленным к уничтожению зла на земле».

Как и все герои Гаршина, герой «Красного цветка» понимал, что мир устроен скверно. Жгучие вопросы поставлены — надо их решать. В отличие от

многих героев Гаршина герой «Красного цветка» взялся за это. Путь, который он избрал, — борьба. Беззаветная борьба: победа или смерть.

Гаршин боролся. Мысли о несправедливости, насилии, лжи терзали душу раненого Иванова и «труса», Рябинина и Надежды Николаевны. Их оружие — отрицание. Они не принимают, отрицают зло и тем утверждают добро. Герой «Красного цветка» прямо борется со злом.

Безумец из «Красного цветка» богаче других героев Гаршина. Он не только почувствовал и понял, как не надо жить. Он переступил рубеж. Он узнал, как надо жить. Жить надо честным бойцом.

Зло огромно. Красный цветок, подобно анчару, способен все вокруг напоить своим ядом. Кто-то должен отдать себя борьбе, погибнуть, уничтожая зло. У честного бойца не было бы будущего, не будь он *последним* бойцом. Он последний. И если он погибнет, не все ли равно. Он уже заглядывает в завтра. Оно прекрасно — завтра человечества. «Скоро, скоро распадутся железные решетки, все эти заточенные выйдут отсюда и помчатся во все концы земли, и весь мир содрогнется, сбросит с себя ветхую оболочку и явится в новой, чудной красоте». Ради этого стоило бороться и умереть. И пусть уже не будет последнего бойца — это и его завтра!

Чувство будущего, мысль о всеобщем счастье — вот что отличает героя «Красного цветка» от гордой пальмы. Пальма сделала все, что могла, но этого оказалось мало. Пальма сломала решетки своей темницы, но за стенами оранжереи дул холодный ветер и сыпал мокрый снег. Пальма победила, но не увидела победы.

Безумец пошел на великую жертву, когда «все готово», когда мир готов к обновлению, когда пробил час невероятно трудной и жестокой, но *последней* борьбы. Умирая, он не произнес горестного «Только-то?». Он умер гордый и счастливый. После него оставался мир, уже обновленный подвигом. Его подвигом. Его победу не сдуют холодные ветры, не смоет мелкий дождь пополам со снегом. Герой «Красного цвет-

ка» богаче других героев Гаршина. Он не только знал, как надо жить. Он знал, как надо умирать.

Через полтора десятилетия так же тревожно и спокойно умирал храбрый Сокол: «Я славно пожил!.. Я знаю счастье!.. Я храбро бился!..» Максим Горький пел песню безумству храбрых.

В бедной доле, неизвестный,
Век трудясь неутомимо,
Совершал ты подвиг честный,
И в приют свой мрачный, тесный
Ты сошел с несокрушимой
Страстной верой в идеал!

Плещееву долго аплодировали. Седобородый поэт приветливо помахал рукой залу и, довольный, ушел с эстрады.

Следом за стариком Плещеевым появился на сцене совсем юный Мережковский и в нескольких красивых стихотворениях объяснил всем, что людям он чужд и мало верит добродетели земной, что жить скучно и в общем-то незачем. Ему тоже хлопали.

Гаршин вышел на эстраду, сел за стол, раскрыл книгу.

— «Красный цветок».

Зал ответил ему овацией. Гаршин поднял голову, медленно обвел взглядом бушующий зал. Стихло. Он начал читать.

В тяжело молчащем безвременье взрывами раскатывались слова.

... — Не сегодня, так завтра мы померяемся силами. И если я погибну, не все ли равно...

Сидели в зале много повидавшие люди недавних семидесятых годов. На их глазах родилось и погибло беззаветно самоотверженное племя героев. Теперь звучал величественный реквием этим героям. Прекрасный венок возложен был на могилы замученных и казненных — на эти могилы теперь запрещено было возлагать венки.

... — Скоро, скоро распадутся железные решетки... и весь мир содрогнется...

Сидели в зале молодые. Они думали не о прошлом — о будущем. Завтра уже звало их.

... — Сколько сил мне нужно, сколько сил!..

Молодым нужно было много сил. Им еще предстояло схватиться со злом во имя красоты обновленного мира.

... — Там будет последняя борьба...

И кто знает, может быть, здесь, в зале, были и те, кому вправду довелось потом участвовать в последней, решающей битве.

...Через двадцать лет после появления «Красного цветка» Леонид Андреев написал рассказ «Мысль». «Сверхчеловек» Керженцев, эгоист и убийца, пытается понять — безумен он или нет. И чем дальше читаем мы исповедь Керженцева, чем больше раскрывается перед нами его равнодушие, неприязнь, презрение, ненависть к людям, тем отчетливее ответ на вопрос — да, безумен! Лишь безумцу может прийти в голову мысль уничтожить человечество и создать свой уродливый мир, «в котором все повинуется только прихоти и случаю».

Гаршин строго реален. Он сразу говорит, что герой «Красного цветка» безумец. Но гаршинский безумец одержим любовью к людям. Ради счастья их он отдает жизнь. Его мечта — обновленный, наполненный гармонией мир. И мы забываем о безумии честного бойца. Он друг и единомышленник наш.

КОНЕЦ НАДЕЖДЫ НИКОЛАЕВНЫ

Поздней осенью 1884 года в «зале общедоступных увеселений» на Фонтанке появился странный посетитель. Он осторожно пробрался к свободному столику. Долго сидел, привыкая к гомону голосов и визгу оркестра. Табачный дым смешался с запахом пива и дешевой помады — было трудно дышать. Странный посетитель принялся разглядывать танцующих.

Неожиданно он поднялся с места и, конфузливо покраснев, подошел к одной из девиц. «Я вижу, вы страдалица среди этого веселья», — сказал посетитель. Девица пожала плечами, но возражать не стала. Он привел ее за свой столик, заказал ужин. Вы-

пили вина. Он горячо заговорил о том, как страшно провести жизнь в этом вертепе. Здесь нет ничего святого, чистого. Здесь отдается на поругание все лучшее в человеке. Дама обстоятельно ела котлетку. «Ужасно! Ужасно! Нельзя так жить!» Дама взглянула на посетителя. В его глазах стояли слезы. Пьяный? Нет, не похоже. «Мы все виноваты перед вами за несчастье ваше, за ваш позор». Голос его дрожал. «Не вас надо судить — нас». Дама всхлипнула.

Часа через полтора, когда посетитель ушел, тепло распрощавшись с нею, девица деловито высморкалась и отправилась в фойе — припудрить заплаканное лицо и поправить прическу. К ней подбежала подруга:

— Ты что?

— Да так... Чудак один попался. Наверное, писатель...

Летом восемьдесят четвертого года Гаршин вытащил из чемодана старую рукопись (она пролежала там почти пять лет): «Приступаю... к написанию той самой старинной штуки о художнике, его аманте и злодее-убийце...»

Жизнь Надежды Николаевны была задумана и продумана еще давно — вскоре после возвращения с войны. От замысла отпочковалось и зажило самостоятельной жизнью «Происшествие». Но в «Происшествии» не решилась судьба Надежды Николаевны. Гаршину хотелось рассказать о ней больше.

Через год после «Происшествия» он сообщил, что снова занялся судьбой своей героини. Однако работа над повестью затянулась. Черновики то и дело откладывались в долгий ящик. Были написаны «Attalea princeps», «Художники», «Ночь», а история Надежды Николаевны почти не продвинулась.

Гаршин тогда сам отделил повесть от всех остальных своих произведений: «...«Направления» какого бы то ни было в рассказе совсем нет. Совершенно личная история с любовными делами и с очень кровавою развязкой. «Отечественные записки», наверно, не напечатают, а все «Русское богатство» вознегодует, это я чувствую, а писать все-таки буду, потому что уж очень ходят все мои действующие лица в моей голове...»

Гаршину казалось: преодолевая направление «Отечественных записок», он отстаивает право писателя быть свободным от «направления» вообще. Гаршин ошибался: он в первую очередь преодолевал себя. Потому что сам он был человеком с направлением. Направлением этим проникнуто все, что он создавал. И не случайно созданное им с охотой печатали «Отечественные записки». Если Гаршин и не понимал этого, то чувствовал: «Писанье рассказа у меня идет очень медленно, главным образом потому, что в нем я вижу большую фальшь. Не знаю, выберусь ли я из нее». И вскоре история Надежды Николаевны была погребена в кипе прочих черновиков и набросков.

И вот теперь, почти пять лет спустя, снова потянуло к дорогой сердцу героине. Вскоре жизнеописание Надежды Николаевны было доведено до конца. Писал Гаршин на сей раз быстро. Но «выбраться из фальши» не сумел.

«...Это было целое гонение», — сообщал Гаршин о нападках критики на его «Надежду Николаевну». Потом добавлял: «Ты сам свой высший суд...» И признавался: «Но дело в том, что на этом-то суде я не могу сказать «доволен».

Гаршину показалось: он нашел выход для Надежды Николаевны, он сумеет сделать ее счастливой!

Рядом со злым миром несправедливости и насилия существовал светлый мир добрых людей. В этом мире царила любовь. Она изменяла людей.

Живут два художника. Один трудится над картиной о революционном подвиге. Другой пишет кошек. Художники не враги, как Рябинин и Дедов. Они друзья. Да они и не походят на Рябинина и Дедова. В своем добром мире они потеряли цельность. Гельфрейх, изображая шаловливых пушистых котят, вы-

пашивает неосуществимые «высокие мысли» о крупных тематических полотнах. Он работает, как Дедов, а размышляет, как Рябинин. Лопатин ничего дурного в таком несоответствии не видит. Ценность людей он проверяет не на отношении к искусству. Для него важно, что и он и Гельфрейх живут в одном мире добра и любви.

Сам Лопатин пишет Шарлотту Корде. Тема картины знаменательна. Контрреволюционерка Шарлотта Корде — убийца Друга народа Марата. В России семидесятых годов, когда бомба, кинжал и револьвер стали главными методами борьбы, многие идеализировали террористку Корде, видели в ней героиню, принесшую свою жизнь на алтарь великого дела. Ее имя стало в какой-то мере символом периода террора. Этот период открыла своим выстрелом Вера Засулич. Сопоставление Засулич — Корде было обычным даже для самых передовых современников. «Вот явилась у нас Шарлотта Корде, скоро появятся и Вильгельмы Телли!» — воскликнул после выстрела Засулич Николай Морозов. Избрав темой картины Шарлотту Корде, художник Лопатин писал не контрреволюционерку, а революционерку.

Гаршину показалось: он нашел выход для своей Надежды Николаевны. Ей нужно было сделать только один шаг — из мира зла и грязи в добрый мир добрых людей. Помог случай. Лопатин увидел в ней удивительно подходящую, единственно подходящую натурщицу. Образ Шарлотты Корде стал для Надежды Николаевны ключом к новой жизни.

Это символично: образ революционной героини связан в повести с образом проститутки. Настолько силен протест падшей женщины против мира, который унизил и оскорбил ее!

Но Гаршин не хотел «направления» в повести. Он писал «совершенно личную историю с любовными делами». Надежда Николаевна походила на Шарлотту Корде, она «делала выражение» Шарлотты так, что «лучше ничего не нужно», но не стала революционной героиней. «Личная история» и развивается по-личному. Надежда Николаевна оставила «позорное» ремесло, распродала платья, зарабатывала перепиской бумаг и медленно, но верно готовилась найти свое счастье, сделавшись достойной женой Лопатина. Она теперь сама стремилась к тому, от чего гордо отказалась раньше, в «происшествии» с несчастным Иваном Ивановичем.

Гаршину показалось, будто выход найден. Он не был найден. На жгучие вопросы, выкрикнутые в «Происшествии», нельзя ответить личным счастьем одной Надежды Николаевны.

В мире несправедливости, насилия, лжи Надежда Николаевна жила общей жизнью, страдала общим страданием. Ее борьбой было отрицание этого мира, протест. Полюбив Лопатина, она сделала шаг в другой, «добрый» мир, решила свою судьбу. Но жгучие вопросы не были решены. Просто «девица Евгения» сумела покинуть свой пост. На этот пост придут другие. Они вместо Надежды Николаевны заразятся сифилисом, бросятся в прорубь. Ничего не изменилось. Так же как страдания народа на войне не стали бы меньшими, не пойди воевать «трус». Или сам Гаршин.

В повести есть эпизодическая фигура — скрипач Федор Карлович. Когда-то он играл элегии Эрнста. Бедность заставила его пиликать визгливые мотивчики в балаганах и борделях. «У меня четыре сына и дочь», — объясняет Федор Карлович. Надежду Николаевну «вытащил» художник Лопатин. А кто «вытащит» Федора Карловича? Надежде Николаевне просто повезло!

Это не по-гаршински — частное решение общего вопроса. В душе жило ощущение фальши, из которой так и не удалось выбраться до конца.

«Я чувствую, что мне надо переучиваться сначала. Для меня прошло время страшных отрывочных воплей, каких-то «стихов в прозе», какими я до сих пор занимался: материалу у меня довольно и нужно изображать не свое «я», а большой внешний мир. Но старая манера навязла в перо, и оттого-то первая вещь с некоторым действием и *попыткою* ввести в дело нескольких лиц решительно не удалась».

Так ошибался Гаршин, стараясь преодолеть себя. Его рассказы тем и сильны, что в них бьется доброе, страдающее сердце автора. «Большой внешний мир» его рассказов именно потому и оживает, что в нем живет, мучается и протестует Гаршин. Попытка уйти от себя, вырвать себя из мира, в котором он жил и который жил в нем, была обречена.

— Ах, Андрей, Андрей, вытащи ее! — умоляет Лопатина его друг Гельфрейх. Вытащи! Но куда?

В «Происшествии» Надежде Николаевне некуда было идти.

У каждого свой пост. Не ей колебать устои. Возвращаться же в «чистое общество» бессмысленно. Оно грязнее панельной грязи, в которой жила Надежда Николаевна.

В повести все оказалось значительно проще. Не было безысходности. Для Надежды Николаевны нашелся путь. Спасением стала любовь. Она помогла разглядеть мир добрых людей, сделать шаг к ним. Поиски ответа на жгучий вопрос о судьбе Надежды Николаевны велись не в «среде», а в душе самой героини.

Это было не по-гаршински. Этого не могло быть. Надсон писал огорченно и решительно: «Повесть *выдумана»*.

Лопатин не похож на обычного гаршинского героя. В нем нет протеста. Нет «страшных отрывистых воплей» против того, что творится вокруг. Он такой, каким хотел себя видеть Гаршин, когда писал повесть: добрый, хороший человек живет сам по себе в «большом внешнем мире». Это решило дело.

В повести идет борьба не за обновление мира, а за обновление души Надежды Николаевны.

Лопатин стоит на шаг позади Рябинина или героя из «Красного цветка». Любовь к людям толкала их на обличение зла, на подвиг. Оружие Лопатина — сама любовь. Это сильное оружие. Оно пробудило Надежду Николаевну, заставило ее увидеть хорошее и поверить в него. Оно было как протянутая рука: ухватившись за него, Надежда Николаевна выбралась из мрачного болота на уютный островок — в *«просторную и светлую» комнату Лопатина.*

Любовь-оружие проверялась в борьбе. Лицом к лицу с Лопатиным встал в повести некий публицист Бессонов. Он тоже любил Надежду Николаевну. Не для нее — для себя. Ему было выгодно, чтобы она осталась на своем посту. Бессонов боролся за это. Он с неприязненным удивлением отмечал на лице Надежды Николаевны «отпечаток достоинства, совершенно не идущий к ее общественному положению». Любовь эгоистическая обернулась ненавистью. Оружие Бессонова — ложь, презрение к слабому, наконец, грубое насилие. Цель оправдывает средства. Это оружие того мира, который топтал Надежду Николаевну. Любовь Бессонова, применявшая это оружие, любовь тоже того мира. Бессонов перестает быть частным лицом — в итоге «личная история» и «любовные дела» приобретают определенные общественные черты. Примером любви истинной и деятельной Лопатин отрицает бессоновскую любовь и тем самым утверждает иные отношения между людьми.

Борьба Лопатина с Бессоновым закончилась трагически — победителей не было: убита Надежда Николаевна, убит Бессонов, смертельно ранен Лопатин. «Кровавая развязка» — средство избегнуть фальши. Бессонов не мог победить: той Надежды Николаевны, за которую он воевал, уже не существовало; жила новая Надежда Николаевна. Победа Лопатина означала счастливый конец, небольшую победу, почти без борьбы. Гаршин предпочел большую борьбу без победы.

В начале повести Бессонов спрашивал Лопатина, может ли он, «мягчайший русский интеллигент», когда нужно, «бросить кисть и... взять кинжал». Концом повести Гаршин ответил на вопрос: да, может! И в этом сила деятельной любви. В бою за жизнь Надежды Николаевны Лопатин убил Бессонова. Это было справедливо — добро одержало верх над злом. Но нет покоя душе Лопатина. «...Какой-то голос, не переставая, нашептывает мне на ухо о том, что я убил человека.

...Для человеческой совести нет писаных законов, нет учения о невменяемости, и я несу за свое преступление казнь».

Гаршин завершил «личную историю» «кровавой развязкой» по справедливости. И тут же спросил: а справедливо ли это? Имеет ли право добро *убивать* зло?

«НЕТ, ГОСПОДИ, НЕ МОГУ Я ПОСЛУШАТЬСЯ ТЕБЯ!..»

Посреди кровавой бойни — самой крупной причины людских бед — ищет для нее оправдания, а для себя кротости рядовой Иванов.

Под лучами любви в неизменившемся «внешнем мире» самоусовершенствуется Надежда Николаевна

Лопатин, покарав зло, терзается: имел ли он на это право?

Тень толстовских мыслей легла на гаршинские страницы.

«Кто герой? Превращающий в друга врага своего». Так учили священные книги.

«Слабый побеждает сильного. Нежный побеждает жестокого». Так говорили древние мудрецы.

По яснополянскому парку бродил, размышляя о жизни, неспокойный мудрый человек, который хотел открыть пути спасения человечества. Ему казалось, он нашел эти пути. И он беспощадно критиковал и разоблачал несправедливость и противоречия общественного устройства во имя нравственного самоусовершенствования и непротивления злу насилием — положения, которое, по мнению его, связывало все учение в одно целое. Он писал статьи и трактаты, поучал человечество: «Спасение ваше... никак не в греховном, насильническом устройстве жизни, а в устройстве своей души».

Нельзя было жить в одно время с Толстым и не замечать Толстого, никак не относиться к нему. И дело тут не в его личных качествах — мудрости, человеколюбии, стремлении к правде и добру. Толстой — неотъемлемая часть своей эпохи. «Великое народное море, взволновавшееся до самых глубин, со всеми своими слабостями и всеми сильными своими сторонами отразилось в учении Толстого» *.

Что искал у Толстого Гаршин? Конечно, не пассивизм и не теорию непротивления злу.

Осенью 1884 года, работая над «Надеждой Николаевной», Гаршин ненадолго съездил в Киев.

В славном стольном Киев-граде думалось о древней Руси. Где-то здесь, вокруг, стояли заставы богатырские. Отсюда сам Илья Муромец шел служить за землю российскую, за вдов, за сирот, за бедных людей.

В повести о Надежде Николаевне появился эпизод. Художник Гельфрейх мечтает о картине: Илья Муромец читает евангелие. Задумался богатырь: «Если ударят в правую щеку, подставить левую? Как же это так, господи? Хорошо, если ударят меня, а если женщину обидят или ребенка тронут, или наедет поганый да начнет грабить и убивать твоих, господи, слуг? Не трогать? Оставить, чтобы грабил и убивал? Нет, господи, не могу я послушаться тебя! Сяду я на коня, возьму копье в руки и поеду биться во имя твое, ибо не понимаю я твоей мудрости, а дал ты мне в душу голос, и я слушаю его, а не тебя!..»

Слушая голос души своей, Гаршин зимой 1885 года ездил из Петербурга в Москву — повидаться с Толстым. Он прочитал трактат Толстого «В чем моя вера?» и ездил спорить. Он не застал Толстого в Москве и огорчался: «Я чувствую настоятельную потребность говорить с ним. Мне кажется, что у меня есть сказать ему кое-что. Его последняя вещь ужасна...»

Слушая голос души своей, Гаршин восторженно и с величайшим энтузиазмом читал еще в рукописи драму Толстого «Власть тьмы», выучил ее почти наизусть, превозносил ее, называл шекспировской. Но решительно отверг обвинения в толстовстве: «Защи-

---

* *В. И. Ленин.* Сочинения, т. 16, стр 323.

щать драму Толстого и признавать его благоглупости и особенно «непротивление» две вещи совершенно разные... Очень любя Черткова, я в теоретических рассуждениях ни в чем с ним и с Т. не схожусь. Многое в их речах мне прямо ненавистно (отношение к науке, например): если ты этого не знал, можешь спросить у Черткова при случае: он скажет тебе, что меня «ихним» считать невозможно».

Со злом надо бороться, утверждал Гаршин. Даже ищущий кротости Иванов хватает за руку Венцеля. Даже верящий в оружие любви Лопатин берется за железное копье и убивает.

Герои большинства рассказов Гаршина — борцы. Они борются, критикуя и протестуя, как Надежда Николаевна из «Происшествия» и Алексей Петрович из «Ночи». Или разделяя с народом его страдания, как рядовой Иванов и «трус». Борются своим творчеством, как Рябинин. Или совершают подвиг, принося себя в жертву великому делу.

Черты и характеры своих героев Гаршин вольно или невольно подсмотрел в жизни — у тех борцов, которые жили и действовали вокруг. У тех, кто в листках прокламаций и на страницах «Отечественных записок» обличал пороки общества, жившего несправедливостью и насилием. У тех, кто шел «в народ». И у тех, кто всходил на эшафот. Гаршин видел: их борьба не принесла успеха, средства не вели к цели. Нужны были другие пути.

Борцы взялись за револьвер и кинжал. На насилие они решили ответить насилием. Борьба обернулась террором. Разве это изменило что-нибудь? И вот нет больше героев. Они казнены, заточены в тюрьмы, прижаты к земле.

Гаршин думал о протопопе Аввакуме. Тот был тоже борцом недюжинным. На великие жертвы пошел во имя своих убеждений. Великие муки принял от рук насилия. А победи протопоп! Возьми он в свои руки власть, опять зажглись бы костры, воздвиглись виселицы и плахи, рекой полилась кровь. Кровь тех, кто думал не так, как Аввакум. Опять торжествовало бы насилие!

Нет, не мог Гаршин, отрицая и обличая насилие одних, утверждать насилие других. Для него во *всяком* насилии была заложена несправедливость.

Подвиги Ильи Муромца — это казнь зла (именно казнь!), это отрицание непротивления злу, а не утверждение насилия как пути борьбы. Гаршин не понимал, что «насилие играет в истории еще и другую роль, именно революционную роль, что оно, по словам Маркса, является повивальной бабкой всякого старого общества, когда оно беременно новым, что насилие является тем орудием, посредством которого общественное движение пролагает себе дорогу и ломает окаменевшие, омертвевшие политические формы...» *

Отсюда колебания и сомнения. Осторожная оговорка в монологе Ильи: «Хорошо, если ударят меня...» И рядом с Ильей — Лопатин, который послушался голоса души и убил, а потом страдает, слыша «какой-то голос»: «Ты убил человека». И рядом со смятенным Лопатиным — кроткая Соня, многострадальная его невеста. «Обо мне не думай», — просит она любимого человека. Может быть, такое самоотречение лучше всего?

Колебания, сомнения...

В 1880 году, предварив Толстого, Гаршин обратился к средоточию насилия — верховной власти, к диктатору, с призывом воздать добром за зло.

В 1882 году Гаршин создал героя, который по-толстовски кротко примирился с фатальной неизбежностью кровавой бойни, но не смог примириться с тем, что офицеры бьют по лицу солдат.

В 1884 году Гаршин написал повесть, где высоко оценил подвиги Ильи Муромца, который «всю жизнь убивал», и где заставил терзаться своего современника, во имя добра покаравшего зло.

В 1885 году Гаршин поехал спорить с Толстым о его учении. И в том же году сошелся с руководителями издательства «Посредник», которое пропаган-

* *К. Маркс* и *Ф. Энгельс.* Сочинения. Издание второе, т. 20, стр. 189.

дировало учение Толстого. Однажды в «Посреднике» издавали репродукцию с картины «Страдания Христа». Гаршин взялся написать текст к ней. И характерно: писал он не о непротивлении Христа, а о ненужном и несправедливом насилии его мучителей: «бьют потому, что им приказано бить».

В 1887 году Гаршин горячо восторгался толстовской «Властью тьмы». И не менее горячо отрицал власть Толстого над своею душой: «меня «ихним» считать невозможно».

Незадолго до смерти Гаршин прочитал запрещенные труды Толстого и написал Черткову: «Я должен Вам сказать, что я беру назад почти все, что говорил Вам... Я не хочу сказать этим, что я согласен; совсем нет: многое, признаюсь откровенно, мне чуждо и даже больше, ненавистно. А многое, большая часть, так близко и... Но теперь... я спорить не буду, потому что это слишком важное дело, а я ошеломлен. Именно ошеломлен. Простите за бессвязность письма: я пишу поздней ночью и очень расстроен».

В этом письме все колебания Гаршина, все противоречивое его отношение к Толстому. «Беру назад все, что говорил», — и «не хочу сказать, что согласен; *совсем нет»,* — и *«спорить* не буду». Многое чуждо и ненавистно», а «многое так близко». И одновременно: «ошеломлен» и «расстроен».

Никогда не говорил Гаршин: подставь тому, кто бьет, другую щеку. Он ненавидел и обличал тех, кто бьет. Он никогда не прощал тех, кто бьет. Но не знал, как ответить на удар.

Непротивление открывает дорогу злу. Насилие принять невозможно. Как же бороться и победить?

Речь шла о путях и методах борьбы. Гаршин *не мог* найти их. Он был далек от тех, чья революционная мысль в глухую пору реакции строила «новые системы и новые методы исследования». Он был далек от тех, кто, открывая Маркса каждый том или проливая кровь в битвах первых рабочих стачек, прокладывал новые пути в будущее.

«Горячий протестант» и «страстный обличитель», как и Толстой, Гаршин так же не видит, какие общественные силы и как могут избавить человечество от того, что он обличал, против чего протестовал.

Колебания и сомнения Гаршина естественны. Противоречивое его отношение к Толстому отражает и противоречия Толстого и противоречия самого Гаршина. Они тоже естественны.

Ленин писал:

«Противоречия во взглядах Толстого — не противоречия его только личной мысли, а отражение тех в высшей степени сложных, противоречивых условий, социальных влияний, исторических традиций, которые определяли психологию различных классов и различных слоев русского общества в *по*реформенную, но *до*революционную эпоху» *.

НАД ОТВОРОЧЕННЫМ РЕЛЬСОМ

Серые клочья паровозного дыма плыли над самой головой. Они цеплялись за крышу таможни. Мрачное кирпичное здание было подернуто копотью.

Здесь, на окраине Петербурга, у родственника Надежды Михайловны, прожили Гаршины лето восемьдесят шестого года.

Таможня заменяла дачу. Но покоя не было. В жизнь врывались звонки конки, свистки паровозов, стук паровой машины. Зелени тоже не было. Большой двор зарос травой. Трава белела пылью.

В траве прятался заброшенный железнодорожный путь. Прежде он соединял товарную станцию с таможней. Теперь поезда не шли по нему. Трава поглотила путь. Ржавые рельсы нигде не оканчивались. Они терялись в пыльной траве. Это был путь никуда.

Унылый, растрепанный, в широкой блузе без пояса, Гаршин бродил по таможенному двору. Он хандрил. Болезнь грызла его. Он боялся сойти с ума. Заставлял себя писать. Шагал по широкому двору и думал. Рядом грохотали поезда. Гаршин вздрагивал от резких свистков. Останавливался и пытливо

* *В. И. Ленин.* Сочинения, т. 16, стр. 295.

рассматривал уползающий навсегда в траву рельс

Гаршин писал «Сигнал» («Маленький рассказик, скверненький», — сообщал он Надсону).

«Сигнал» — рассказ о путях железнодорожных, путях к героизму и путях борьбы. Это рассказ о том, как простой человек, сторож на железной дороге Семен Иванов, сам того не замечая, сделался героем.

В одном из черновиков Семен назван Никитой Ивановым. Так прокладывается мост к несчастному мужику-солдату из отрывка «Денщик и офицер». В «Сигнале» говорится, что Семен служил в денщиках у офицера и «целый поход с ним сделал». Голодал, мерз, вышагивал по пятьдесят верст в жару и мороз. Он был героем, только не знал этого. Каждый день три раза Семен носил из полковых кухонь в окопы своему офицеру самовар горячий и обед. «Идет с самоваром по открытому месту, пули свистят, в камни щелкают; страшно Семену, плачет, а сам идет». Нужны величайшее мужество и огромное самообладание, чтобы под пулями, по изрытому полю осторожно нести на вытянутых руках горячий самовар. Но Семену *страшно,* он *плачет*, а идет. Он идет к героизму по пути смирения и кротости. Это путь, начертанный не яростно протестующим «трусом», а кротким рядовым Ивановым.

...Стальными струнами натянуты рельсы. В далекую даль устремился сверкающий путь — не видно ни начала ему, ни конца.

На краю полотна — двое. Семен и сторож соседнего участка Василий. Сидят, покуривают трубочки, беседуют. Всем доволен Семен в своей дорожной будке. Это довольство не сытого, а покорного:

— Не дал бог счастья. Уж кому какую талан-судьбу господь даст, так уж и есть.

Василий спорит:

— Не талан-судьба нам с тобою век заедает, а люди... Не людская бы злость да жадность — жить бы можно было.

Задумался Семен:

— Может, оно так, а коли и так, так уж есть на то от бога положение.

Василий рассердился:

— Коли всякую скверность на бога взваливать, а самому сидеть да терпеть, так это, брат, не человеком быть, а скотом.

Гаршин отложил перо. Передавали, что, прочитав его «Сказание о гордом Аггее», Надсон покачал головой. Не слишком ли часто пишущие для народа кивают на божественный промысл? Не развивают ли они этим в народе мистицизм и беспечность? Иное дело проповедовать: «На бога надейся, да сам не плошай».

И вот теперь «аггеевское» переползает в «Сигнал».

Гаршин встал из-за стола, вышел во двор. Гулял, думал, вспоминал.

...Занятно получилось: Гаршин и Толстой одновременно, не сговариваясь, взялись пересказать для народа старинную легенду о царе Аггее.

Возгордился царь Аггей, и господь наказал его — сделал нищим. Ангел господен, принявший аггеев образ, правил вместо него. Когда же, познав беды людские, раскаялся Аггей, бог простил его и вернул на царство. И правил Аггей мудро и кротко.

Гаршин писал Аггея, как Алексея Петровича из «Ночи». Из всех царских грехов он подчеркнул один, самый тяжкий:

«Жил так Аггей один, точно на высокой башне стоял. Снизу толпы народа на него смотрят, а он не хочет никого знать и стоит на своем низеньком помосте; думает, что одно это место его достойно: хоть одиноко, да высоко».

За этот страшный грех — за отказ от общей жизни во имя своего отвратительного «я» — и наказал Гаршин своего Аггея. С каждым шагом вниз по общественной лестнице Аггей все больше убеждался в необходимости кротости и смирения.

Во время охоты Аггей переплыл реку. Ангел унес одежду его. Свита уехала. Обнаженный правитель один среди чистого поля. Так началось наказание.

Не помня себя от гнева, Аггей бросился на встречного пастуха. Но пастух не узнал его и избил. Побитый и униженный, поплелся Аггей прочь. Пастух пожалел правителя и дал ему мешок прикрыть наготу. Первый урок — побеждает слабый. И маленький светлый уголок в душе: решил было Аггей, вернувшись на царство, наказать пастуха, да «вспомнил про мешок и застыдился».

Встретил Аггей извозчиков и, уже наученный опытом, обратился к ним смиренно. Извозчики поделились с правителем одеждой. Урок второй — побеждает смирение. И еще один светлый уголок в душе: Аггей «пошел в город уже повеселее».

Пришел Аггей к царским палатам, стража не пустила его. И он отошел в сторону. «Надо потерпеть», — думает. Урок третий — побеждает терпение. И чтобы заработать на хлеб и ночлег, правитель пошел к тем, кто трудится «за малые деньги», — *«стал в толпу»*.

Написал Аггей письмо жене, но та, видя пред собою ангела в образе правителя, приказала высечь дерзкого самозванца. Еще один урок получил Аггей — испытал на себе жестокость царскую, которой сам славился.

Когда же узнал Аггей в образе своем ангела божия — ужаснулся и понял, что должен покориться.

Ночью в дремучем лесу вспомнил Аггей всю свою жизнь и понял, что наказан, что должен искупить свой грех. До сих пор мысль о смирении и кротости рождали уроки внешнего мира. Теперь она пришла изнутри. Аггей прозрел «и вышел из леса, и пошел на светлый божий мир, *к людям*».

Чем ниже — тем выше! Кем сделал Гаршин своего Аггея? Меньше, чем нищим. Поводырем нищих слепцов. Но не поводырем, который вел за собой, а поводырем, который прислуживал тем, кто не видит. «...Не нищий я. Слуга я нищим», — говорит Аггей.

Примерно так же лепил своего Аггея и Лев Толстой, только форму избрал драматическую (он писал пьесу для народного театра) и царя Аггея сделал не «правителем», а «паном».

Но дальше пути Толстого и Гаршина разошлись.

У Толстого, как и в легенде, наказание Аггея временно. Раскаявшись, он вновь становится господином, но милосердным и кротким. Он созывает нищих на пир, а сам прислуживает им.

Гаршинский Аггей остается навсегда с нищими — он «прилепился душою к нищим и убогим». Не жизнь стала для него наказанием, а наказание стало жизнью.

Отказывается Аггей от правления — и от гордого и от кроткого (во всяком — насилие, и так и этак стоять «одному среди народа»): «Не возьму ни меча, ни жезла, ни шапки, ни мантии». Не хочет Аггей быть «братом народу своему» — хочет быть народом.

Странно получилось! Как же связал себя Аггей с общей жизнью? Не пошел «в народ», чтобы улучшить эту общую жизнь. И не понес народу своего знания. И даже не «опростился», не растворился в народе, а словно бы вообще из жизни ушел. Работал «на бедных, слабых и угнетенных», а для общей жизни, в которой жили они, ничего не сделал.

Гаршин начал писать Аггея, как Алексея Петровича. Но если бы он кончил Алексея Петровича, как Аггея, — что стоил бы уход героя «Ночи» к человеческой массе!

...Странно получилось.

Гаршин вспомнил, как читал свое «Сказание» в неофилологическом обществе.

Молодежь тогда спорила с ним, упрекала за то, что по-своему переделал конец легенды. Студенты кричали: «Это эгоизм! Вместо того чтобы служить народу, Аггей спасает свою душу! Мудрый царь может больше принести добра, чем простой нищий!» Гаршин пожимал плечами: «Не знаю, как у меня получился такой конец. Я пережил жизнь Аггея и не мог закончить ее иначе».

Да, странно!

Гаршин вспомнил, как потом ходил объясняться в цензуру. Важный чиновник обстоятельно рассказывал ему, почему запрещено отдельное издание «Аггея».

— Здесь проводится мысль, что ни богатство, ни верховная власть не прочны... Властелин (цензор строго взглянул на Гаршина и поднял палец) останется голодным и раздетым! И что же! Когда господу угодно будет вернуть, наконец, власть законному государю, тот откажется от нее, останется с народом, чтобы заниматься мужицким трудом. Нет, господин Гаршин, конечно, не имел в виду... Но в малообразованной среде рассказ наверняка будет истолкован превратно — в ущерб значению царской власти...

Гаршин ушел, избегнув рукопожатия.

Странно!

Гаршин вспомнил: в «Посреднике» ему говорили радостно:

— У вас более по-толстовски, чем у Толстого.

Он только тогда узнал, что Толстой тоже работает над легендой. Говорят, прочитав гаршинского «Аггея», Лев Николаевич забросил своего. Значит, решил, что лучше не напишет; значит, признал гаршинского «Аггея» своим.

А Гаршин вовсе не собирался разделять толстовские «благоглупости»!..

Гаршин не заметил, как снова остановился у старого, затерявшегося в траве рельса.

Итак, двое сидят и курят трубочки на краю железнодорожного полотна.

Семен говорит:

— На все воля божья.

Василий не соглашается:

— Люди виноваты.

Два человека ищут пути в жизни, пути к счастью. Не правители, а те, которыми правят, — бедные и угнетенные. Правят ими зло, несправедливо. Как быть? «Смириться!» — призывает Семен. «Протестовать!» — не соглашается Василий.

Для протеста Василия нашлись крепкие слова. Они будто взяты из рабочих прокламаций (кое-что пришлось потом выбросить по цензурным соображениям): «Весь сок выжимают...»; «Напился нашей крови...»; «Учить их надо, кровопийцев...»

«Протестовать!» — утверждает Василий. Но как? Он подает жалобу начальнику дистанции. Начальник бьет его по лицу. Василий едет в Москву, в правление. «За правду надо, брат, стоять», — объясняет он.

Не так ли Гаршин в поисках справедливости апеллировал к верховной власти? Василий получил еще один удар. Так же как Гаршин, он понял: верховная власть неправедна, справедливости искать не у кого.

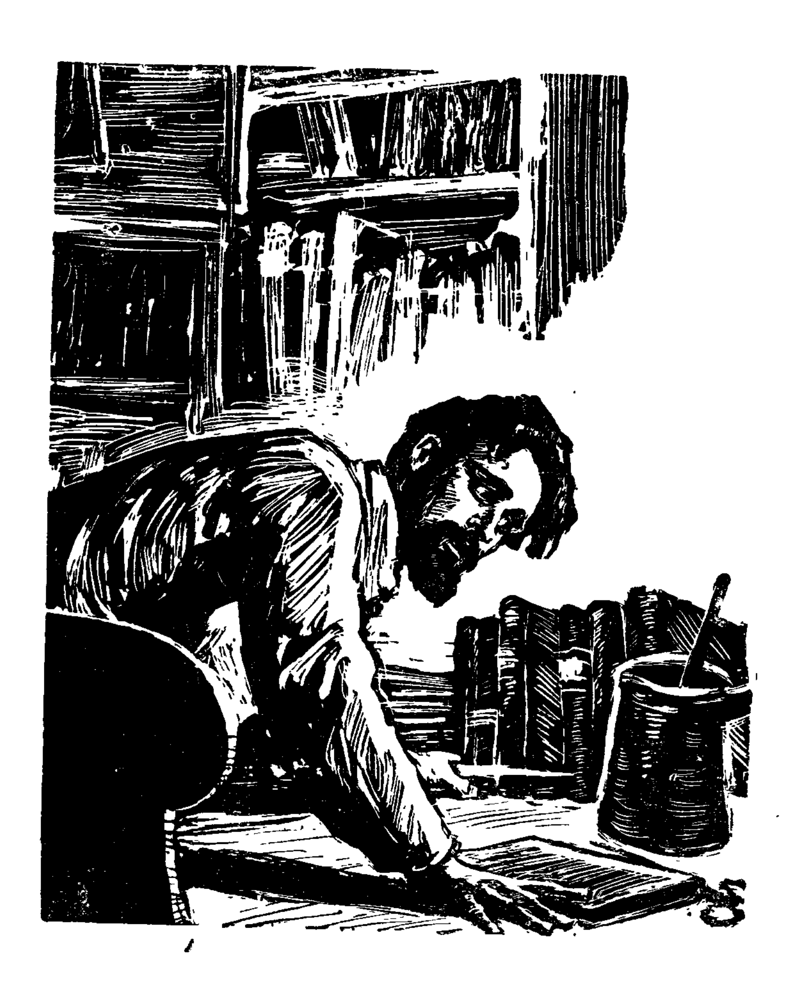
Что же делать? «Смириться», — сказал бы Семен. «Действовать», — решает Василий. До этого мгновения Василий был прав — он мог обличать, протестовать, не покоряться. Но действовать!.. Это значит самому совершить насилие. И он совершает его — отвертывает рельс. Вот такой же, как этот, который лежит здесь, в траве, под ногами.

Зато кроткий Семен идет на славный подвиг: останавливает поезд смоченным в собственной крови платком. Это уже не самовары под пулями носить — плакать, но идти. Это новая ступень — героизм осознанный. Он думает о людях: «Там, в третьем классе, народу битком набито, дети малые...» Жертвуя собой, кроткий Семен делает больше для общей жизни, чем гордый Василий, который хочет насилием утверждать свою правду. Самоотверженным подвигом бороться за добро — это гаршинское.

Пример самоотверженного героизма — вот что изменяет человеческую душу. Упал Семен, но не упал флаг. Его поднял Василий. Отрекся от себя, переступил через свою гордость, пожертвовал собой — и победил: спас людей. Это уже аггеевское. Можно бы кончить как-то иначе. Но кончилось именно так. Гордому правителю и маленькому железнодорожному рабочему — один путь к спасению.

...Стемнело, стало прохладно. Гаршин пошел к дому.

В углу двора бессильно уткнулся в землю рельс, по которому прежде ходили поезда.



Конец

«Как Эзоп, который, идя с горы, плакал, что ему придется взбираться на гору, так и я, несмотря на свое веселое, ровное и спокойное настроение, вижу, впереди крутой подъем, да еще и не один...»

В. Гаршин

ПОСЛЕДНИЕ МАЗКИ

Живопись всегда была рядом.

Дома висел на стене подаренный Репиным пейзаж. Малороссийские мазанки напоминали далекое детство, Ефимовку. От них веяло покоем.

Тревогу рождал репинский «Иван Грозный». В багровом сумраке ковров таились кровь и насилие, и странно было угадывать свои черты в окровавленном царевиче, убитом произволом.

Тревожило репинское полотно «Не ждали» (говорили, что в лице революционера тоже можно найти гаршинские черты). Картина напоминала: неожиданно может открыться дверь — и войдут вчерашние герои.

Тревожили ярошенковские портреты. Художник писал тех, кто в тяжкую ночь нес людям свет и надежду, — Салтыкова-Щедрина, Глеба Успенского, Менделеева, Стрепетову.

Живопись была рядом.

Были «четверги» у Репина. Собирались художники и писатели. Бурное веселье сменялось страстными спорами об искусстве. Они обрывались внезапно, как и начинались. На середину мастерской выходил худо-

щавый человек с измученным, вдохновенным лицом деревенской кликуши. Встряхивал пальцами густую солому волос, властно читал стихи. Это был Фофанов — любимец Репина.

Были «субботы» у Ярошенко. Здесь собирался цвет культурного Петербурга. Здесь тоже интересно говорили, читали стихи, жарко спорили. Одно только было незыблемо, вне нападок и обсуждений, — основные принципы Товарищества передвижников. Чистоту их свято оберегал хозяин дома, «совесть художников», как его называли.

Были знаменитые товарищеские обеды передвижников. Так художники отмечали открытие выставок. Среди тех, кого приглашали на эти обеды, только двое не были живописцами — химик Дмитрий Иванович Менделеев и писатель Всеволод Михайлович Гаршин.

Гаршин сидел за столом, заваленным рукописями. И столько печального укора было во взоре его, что людям трудно было взглянуть ему в глаза. Таким написал своего друга Репин.

Портрет Гаршина, сделанный Репиным, появился на пятнадцатой выставке передвижников зимой 1887 года. Человек смотрел с холста на посетителей выставки, и молчаливо укорял их, и убеждал быть лучше. А живой Гаршин пробирался в толпе от картины к картине, у одних не задерживался, возле других останавливался надолго и что-то быстро заносил карандашом в свою книжечку.

Вскоре в «Северном вестнике» была напечатана последняя статья Гаршина об искусстве — «Заметки о художественных выставках».

В чем назначение художника? Зачем пишет он свои картины? Ответом на этот вопрос, всегда волновавший Гаршина и героев его, открывается статья. Художник помогает людям познавать мир, проникать в сущность жизненных явлений: «Художник увидел, понял, поставил перед глазами, и видят все, до сих пор слепые». Но, значит, и художником может быть не всякий, кто умеет водить по холсту кистью? Да, утверждает Гаршин, подлинный художник — это «человек, который лучше видит и может передать другим то, что он видит».

«Христос и грешница» Поленова и «Боярыня Морозова» Сурикова — из многих картин пятнадцатой передвижной выставки Гаршин выбрал эти две, чтобы показать, как настоящий художник открывает перед зрителем мир.

Статья Гаршина — пример того, как глубоко умеет настоящий зритель понять и почувствовать этот мир, открытый художником.

Гаршин то как бы переступает раму картины и становится свидетелем и участником изображенных событий, то, наоборот, вызывает героев картины из их прошлого в свой сегодняшний день.

Разные эпохи, разные страны — древняя Иудея и Россия семнадцатого века; разные сюжеты — сцена из легенды о Христе и действительный эпизод борьбы раскольников; даже время года разное — жаркое палестинское лето и морозная русская зима. И все же Гаршин смело связал одну картину с другой, объяснил каждую с точки зрения исторической и в каждой увидел то, что волновало его современников.

Уже в самой теме, которой Гаршин объединил оба полотна, — преступница и толпа — была заложена злободневность. И Гаршин не собирался этого скрывать. Наоборот.

Он словно для того и рассказывал историю мифической грешницы, чтобы спросить потом: «Не видим ли мы каждый день на наших улицах таких же грешниц?» Рядом с иерусалимской «блудной женой» вставала Надежда Николаевна, вставала петербургская девушка, которую грубо и безжалостно волокли в участок те, кто толкнул ее на панель и пользовался ее «услугами».

Он словно для того и разбирал подробно историю Аввакума, Морозовой, других раскольников, чтобы сказать: «дикая, чуждая истинной человечности идея», «бездушные призраки» владели душой этих людей, но убежденность, готовность пойти на любые муки во имя победы своего дела всегда были

подвигом. И, перечеркивая мрачные фигуры протопопа и боярыни, вставали в памяти читателей образы иных борцов, убежденных и самоотверженных. И многое означали для читателей заключительные гаршинские слова: если человек «угнетен, если он в цепях, если его влекут на пытку, в заточение, в земляную тюрьму, на казнь, — толпа всегда будет останавливаться перед ним и прислушиваться к его речам; дети получат, может быть, первый толчок к самостоятельной мысли, и через много лет художники создадут дивные изображения его позора и несчастия».

Так «читал» русскую живопись писатель-передвижник Гаршин. За год до смерти художественный критик возродился в нем. Статья о творениях Поленова и Сурикова была лишь началом. Он собирался продолжить обзор картин пятнадцатой выставки, побеседовать с читателем об Академии художеств, написать специальную статью о Репине, о его значении для русского искусства. Не успел...

Гаршин многого не успел.

От поры до времени являлся ему давно знакомый трагический образ учительницы Радонежской. Все просил: «Напиши! Напиши!» Гаршин брался за перо — и бросал. Что-то не было еще додумано, решено.

В толстую тетрадь, похожую на конторскую книгу, заносились планы и первые наброски для большого исторического романа о Петре. Труды по истории постепенно завладевали письменным столом и книжными полками. А прочитать предстояло еще много — «томов 200». Роман замышлялся серьезный — о борьбе нового и старого на Руси. Прогулки по Петербургу стали целеустремленными — Гаршин ходил теперь по петровским местам.

Потом зачастил вдруг в университет и в несколько дней написал рассказ, да еще с «фантастическим элементом».

Молодой ученый, обнаруживший таинственные, неведомые прежде явления в природе, пытается убедить в реальности своего открытия ученых скептиков, цепляющихся за догмы. Борьба с косностью обходится ему дорого — он сходит с ума, но доказывает свою правоту. И вывод: в науке не может быть нетерпимости, познание безгранично, нужно искать.

В минуту душевного смятения Гаршин сжег рассказ. И тут же пожалел: вещь была с настроением — такую заново не напишешь.

Зато осталась в живых маленькая сказочка про хвастливую лягушку-путешественницу — единственная детская из всех сказок Гаршина.

Первая статья из «Заметок о художественных выставках» да крохотная «Лягушка-путешественница» — вот и все, что создал писатель за последний год жизни. Многого он не успел.

Но Гаршин успевал, больной, измученный мрачными мыслями и предчувствиями, выполнять задания Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым, членом которого состоял. Он хлопотал о пособии госпоже Розановой — она ютится с тремя ребятами в маленькой комнате — и беспокоился о воспитании ее детей. Он отыскал у каких-то знакомых госпожу Лидтке — «все, что надето на ней... ей не принадлежит, равно как и пища, которою она поддерживает свое существование». Он отправился в ночлежку и, ползая по нарам, нашел там опустившегося «на дно» корреспондента «Петербургского листка» Железнова, чтобы хоть чем-нибудь помочь ему. Он написал письмо книгоиздателю Сытину, который без его ведома перепечатал «Красный цветок», и, «не желая никакого вознаграждения для себя лично», решительно потребовал, чтобы Сытин сделал пожертвование в пользу нуждающихся литераторов.

Гаршин не искал покоя, не оберегал себя от тяжелых впечатлений! Потому что это был Гаршин. Потому что для него любовь к людям вообще была еще и любовью к нищему старику журналисту Лебедеву, и ко вдове Ступишиной с сыном, находившейся «в весьма тяжелых обстоятельствах», и к безыменной проститутке, которую били агенты и дворники на ночной петербургской улице.

...Привычный конь его бежит,
И зеленеющая влага
Пред ним и блещет и шумит
Вокруг утесов Аю-Дага...

Конь легко бежал по дороге. Аю-Даг был перед ними. Он пил из моря и никак не мог напиться. На спине у него сидело облачко.

Гаршин и Герд спешились, привязали лошадей. По узкой тропинке стали продираться между кустарниками. То и дело один из них нагибался, чтобы сорвать цветок. Они пополняли гердовский гербарий. Гаршин увлеченно, как в юности, помогал другу. Он громко выкрикивал латинские названия растений, смеялся радостно — не забыл! Весенний, расцветающий Крым был прозрачно-фиолетовым и розовым.

Гаршин остановился у старого дерева.

— Нет, вы только подумайте, ведь по этим тропинкам Пушкин ходил!

Он сорвал ветку.

— Отвезу в Петербург на юбилей старика Полонского и скажу: «Вот, Яков Петрович, в солнечной Тавриде явился мне на перепутье сам Пушкин и просил передать вам сию ветвь со своего дерева».

Тут же огорчился:

— Ну что за самомнение! Пушкин — и вдруг явился мне... И просил...

Тропинка вдруг оборвалась. Они очутились на небольшой поляне. Далеко внизу застыло ярко-голубое море. Какой простор, какая ширь! Отсюда смотришь вокруг по-орлиному.

На днях Гаршин отправился в Ливадию. Во дворец его не впустили. Он прошелся по парку, за ним тенью следовал урядник. Было душно и тесно. Не то что здесь — на воле!

Привычный конь легко бежал под гору.

...Крымские две недели промелькнули одним днем. Они принесли немного спокойствия, отвлекли от тяжких дум, но не исцелили. Болезнь цепко держала за горло. Раньше она налетала бурей, ставила на

дыбы спокойное море. В последние годы периоды здоровья и хорошего настроения казались затишьем перед бурей. Гаршин ждал свою болезнь и уставал от ожидания и страха.

Лето восемьдесят четвертого года: «Я страшно хандрю все эти полгода... и ужасно боюсь, как бы не заболеть. Мне не так страшно умереть, как заболеть».

Осень восемьдесят пятого года: «...Ничего не делаю и иногда подвергаюсь припадкам тоски, от которой навзрыд реву по часу... Что это за жизнь: вечный страх, вечный стыд перед близкими людьми, жизнь которым отравляешь...

Я никогда так не хотел умереть, как теперь. О самоубийстве я, конечно, не думаю: это была бы последняя подлость».

Лето восемьдесят шестого года:

«...Четыре месяца лежал пластом. Думал, уже все кончено, опять придется начать паломничество по сумасшедшим домам». Каменное здание таможни напоминало Сабурову дачу.

Врачи толковали о «внешних факторах», о «провоцирующих моментах». А куда убежишь от этих внешних факторов?

«...Каждое мгновение остановившаяся в своем течении жизнь била по тем же самым ранам и язвам, какие давно уже наложила та же жизнь на мысль и сердце, — писал Глеб Успенский. — Один и тот же ежедневный «слух» — и всегда мрачный и тревожный; один и тот же удар по одному и тому же больному месту, и непременно притом по больному, и непременно по такому месту, которому надобно «зажить», поправиться, отдохнуть от страдания... Вот что дала Гаршину жизнь...»

Он мечтал: купить бы небольшой домик, участок земли; посадить сад или разводить пчел. Можно на худой конец пристроиться где-нибудь земским секретарем. Надежде Михайловне совсем просто — вон в газетах было объявление, что в Симбирской губернии нужны женщины-врачи. Пора, пора переменить декорации! Гаршин был убежден: «Рано или поздно,

мы уедем в глушь». Ранней весной восемьдесят седьмого года он уехал в Крым. На две недели.

Крым не вылечил — успокоил на время.

Вскоре после приезда Гаршин стоял как-то у своего верстачка, оживленно работал — переплетал книги. Рассказывал Надежде Михайловне про Крым («Непременно поедем туда вместе и тоже раннею весною»). Увлекаясь, заговорил о гербариях («За лето в Крыму можно бы тысячу видов собрать»). И замолчал. Промелькнули в памяти водопад Учан-су, горная тропа, поляна, усыпанная белыми подснежниками. Почему так грустно стало от этих белых цветов? Белые цветы... Не на зеленеющей полянке, окутанной облаком водяной пыли. Белые цветы на сером петербургском снегу. Люди теребили венки. Обрывали цветы на память. Он закричал: «Не рвите цветы! Это варварство!..» В наступившей тишине начал читать только что написанные стихи Полонского:

Он вышел в сумерки. Прощальный
Луч солнца в тучах догорал..

Сбился. Махнул рукой. Тихо произнес последнюю строчку: «Спи с миром, юноша-поэт!» Хоронили Надсона.

После похорон Гаршин зашел в трактир. Он замерз. Попросил рюмку водки. Трактир был заполнен студентами. Они обступили его.

— Всеволод Михайлович, позвольте выпить за ваше здоровье! Чтобы вам долго-долго жить и писать, как вы пишете!

Громко читали Надсона: «Не говорите мне: он умер, — он живет»...

«Живите долго-долго и пишите так же, как пишете». Не умереть при жизни. Это потруднее, чем остаться живым после смерти. Болезнь отнимала радость труда, хоронила заживо. Тяжелые стены лечебницы Фрея или Сабуровой дачи были страшнее могильного склепа. «Не дай мне бог сойти с ума...»

Он бросил переплетный нож, которым обрезал книгу, сказал вдруг жене: «Запиши стихи». Продиктовал:

Свеча погасла, и фитиль дымящий,
Зловонный чад обильно разносящий,
Во мраке красной точкою горит.

Это болезнь, крушение жизни духовной.

В моей душе погасло пламя жизни,
И только искра горькой укоризны
Своей судьбе дымится и чадит.

Дальше — скорбные строки о чадных воспоминаниях, которые оставляет после себя ясность безумия, строки о постоянном ужасе и постоянной надежде. И вдруг страшная мысль сковала сердце: а что, если эти стихи — последнее? Что, если он больше ничего не создаст?.. Не хватало воздуха. Он побледнел и, задыхаясь, проговорил последние строки:

И что обманут я мечтой своею,
Что я уже напрасно в мире тлею,
Я только в этот скорбный миг постиг.

ПЕТЕРБУРГ. 1888 ГОД. МАРТ

Властные мысли врывались в голову. Он не звал их. Они являлись сами и хозяйничали в мозгу. Надо было побороть эти мысли. Он думал о другом. Но они были сильнее. Чтобы подавить их, он размышлял вслух. Тогда он слышал то, о чем думал. От напряжения сердце не болело — останавливалось. А потом колотилось быстро-быстро, наверстывая упущенное время.

Он похудел. Одежда висела на нем. Осунулся. Печальные глаза светились из глубины темных ям. «Не дай мне бог сойти...» Гаршину было плохо. Очень плохо. Лето восемьдесят седьмого года оказалось роковым.

Как-то, еще весной, отворилась дверь — вошла Вера Золотилова, младшая сестра Надежды Михайловны. Заплакала: «Не могу больше с ними!» Надо ли было из-за этого притворяться, петлять? Церковь

запрещала двум родным братьям жениться на двух родных сестрах. Брат Гаршина Евгений был обвенчан с сестрою Надежды Михайловны. Гаршину этот брак стоил самого дорогого — пришлось лгать! Знакомым, попу, домохозяину... И пожалуйста: трех месяцев не прошло — не выдержала Вера внезапного охлаждения мужа, язвительных упреков свекрови.

Гаршин поехал объясняться, да только рассорился. Матушка Екатерина Степановна распалилась, осыпала его оскорблениями. Потом принялась за Надежду Михайловну. Этого Гаршин не мог вынести — хлопнул дверью. А матушка Екатерина Степановна бросилась по знакомым — клеветала, обличала, злобствовала. Вдруг припомнила Раису Александрову, против которой некогда сама настраивала Всеволода, стала изображать Надежду Михайловну «коварной обольстительницей». Больно и противно!

Да и братец Женя хорош! Чем помириться с беременной женою или хоть повиниться перед нею, пишет гадкие письма — обвиняет Всеволода в «опошлении», иронизирует, пошло оскорбляет. Больно и гадко!

Гаршину было плохо. Он целые дни лежал или уныло бродил по комнате. На службу не ходил. Попросил, чтобы нашли ему временного заместителя. Иногда, по вечерам, заглядывали друзья. Гаршин оживлялся ненадолго, горячо говорил о литературе, о политике, о природе. И неожиданно замолкал. Снова сидел мрачный. Высоко подымая свечу, выходил на лестницу — провожать друзей. Лестничный пролет чернел глубоким колодцем.

Не смейся над моей пророческой тоскою;
Я знал: удар судьбы меня не обойдет...

Это стихотворение Гаршин любил читать друзьям.

Он бесцельно бродил по комнате и боролся со своими мыслями. Подходил к письменному столу, разворачивал газеты.

Запрещено принимать в гимназии детей кучеров, лакеев, поваров и прачек. — Чтобы поступить в университет, нужно иметь характеристику образа и направления мыслей. — Повышена плата за обучение. — Необходимо отменить выборных судей. — Необходимо ограничить суд присяжных. — Необходимо повсеместно укреплять самодержавие. — Слава богу, что выброшены из библиотек сочинения Добролюбова, Чернышевского, Писарева — сих «могикан «Современника» и «Отечественных записок», известных поползновениями на самодержавную власть».

Мерзко! Он комкал газеты. Валился на кровать

В начале ноября свершилось чудесное и радостное. Вера родила девочку. Маленькая квартирка наполнилась звонким криком. Вдруг стало хорошо на душе. Гаршин баюкал девочку, носил на руках, следил за кормилицей и читал ей «Сказку о царе Салтане».

В канцелярии съезда железных дорог строчил бумаги «временный заместитель» Гаршина. Он бросил перо и недовольно оглядел посетителя. Как? Господин Гаршин? Вышел на службу? Странно! А зачем, собственно, известному писателю служить? Лучше для здоровья? Странно! А знает ли господин Гаршин, что съезд недоволен его деятельностью? Дела были запущены. Некоторые бумаги исполнены не по форме. Что ж получается? Когда беспорядок, господин Гаршин уходит болеть и требует «временного заместителя»! А когда все в ажуре, господин Гаршин опять тут как тут! Некрасиво-с!

Гаршин схватил лист бумаги. Быстро написал просьбу об увольнении.

Гаршину было очень плохо. Бродил по комнате. Писать не может. Со службой покончено. Ни на что не годный человек! Переплетный станок лежал без употребления. Письменный стол покрывался пылью.

Посреди — толстая пачка нечитаных газет. Иногда он брал газеты, быстро разворачивал одну за другой.

Государь император и государыня императрица осмотрели Обуховскую больницу и остались довольны. Государь попробовал и одобрил больничную пищу и квас. — Бедную женщину, нуждающуюся в срочной медицинской помощи, переправляли из больницы в больницу, пока она не умерла. — Во дворце великой княгини собрался дамский художественный кружок. Фрейлины рисуют и лепят из воска. — В Могилевском уезде агенты по продаже «живого товара» вывозят из деревень девушек и сбывают в публичные дома. — На бал в Зимнем дворце приглашено 4 500 особ. — Восемьсот девяти- и десятилетних мальчиков работают на стекольных заводах.

...Нет, так он не выдержит! Надо убегать от себя...

У Ярошенко была дача в Кисловодске.

— А почему бы вам, Всеволод Михайлович, не пожить у нас на даче? Горы, воздух, хорошее общество... И сами не заметите, как поправитесь!

И вправду, почему бы не поехать? Там «Бешту пятиглавый синеет, как последняя туча рассеянной бури». А здесь — слякоть, серый туман. Март...

Стал собираться.

Случайно открыл «Северный вестник». Мартовский номер. Новая вещь Чехова — «Степь». Принялся читать — и уже не отрывался. Кончил — и начал снова. Вдруг впервые за много месяцев вздохнул полной грудью. Счастье! Счастье!

Рано утром прибежал к Фаусекам:

— Послушайте, в России появился первоклассный писатель! Так хорошо мне, точно нарыв прорвался!

Собрались литераторы, читали новый рассказ Лескова. Гаршин ворвался в комнату — возбужденный, сияющий. Таким его давно не видели.

— Разве можно сейчас что-нибудь читать, кроме «Степи»! Такого у нас в литературе еще не было!

В субботу он неожиданно появился у Ярошенко. Говорил только о «Степи». Повернулся к Михайловскому:

— Вот вы, Николай Константинович, возлагали на меня большие надежды. Я их не оправдал. И все же могу умереть спокойно. Теперь все надежды наши оправдает один писатель — Антон Чехов.

Фонари тускло желтели в тумане. Пахло холодным сырым камнем. Черные громады домов подступали с боков, нависали над головой. Они грозили расплющить, раздавить. Гаршин брел домой по пустынным ночным улицам.

...Прожита жизнь. Да не одна. Он всегда стремился отдавать долги. И всегда платил дорогой ценой. Мысль, биение сердца, слово сливались воедино, рождая всякий раз новую жизнь. И каждая из этих жизней была его.

Он был раненым солдатом, в муках отвергшим войну. Безумцем, уничтожавшим цветок зла. Путевым обходчиком, который смоченным в своей крови платком хотел остановить несущийся в катастрофу поезд.

Это очень трудно — выплеснуть на бумагу то, о чем нельзя молчать, но о чем молчать легче, чем говорить. Боль души, крик сердца, мысль, упрямой, беспощадной птицей клюющую мозг.

Рассказы жили внутренней жизнью. Они обходились без умело построенного сюжета, не пленяли глаз тонко подобранной цветовой гаммой. Из всех видов оружия художника он избрал уголь. Скупой и выразительный.

Каждый рассказ был об одном и самом главном. Простые и ясные сюжеты не замечались. Герой сталкивался со своим обыкновенным происшествием, открывал за ним всю большую, трудную, неустроенную жизнь и думал, думал, думал...

Рассказы вырывались монологами — горячими, тревожными. Портреты-монологи, как полотна Ярошенко. Но в каждом портрете его, Гаршина, черты.

Так не писали прежде. Это было новое, свое. Радовало — собственной тропкой шел он в литературе. Но хотелось большего. Не «стихотворений в прозе». Рассказа не о себе. О других. Многофигурной композиции. Эпического. Тоже нового и своего. Он искал путей к нему. Не нашел. А долго ли еще идти?.. Нашел Чехов. Эпической оказалась не любовная история с кровавой развязкой, а простая история о мальчике Егорушке, который едет по степи и встречает разных людей. Как хорошо, что есть Чехов!

«Дорогая мама, я через несколько дней уезжаю и прошу Вас позволить мне прийти проститься».

Екатерина Степановна позволила.

...Репин встретил Гаршина в Гостином дворе. Радостно схватил за руку. Заговорил о новой вещи Короленко. И тут заметил, что у Гаршина слезы на глазах.

— Что такое? Что с вами, Всеволод Михайлович?

— Да ведь я с ума схожу! О, если бы нашелся друг, который покончит со мной, когда я потеряю рассудок!

— Отдохнуть бы вам надо. Уехать куда-нибудь.

— Да, да, мы уезжаем на днях в Кисловодск. Николай Александрович Ярошенко дает нам дачу.

— Вот и превосходно.

— Нет! Нет! Я нигде не найду покоя! Я вчера с мамашей имел объяснение. Она так оскорбила меня, Надежду Михайловну.

— Ну что вы, Всеволод Михайлович! Сгоряча чего не бывает!

— Да ведь она меня прокл... Я бы выдержал, выдержал!.. Но она Надежду Михайловну оскорбила таким словом, которого я не перенесу...

Гаршин рыдал.

18 марта Гаршин с женой были у доктора Фрея. Гаршин просил оставить его в лечебнице. Фрей отказал: «Незачем! Незачем! Уезжайте на Кавказ». Когда посетители ушли, ассистентка спросила:

— Может быть, Гаршина стоило поместить в лечебницу?

Фрей замахал руками:

— Что вы! Что вы! Он же вот-вот с собой покончит!

— Тогда тем более это надо было сделать!

Фрей вспылил:

— Я не желаю, чтобы в моей больнице кто-нибудь кончал самоубийством!.. Пусть едет в Кисловодск.

Вещи были уложены.

Рано утром Гаршин тихо вышел на лестницу.

Мутный мартовский рассвет просыпался над городом. Гаршин посмотрел наверх: окно, зачем-то прорубленное в крыше, тускло светилось. На сером фоне стекол мрачно чернела решетка рамы. Как в оранжерее! Бежать надо отсюда!.. Испуганно побежал вниз... Голова закружилась. Остановился... Глянул в лестничный пролет... А что, если?.. Знал, что этого нельзя, не нужно делать... И перелез через перила...

Наступило девятнадцатое марта восемьдесят восьмого года — рядовой будничный день.

В ресторане Донона сдвигали столы — зал готовили для традиционного товарищеского обеда воспитанников Первого кадетского корпуса.

Итальянский тенор Пиццорини еще похрапывал в роскошной кровати. Вечером ему предстояло покорить Петербург.

А полуголые мальчики на стекольных заводах уже метались у жарких печей. И «глухари» уже забрались в котлы, подставили грудь под удары.

Прожита жизнь.

Вцепившись пальцами в железные прутья перил, Гаршин висел над пропастью.

...Однажды в Киеве он стоял над Днепром. Кто-то тронул его за плечо. Обернулся. Перед ним девушка — тоненькая, в белом платье.

— Вы Гаршин?

— Да.

— Вы любуетесь Днепром?

— Любуюсь. Он прекрасен!

— Это оттого, что вы сами прекрасны!.. Вспомните обо мне когда-нибудь...

И скрылась.

Разжал пальцы...

«Лицо почти героическое, изумительной искренности и великой любви сосуд живой».

М. Горький



„Он умер в 1888 году, тридцати трех лет, — писал о Гаршине Степняк-Кравчинский. — Он был убит не грубой силой русского деспотизма, а теми моральными страданиями, которые причиняют условия жизни, созданные этим деспотизмом».

Герцен составил страшный список:

«Рылеев повешен Николаем.

Пушкин убит на дуэли, тридцати восьми лет.

Грибоедов предательски убит в Тегеране.

Лермонтов убит на дуэли, тридцати лет, на Кавказе.

Веневитинов убит обществом, двадцати двух лет.

Кольцов убит своей семьей, тридцати трех лет.

Белинский убит, тридцати пяти лет, голодом и нищетой.

Полежаев умер в военном госпитале, после восьми лет принудительной солдатской службы на Кавказе...».

Список нетрудно продолжить.

Крепостной раб и ссыльный солдат Тарас Шевченко. «Секретный преступник № 5» Чернышевский. Заточенный в Петропавловскую одиночку Писарев. Убитые диким гнетом и нуждой писатели-шестидесятники. Глеб Успенский, сведенный с ума жгучими фактами жизни.

Место Гаршина в этом строю.

Список погубленных русских писателей — не перечень убитых. Это перечень борцов. Вместе с другими героями и мучениками русской литературы страдал уязвленный страданиями человечества, звал людей к лучшему Гаршин. Боролся по-своему. Как умел, как мог. Смертельно раненный, заглядывал в будущее, мечтал о том времени, когда «весь мир содрогнется, сбросит с себя ветхую оболочку и явится в новой, чудной красоте».

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ГАРШИНА

1855, 2 февраля — В имении «Приятная долина» Бахмутского уезда Екатеринославской губернии у ротмистра кирасирского полка Михаила Егоровича Гаршина и его жены Екатерины Степановны Акимовой родился сын Всеволод.

1859 — Пятый, «очень бурный» год жизни Гаршина.

1860—1863 — Всеволод жил с отцом в деревне.

1863, август — Мать увезла Всеволода в Петербург.

1864 — Гаршина отдали в 7-ю санкт-петербургскую гимназию (впоследствии 1-е реальное училище).

1872, конец — 1873, лето — Гаршин в больнице, куда его поместили в связи с психическим заболеванием.

1874, апрель — Гаршин побывал на выставке Верещагина и написал о своих впечатлениях стихи. *Июнь* — Окончил гимназию. *Осень* — Поступил в Горный институт.

1876, 11 апреля — В газете «Молва» опубликован первый очерк Гаршина — «Подлинная история Энского земского собрания». *Август — сентябрь* — Гаршин хлопочет об отъезде на Балканы, чтобы принять участие в борьбе славян за независимость.

1877, март—апрель — В газете «Новости» опубликованы статьи Гаршина о живописи: «Вторая выставка Общества выставок художественных произведений», «Новая картина Семирадского «Светочи христианства» и «Конкурс на постоянной выставке художественных произведений».
12 апреля — Начало русско-турецкой войны. Гаршин решил идти добровольцем. *14 июля* — Есерджийский бой, через пять дней после которого в кустах на поле битвы был найден раненый солдат Арсеньев. *11 августа* — Гаршин ранен в бою под Аясларом. *Октябрь* — в «Отечественных записках» напечатан рассказ «Четыре дня». *Декабрь* — Гаршин возвратился в Петербург.

1878, март — В «Отечественных записках» напечатан рассказ «Происшествие». *Ноябрь — декабрь* — Гаршин в госпита-

ле на освидетельствовании в связи с просьбой об отставке. Здесь он познакомился с Н. М. Золотиловой.

1879 — В «Отечественных записках» напечатаны: «Трус» *(март)*, «Встреча» *(апрель)*, «Художники» *(сентябрь)*.

1880, январь — В «Русском богатстве» напечатана «Attalea princeps». *В ночь с 21 на 22 февраля* — Гаршин явился к Лорис-Меликову, чтобы добиться помилования террористу Млодецкому. *22 февраля* — Казнь Млодецкого. *Конец февраля — середина марта* — Бегство Гаршина из Петербурга. Поездка к Толстому. Скитания. *Март* — В «Русском богатстве» напечатан отрывок из книги «Люди и война» («Денщик и офицер»). *Июнь* — В «Отечественных записках» напечатан рассказ «Ночь».

1880, март — 1882, апрель — Гаршин болен. Его держали на Сабуровой даче в Харькове, в петербургской лечебнице Фрея. Затем он жил у дяди В. С. Акимова в деревне Ефимовке. *Апрель* — В журнале «Устои» напечатано первое написанное Гаршиным после выздоровления произведение — сказка «То, чего не было».

1882, май — Возвращение в Петербург. *Июль* — Вышла в свет первая книжка рассказов Гаршина. *Июль — сентябрь* — Гаршин в имении Тургенева Спасском-Лутовинове.

1883, январь — В «Отечественных записках» напечатан рассказ «Из воспоминаний рядового Иванова». *Зима* — Гаршин женился на Н. М. Золотиловой. Поступил на службу в канцелярию общего съезда представителей русских железных дорог. *Октябрь* — В «Отечественных записках» напечатан рассказ «Красный цветок». *Ноябрь* — В «Отечественных записках» напечатан рассказ «Медведи».

1884, 20 апреля — Вышло постановление о закрытии «Отечественных записок». Через несколько дней состоялась последняя встреча сотрудников журнала, на которой был Гаршин. *Сентябрь* — Поездка в Киев.

1885, январь — Гаршин ездил в Москву, чтобы повидаться с Толстым. *Февраль и март* — В «Русской мысли» напечатана повесть «Надежда Николаевна».

1886, апрель — В «Русской мысли» напечатано «Сказание о гордом Аггее».

1887, январь — В «Северном вестнике» напечатан рассказ «Сигнал». *Весна* — В Петербурге открылась пятнадцатая выставка передвижников. Посетив ее, Гаршин написал «Заметки о художественных выставках» (статья напечатана в «Северном вестнике»). *Март* — Поездка по Крыму. *Июль* — В журнале «Родник» напечатано последнее произведение Гаршина — сказка «Лягушка-путешественница». *Лето* — Резкое ухудшение состояния здоровья Гаршина.

1888, 24 марта — Гаршин умер.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

При жизни Гаршина вышли в свет:

В. Гаршин, Рассказы. СПБ, 1882.

В. Гаршин, Вторая книжка рассказов. СПБ, 1885. Вскоре после смерти Гаршина была издана еще одна книга:

В. Гаршин, Третья книжка рассказов. СПБ, 1888.

Эти книги много раз переиздавались Литературным фондом — сперва порознь, а потом (с 1902 года) объединенные в один том под названием: В. Гаршин. Рассказы. Последнее — шестнадцатое — издание книги вышло в Петрограде в 1919 году.

Наиболее капитальным из дореволюционных изданий было:

В. М. Гаршин, Полное собрание сочинений. Приложение к журналу «Нива». СПБ, 1910.

Помимо художественных произведений, в книге помещены «Автобиографическая заметка» Гаршина, некоторые из его писем, статьи и воспоминания о нем. *Имеются подробные сведения о первых публикациях произведений Гаршина.*

Из большого количества изданий, появившихся в советское время, следует прежде всего отметить:

В. М. Гаршин, Рассказы. Редакция, введение и комментарии Ю. Г. Оксмана. М.—Л., 1928.

В этой книге имеется подробный библиографический указатель статей и материалов о Гаршине. Он состоит из трех разделов: «Общие указатели литературы», «Библиографические источники и сводки», «Критические оценки и историко-литературные характеристики».

Впоследствии вышло второе, дополненное издание:

В. М. Гаршин, Сочинения. Вступительная статья, редакции и комментарии Ю. Г. Оксмана. М.—Л., 1934.

Последним, наиболее распространенным изданием является:

В. М. Гаршин, Сочинения. Подготовка текста, вступительная статья и примечания Г. А. Бялого. М.—Л., 1951.

Оно выходило повторно в 1955 и 1960 годах.

Кроме того, большинство произведений Гаршина издавалось в виде отдельных брошюр.

Некоторые из них появились еще при жизни Гаршина:

В. М. Гаршин, Четыре дня на поле сражения. «Посредник», 1886.
В. М. Гаршин, Из записок рядового Иванова о походе 1877 года. СПБ, 1887.
В. М. Гаршин, Медведи. «Посредник», 1887.
В. М. Гаршин, Сигнал. «Посредник», 1887.
Из зарубежных изданий наиболее примечательны:
V. Garchine. La guerre. Paris, Havard, 1889.
Предисловие к этой книге написал Ги де Мопассан.
V. Garshin. Stories from Garshin. London, Unwin, 1893.
Рассказы переведены Э. Войнич. Предисловие написано революционером и писателем С. Степняком-Кравчинским.
Ценнейшим пособием для всех, кто изучает жизнь и творчество Гаршина, является собрание его писем:
В. М. Гаршин, Полное собрание сочинений, т. III. Редакция, статьи и примечания Ю. Г. Оксмана. Изд. «Academia», 1934.
Подробные комментарии к письмам содержат важные и интересные сведения о писателе, его эпохе и окружении.
В томе есть именной указатель и указатель воспоминаний о Гаршине.
Значительная часть воспоминаний о Гаршине сосредоточена в двух сборниках, изданных вскоре после смерти писателя:
Памяти Гаршина. СПБ, 1889.
Красный цветок. СПБ, 1889.
В сборнике «Памяти Гаршина» напечатаны, в частности, воспоминания В. А. Фаусека — наиболее полные и достоверные из мемуаров о писателе, письма И. С. Тургенева к Гаршину, статья Глеба Успенского «Смерть В. М. Гаршина» (см. также Г. И. Успенский, Собрание сочинений в девяти томах. Том 9, М., 1957).
Яркие воспоминания великого русского художника о своем друге можно найти в книге:
И. Е. Репин. Далекое близкое. Изд. 5-е. М., 1960 (главы: «В. М. Гаршин» и «Последняя встреча с Гаршиным»).
Много интересных биографических сведений содержится в материалах:
С. Н. Дурылин, Из записок биографа. «Звенья», V, 1935.
С. Н. Дурылин проанализировал и обобщил факты, относящиеся к выступлениям писателя в защиту террориста Млодецкого, ко взаимоотношениям Гаршина со Львом Толстым и Глебом Успенским, детально проследил события последних месяцев жизни Гаршина.
Оценки творчества Гаршина (порой весьма разноречивые) даны в статьях многих его современников. Из них наибольший интерес представляют:
Анонимная рецензия. Всеволод Гаршин. Рассказы. «Отечественные записки», 1882, № 8.
П. Ф. Якубович (под псевдонимом М. Гарусов). Гамлет наших дней. «Русское богатство», 1882, № 8 (перепечатана в книге: В. М. Гаршин, Полное собрание сочинений. Приложение к «Ниве». СПБ, 1910).
Н. К. Михайловский. Из дневника читателя. «Северный вестник», 1885, № 12; 1886, № 2 (перепечатана в сборнике «Памяти Гаршина»).
Н. Николадзе. Борцы по неволе. «Отечественные записки», 1882, № 11.
С. А. Венгеров. На смену. Беллетристы-дебютанты. «Слово», 1880, февраль — март.
В. А. Всеволод Гаршин. Рассказы. «Вестник Европы», 1882, № 10.
Анонимная рецензия, Всеволод Гаршин. Рассказы. «Дело», 1882, № 8. (Г. А. Бялый убедительно доказал, что статья написана М. Протопоповым).
Творчеству Гаршина посвятил статью В. Г. Короленко:
В. Г. Короленко, Всеволод Михайлович Гаршин. Собрание сочинений в десяти томах. Т. VIII, М., 1955.
Очень своеобразно и интересно трактовал личность и творчество Гаршина К. И. Чуковский:
К. Чуковский, О Всеволоде Гаршине. «Русская мысль», 1909, № 12.
В советское время вышло немало работ, посвященных творчеству Гаршина. Среди них необходимо отметить труды Г. А. Бялого.
Г. А. Бялый, В. М. Гаршин и литературная борьба 80-х годов. Изд. АН СССР. М.—Л., 1937.
В книге дан анализ рассказов Гаршина на фоне литературных направлений того времени, рассматривается полемика, разгоревшаяся вокруг произведений писателя.
Г. А. Бялый, В. М. Гаршин. Критико-биографический очерк. М., 1955.
Сжатая, но достаточно полная оценка творчества Гаршина дана в десятитомной Истории русской литературы:
Е. И. Кийко, Гаршин. История русской литературы, т. IX (часть вторая). Изд. АН СССР. М.—Л., 1956.

СОДЕРЖАНИЕ

Начало 7
Война 67
Жгучие факты 93
Подвиг Рябинина 139
Казнь 167
Возрождение 199
«Сколько сил мне нужно, сколько сил!» 245
Конец 281
Основные даты жизни и творчества Гаршина . 299
Краткая библиография 301

Вл. Порудоминский

ГАРШИН

М., «Молодая гвардия», 1962,
стр. 304.

«Жизнь замечательных людей».
Серия биографий. Вып. 5(338)

Редактор *Г. Померанцева*
Художник *С. Бродский*
Переплет художника *В. Арндта*
Худож. редактор *К. Аркуша.*
Техн. редактор *Л. Прозорова*

А03024 Подп. к печати 12/II 1962 г.
Бумага 84×108 1/32. Печ. л. 9,5(15,58)+
+7 вкл. Уч.-изд. л. 14,6
Тираж 90 000 экз. Заказ 2566.
Цена 61 коп.

Типография «Красное знамя»
изд-ва «Молодая гвардия».
Москва, А-30, Сущевская, 21.